

Я.С. Лурье

В КРАЮ НЕПУГАННЫХ ИДИОТОВ

Книга об Ильфе и Петрове

СПб.: Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге,
ISBN 5-94380-044-1

В книге содержится веская научная критика взглядов предшественников на творчество Ильфа и Петрова. По словам самого автора, эта книга относится скорее не к литературоведению, а к другой области — к истории русской общественной мысли. Она показывает несостоятельность мифа об «официальных» писателях — Ильфе и Петрове и истинное значение их творчества. Впервые книга была опубликована в Париже издательством «La Presse Libre» в 1983 г.

В книге использованы иллюстрации, любезно предоставленные для печати А.И. Ильф и опубликованные впервые в книге Евгений Петров. Мой друг Ильф. — М.: «Текст», 2001.

ПРАВДА ИСТОРИКА

В последней изданной при жизни книге «Две истории Руси XV века» великий медиевист Яков Соломонович Лурье в свойственном ему неподражаемом тоне грустного беспристрастия кратко описал, между прочим, взгляды Нила Сорского на основании первоисточников. Благочестивой позднейшей легендой оказалась и широта воззрений Нила Сорского в споре с Иосифом Волоцким, и его борьба с преследованием еретиков и с монастырским землевладением. Взгляды «нестяжателя» отличались от взглядов автора «Просветителя» вовсе не своей широтой и терпимостью: в древнейшем списке книги, которую традиция приписывает Иосифу, рукой Нила изготовлены самые жесткие противоеретические разделы.

И в минувших веках, и в нашей современности Яков Соломонович ясно видел не только сплоченную недостоверность официозности, но и стадные предрассуждения в среде инакомыслящих.

Человеколюбивые передовые принципы в этом замечательном мыслителе неразделимо сочетались со стоическим скептицизмом, а историческая объективность — с нравственным неприятием пессимистических обобщений. Вспоминаю с сердечной теплотой и печалью нашу долгую беседу в начале девяностых годов теперь уже прошлого века и исполненный надежды вопрос Я.С.: «Неужели нет среди арабов настоящих социалистов, которые могли бы договориться с израильской рабочей партией?» «Вы не знаете их», — ответил я. «Ну, вот и вы говорите, как все», — сказал он с досадой. Я придерживаюсь твердых взглядов, но священная уверенность в братстве людей, звучавшая в его голосе и светившаяся в его глазах, была так по-шиллеровски прекрасна, что мне стало совестно: нельзя обобщать.

Я-С. рассказывал, как он занимался однажды со своим соавтором Х. в его служебном кабинете. В дверь постучал Z., весьма заслуженный историк средневековой русской словесности, извинился, попросил у Х. какую-то книгу и сразу вышел. «Не правда ли, настоящий немчик?» — спросил Х.

«Что-то ты, милый мой, говоришь за моей спиной обо мне?» — подумал Я.С. Был это тот самый Х., герой российского духовного сопротивления, который в свое время упомянул в телевизионной передаче о значении русских немцев для петербургской культуры и пострадал за это.

Чувство правды и отталкивание от всего пошлого или придуманного ради якобы разоблачительного красного словца — вот характерные черты Лурье как автора исторических и критических трудов в области новой русской литературы.

В шестидесятые годы XX века правда начиналась с текстологии. Здесь пригодилась Я-С. его сноровка медиевиста, привыкшего к варьированию текста, и его предпочтение ранних источников более поздним. История опубликованного текста романов Ильфа и Петрова по сложности не уступает разветвлениям иных летописных преданий. Текстологический принцип «последней авторской воли» неизменно оказывается несостоятельным в применении к печатной литературе советского периода, когда позднейшие авторские, а не только редакционные изменения вызывались политическими требованиями Главлита. В 1962 году была опубликована рецензия Я-С. на изуродованное напластованиями цензурных помарок пятитомное издание Ильфа и Петрова. Некоторые шутки и сюжетные ходы в нем должны были показаться новому читателю немотивированными: только знатокам старых изданий понятно, например, отчего сыновей лейтенанта Шмидта не устраивало «Поволжье» — до войны в этом месте «Золотого тельца» говорилось о республике немцев Поволжья. Таких купюр в пятитомном собрании сочинений были сотни. (Позволю себе заметить, что не обошлось без них и нью-йоркское, «чеховское», издание 1950-х годов, из которого были изъяты многие пассажи об отце Федоре.) Три года спустя появилась и работа о пути Булгакова от «Белой Гвардии» к «Дням Турбиных», которую Я-С. написал в соавторстве с И. З. Серманом. Обе были с энтузиазмом встречены не только молодыми учеными, но и широким кругом интеллигентных читателей. Две эти статьи, набранные мелким шрифтом, положили начало филологическому подходу к литературе 1920-х и 1930-х годов.

Книга «Авеля Адамовича Курдюмова» об Ильфе и Петрове переиздается вовремя. Это книга большого Авеля в мире совсем маленьких Каинов. Легион историков и публицистов вот уж скоро как 20 лет честит «литературоцентризм», видя в нем корень всех зол. Примеры приводить не хочется. Так Розанов винил русскую литературу в том, что изготовленный ею «яд» германский генеральный штаб дал выпить России в 1917 году. Опять — и на этот раз в прямом смысле слова — виноват оказался «Пушкин».

В духе борьбы с литературой многие отрекаются и от «шестидесятников», но не за то, что в них было дурного. Недаром громкая часть нынешней публицистики унаследовала от того поколения самые унылые его черты: отсутствие остроумия, которое заменил теперь грубый «стеб», и пренебрежение к тому, что в научно-критической сфере именуется фактами, а в области нравственного — правдой. Увы, иные политические просветители 60-х и 70-х годов XX столетия, принеся немало добра в темную эпоху безвременья, посеяли не только «разумное, доброе, вечное», но и зерна кривды в своих воспоминаниях, циничного «блатняка» в художественной литературе и избирательного отношения к истории в учительской словесности. Эти дурные семена взошли сейчас большим бурьяном культурного вырождения.

Читатели моего поколения помнят и казенную кампанию 1949 года против двух писателей советского времени, ставших подлинно народными, и кампанию конца 60-х годов, в которой неожиданными союзниками оказались авторы демократического направления и приверженцы расово-конфессиональной доктрины. Полемической своей стороной книга Я-С. обращена и против тех, и против других.

Я никогда не забуду глубокого разочарования, которое я испытал, читая высказывания Н.Я. Мандельштам об Ильфе и Петрове. Они нехороши уже тем, что О.Э. Мандельштам был одним из двух признанных ныне классиков прошлого века, высоко оценивших «Двенадцать стульев» в печати. Другим был В.В. Набоков. Показательно поэтому, замечу от себя, что оба взяли у Ильфа и Петрова один и тот же образ бездомной, опустившейся музы:

«Человек, лишенный матраца, большей частью пишет стихи.... Творит он за высокой конторкой телеграфа, задерживая деловых матрацевладельцев, пришедших отправлять телеграммы» («Двенадцать стульев»).

«Не повинуется мне перо: оно расщепилось и разбрызгало свою черную кровь, как бы привязанное к конторке телеграфа — публичное, испакощенное ерниками в шубах, разменявшее свой ласточкин росчерк — первоначальный нажим — на "приезжай ради бога", на "скучаю" и "целую"....»

(«Египетская марка»).

«Вымирают косматые мамонты, / чуть жива красноглазая мышь. / Бродят отзвуки лиры безграмотной: / с кандачка переход на Буль-Миш. / С полурусского, полузабытого / переход на подобье арго. / Бродит боль позвонка перебитого / в черных дебрях Бульвар Араго. / Ведь последняя капля России /уже высохла! Будет, пойдем! / Но еще подписаться мы силимся / кривоклювым почтамтским пером» («Парижская поэма»).

Я-С. подробно — и без раздражения — объясняет, в чем натяжки или ошибки памяти Н.Я. Мандельштам в ее интерпретации образа Васисуалия Лоханкина и Вороньей слободки. Он называет ее — многозначительно — «наиболее авторитетной истолковательницей творчества Мандельштама», но авторитет, как медиевисты хорошо знают, — не абсолютное свидетельство надежности. Нынешние мандельштамоведы, съевшие с ее книгами пуд соли, уже давно привыкли добавлять к сообщаемым ею сведениям шепотку-другую.

Если в чем-то у Ильфа и Петрова и звучит насмешка над интеллигенцией, то она направлена скорее по адресу советских спецов, к которым от философа Васисуалия уходит Россия-Варвара. Лоханкина выпороли за то, что он не гасил свет в коммунальной уборной. Инженер Птибурдуков в часы отдыха выпиливает из фанеры деревенский нужник. Далеко ли ушла бедная **Варвара**?

Что сказать о несчастном Аркадии Викторовиче Белинкове?

Я был знаком с ним, я выступал с докладом «О стиле Белинкова» 13 мая 1971 года на заседании в Йельском университете, посвященном годовщине его трагической смерти. Уже тогда я сказал, что ему нельзя инкриминировать научных ошибок, как Писареву или Чернышевскому нельзя вменять их критические суждения. Белинков пользовался литературой как орудием политической агитации. Он знал одну страсть — политическую. Аполитичная поэзия, «Я помню чудное мгновенье», была в его системе лишь результатом того, что Пушкину запрещали писать политические стихи. Но он попал в Америку во время университетских беспорядков. От него хотели лекций по истории или теории литературы. Он говорил о лагерях и о безобразиях в Союзе советских писателей. Студентам это не нравилось. 1 мая 1970 года он позвонил мне по телефону в Кембридж. В Нью-Хейвене под его окнами кипела многотысячная демонстрация с красными флагами. Я успокаивал его, говоря, что все это к будущему учебному году пройдет (так и случилось). Он не верил, а главное, был потрясен тем, что коммунизм нагнал его и там, где он надеялся найти от него убежище. Его больное сердце не выдержало. Через 12 дней он умер.

Выступившему в защиту Васисуалия Лоханкина Белинкову был после его побега на Запад посвящен советский фельетон «Васисуалий Лоханкин выбирает Воронью слободку». Но Аркадий Викторович не был Лоханкиным. Немезида русской словесности разыграла с ним судьбу героини «Списка благодетелей», пьесы, написанной другой жертвой его обличительного пыла, Юрием Олешей, но не в той версии, которая была известна Белинкову, а в той, что была восстановлена недавно. Теперь мы знаем, что прототипом этой героини был уехавший из СССР Михаил Чехов, который тоже не смог осуществить своей мечты ни в Германии, ни в Америке.

Одна небольшая поправка к тому, что Я.С. написал об альманахе «Новый Колокол». Он вышел в свет после смерти Белинкова, но статья Тибора Самуэли, направленная против интеллигенции, была, насколько я помню, одобрена им самим. Впрочем, и его собственная работа о декабристах свидетельствует о некоторой перемене во взглядах.

Клич, брошенный громкими голосами Н.Я. Мандельштам и Белинкова, был подхвачен стадом публицистов-эпигонов. Не все из них выросли в 60-е годы, как пишет Я.С.; по крайней мере, одна, самая развязная, — моя сверстница, то есть должна была читать Ильфа и Петрова еще при Сталине.

Что можно добавить к пронизательному анализу этих веяний в книге, заглавие которой взято из записи Ильфа о непуганых идиотах, ругающих то, что прежде хвалили, и по тем же причинам, по которым хвалили?

Шестидесятничество самым резким образом дезавуировало своих исторических союзников, но обходило молчанием настоящих врагов. Вот пример. Мандельштам любил Ильфа и Петрова, а из советских писателей более всех ненавидел Леонова, как свидетельствует Анна Ахматова. Есть и письмо Мандельштама к Мариэтте Шагинян, в котором саркастически упоминается «смычка» между наукой и поэзией в «Скутаревском». Кто читал эту страшную книгу, поймет, что Мандельштам намекает на второстепенного леоновского персонажа, поэта-«князьца», декламирующего: «женщины наши гаснут, / ботинки наши изношены, / поэты наши расстреляны, / знамена истлели». Как «Вор» отвечал на эренбургского «Рвача», так и «Скутаревский» был написан по следам «Спекторского» — это был пасквиль против старой интеллигенции. Но ответила ли «демократическая» критика на вызов той «темной силы», которую представлял Леонов?

Можно согласиться со многим из того, что пишет Я.С. о брате Евгения Петрова — Валентине Катаеве. Удачник, приспособленец и — в отрочестве — член Союза русского народа — все это правда. Однако именно Катаев рассказал о роковом письме Леонова к Сталину в 1940 году

по поводу «еврейского засилья» в Союзе писателей; он же был автором «рождественского» рассказа «Отче наш» — о евреях в Одессе в 1941 году. Кто читал этот рассказ — не забудет никогда.

Как ни важна полемическая сторона вновь издаваемой книги Якова Соломоновича Лурье, самое радостное в ней — это исследовательские открытия и прозрения, ожидающие ее читателей. Как много в них нового и несправедливо забытого, увлекательного старого! Какая бездна смысла в сопоставлении двух образов строящегося социализма: не «Клоп» Маяковского, а КЛООП» Ильфа и Петрова! Как замечательна мотивировка самого названия книги, взятого из записных книжек Ильфа! Сурков в свое время назвал романы «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» «путешествием Бендера в страну дураков». Но слова Ильфа пародировали название книги Пришвина, старого русского интеллигента, пропевшего хвалу тому самому Беломорстрою, о котором ни слова не написали в печально знаменитом сборнике участвовавшие в путешествии писатели по каналу Ильф и Петров.

Интересна и попытка тематической реконструкции задуманного соавторами, но не написанного, поистине пророческого романа «Подлец». Это гоголевская по замыслу попытка «припрячь подлеца», описать карьеру, сделанную при советской власти человеком, который при капитализме был бы приобретателем.

Очень глубоко и сопоставление искусства Ильфа и Петрова с искусством Зощенко, а также отношения к ним современной критики. Зощенко новая критика простила все, даже его антирелигиозную тему и рассказы, в которых он жестоко высмеивал «поповское сословие». Ильфу и Петрову всякое лыко свободомыслия ставится в строку, и Сараскина в своей полемике с Сарновым, о которой рассказано в книге, дошла до предела мрачной нелепости. Одно из важных достижений Я-С. заключается в том, что он точно и беспристрастно определил идеологическую природу треугольника «Зощенко — Ильф и Петров — Булгаков». Зощенко смотрел на «мир коммунального быта» изнутри, Ильф и Петров — извне. Это — и «урбанизм, уважение к культуре, науке и технике» — объединяет их с Булгаковым.

Однако отношение к идее социализма у соавторов было совсем другим, чем у автора «Мастера и Маргариты». Здесь надо предоставить слово самому Якову Соломоновичу. Он имеет в виду шутку друзей о том, что Булгаков только недавно признал освобождение крестьян, а от него хотят, чтобы он согласился на социализм. Цитаты в нижеследующей выдержке — из Маркса и Энгельса:

«В отличие от "Миши" — Булгакова, Ильф и Петров были согласны не только на крестьянскую реформу 1861 г., но и на социализм. Однако представление об этой общественной системе, существовавшее у них до конца 1920-х гг., всерьез отличалось от той реальности, которая сложилась и 1933 — 1934 гг. Как и большинство людей XIX и первой трети XX в., проявлявших интерес к идее социализма, Ильф и Петров подразумевали под этим словом такой строй, при котором не только не будет частной собственности, но вместе с тем "вмешательство государственной власти в общественные отношения становится мало-помалу излишним и само собой засыпает". Социалистический строй рассматривался как наиболее свободный из всех общественных укладов, известных человечеству; с ним несовместимы такие явления, как цензура ("призрачны все свободы, если нет свободы печати..."), существование денег и материального неравенства, социальные привилегии, уголовные преступления, тюрьмы».

Трудно удержаться, чтобы не привести и другое место из этой книги, то, где автор говорит самую страшную правду о власти и народе в связи с отношением к Керенскому:

«Как ни менялись общественные взгляды и воззрения за прошедшие десятилетия, в одном сходились все: в презрении к демократическому премьеру 1917 г. "Главноуговаривающий" — в этом уничижительном прозвище целая философия истории. Власть, которая не бьет сапогом по морде, не сечет шпицрутенами, не высылает миллионы людей в Сибирь, а уговаривает, это, конечно, не настоящая власть».

Прекрасные страницы посвящены последним годам совместной работы соавторов и деятельности Петрова после смерти Ильфа. По-видимому, после 1934 года соавторы начали вести политические споры, едва не приведшие однажды в Америке к полному разрыву. Мы теперь знаем то, чего не мог знать Я.С.: о своей поездке в Америку Ильф и Петров написали отчет Сталину с советом, чтобы в Америку посылали не только технических работников, но и партийных секретарей — учиться демократическому и эффективному стилю руководства. Но Сталин распорядился по отношению к руководящим партийным кадрам совсем иначе.

Только в книге Я-С. можно найти подробное описание деятельности и служебного взлета Евгения Петрова после смерти Ильфа. Он приводит все имеющиеся сведения о замыслах Петрова (включая книгу «Остров Колыма») и о романе «1963, или Путешествие в страну коммунизма», частично опубликованном. Я-С. строго и в основном справедливо судит этот роман. Но вынести окончательный приговор ему нелегко. Не опубликованные в «Литературном наследстве» в 1965 году главы пропали, как сообщила мне Александра Ильинична Ильф, а в них шла речь о долгой войне немцев и англичан, то есть Европы, против Америки, которую Америка в конце концов выиграла с помощью какого-то «гениального спасителя», но очень дорогой ценой. Вероятно, в этом сюжете отражались исторические воспоминания о немецких полках в британской армии во время войны американских колоний за независимость, и старый роман Саки «Когда пришел Вильгельм», и слухи 1940 года о сговоре герцога Виндзорского и Ллойд Джорджа с Гитлером.

В очерке «Отступление», вошедшем в книгу «Из города Энн», я сделал попытку разобраться в характере Петрова, лечившего свои трагические воспоминания насильственным оптимизмом. Я намеренно смягчил то описание гибели Петрова, которое дано в книге Я-С. на основании устного рассказа адмирала Исакова: Петров несколько дней пил в Краснодаре после эвакуации из Севастополя. Летчик самолета, на котором он возвращался в Москву, пугал коров для забавы — и врезался в землю. Так говорит историк. Кто знает, не был ли пьян и пилот...

Так грустна биография двух писателей, с которыми моему поколению было смешно, а не страшно в самые черные годы. Но книга Якова Соломоновича Лурье — радостная книга. Она полна надежды на то, что и романы Ильфа и Петрова, как роман Булгакова, еще «принесут сюрпризы».

Сам я не перечитывал ее лет восемь, многое забыл и к смущению своему только сейчас заметил, что воспользовался в очерке о записных книжках Ильфа убедительным приемом, который Я-С. применил во вступлении к своей книге. Он сопоставил краткие выдержки из книг Ильфа и Петрова с цитатами из их современников — Булгакова и Мандельштама. Определить авторство было бы нелегко, если бы Я-С. не снабдил свой монтаж библиографическим примечанием. Я привел рядом отрывки из «Одноэтажной Америки» и из «Лолиты», а в одном абзаце из «Лолиты» заменил два слова, и предложил читателям догадаться, где Набоков, а где Ильф и Петров. Это был невольный плагиат, за который я теперь прошу прощения у тени Якова Соломоновича. В свое оправдание могу сказать, что не я один заимствовал у него идеи и приемы критического доказательства — так велико их научно-художественное очарование.

В чем же заключается не только литературоведческое, но и историческое значение книги «А.А. Курдюмова» — Я.С.Лурье? Как в беспримерном исследовании-памфлете «После Льва Толстого» он подверг веской научной критике взгляды предшественников и современников, выдвинув свое, четкое и непротиворечивое, описание взаимосвязи между исторической и нравственной доктриной Толстого, так и здесь он ясно показывает несостоятельность легенд об Ильфе и Петрове и определяет истинное значение их творчества для своего времени.

Разумеется, Ильф и Петров не Лев Толстой, а Н.Я. Мандельштам и А.В. Белинков — не Бердяев и не Эйхенбаум. Но и при сохранении всех пропорций влияние несправедливых суждений на умы само по себе остается отрицательным нравственным фактором в истории, будь то суд над Львом Толстым или над Ильфом и Петровым. Нынешний же упадок культуры смеха делает комическую и сатирическую традицию едва ли не более важной, чем было когда-то эпическое и пророческое направление.

Пора перечитать Ильфа и Петрова, учивших советских людей
быть людьми.

Пора перечитать и захватывающую книгу Якова Соломоновича Лурье, ученого и учителя,
посвятившего жизнь поиску и распространению исторической правды.

Омри Ронен
Ann Arbor, Michigan
2005

ОТ АВТОРА

Книга об Ильфе и Петрове была написана в 1968—1980 гг., на некоторое время стала достоянием «самиздата», а в 1983 г. была опубликована в Париже издательством «La Presse Libre». Как и название книги, псевдоним был заимствован из «Записных книжек» Ильфа: «Я знаю, что вы

не Курдюмов, но вы настолько похожи на Курдюмова, что я решился вам сказать об этом» (*Ильф И., Петров Е. Собр. соч. Т. 5. С. 261*).

Пересматривая и дополняя книгу, я убедился, что отмеченные в ней модные в интеллигентской среде настроения за истекшие годы стали даже более заметными. Взглядов своих я не менял — поэтому и не было необходимости вносить существенные изменения в текст.

Я. С. Лурье (А. А. Курдюмов) 1996 г.

* Предисловие ко второму, посмертному изданию // Я. С. Лурье. Россия древняя и Россия новая. СПб.: Дмитрий Буланин, 1997. С. 173—382. (*Примеч. ред.*)

**...Раньше десять лет хвалили,
теперь десять лет будут ругать.
Ругать будут за то, за что раньше хвалили.
Тяжело и нудно среди непуганых идиотов...**

...И. Ильф. Последняя записная книжка

ВСТУПЛЕНИЕ

Кому принадлежат эти строки?

1. *«Аптечные телефоны делаются из самого лучшего scarлатинового дерева. Scarлатиновое дерево растет в клистирной роце и пахнет чернилам...»*
2. *«Экстракт против мышей, бородавок и пота ног. Капля этого же экстракта, налитая в стакан воды, превращает его в водку, а две капли — в коньяк "Три звездочки"...»*
3. *«Мученики частного капитала чтут память знаменитого подрядчика Гинзбурга, баснословного домовладельца, который умер нищим... в советской больнице...»*
4. *«Палатки с медицинскими весами, тут же "докторский электрический аппарат", помогающий от всех болезней. Очередь на весы, очередь к автомату...»*
5. *«Медицинские весы для лиц, уважающих свое здоровье».*
6. *«Больные толпятся возле аппаратов, врачи работают, и медицинская тайна блистает на их лицах».*
7. *«По главной улице на раздвинутых крестьянских ходах везли длинную синюю рельсу. Такой звон и пенье стояли на главной улице, будто возчик в рыбацкой брезентовой прозодежде вез не рельсу, а оглушительную музыкальную ноту...»*
8. *«Человек в сандалиях и зеленых носках, ошеломленный явлением гремучего экипажа, долго глядел ему вслед. На лице его было написано изумление, словно везли не бывший в употреблении рычаг Архимеда...»*
9. *«Дано сие тому-сему (такому-сякому) в том, что ему разрешается то да се, что подписью и приложением печати удостоверяется.*
За такого-то. За сякого-то»
10. *«Предъявитель сего есть действительно предъявитель, а не какая-нибудь шантрапа»*
11. *«Значит, когда эти баритоны кричат: "Бей разруху", я смеюсь... Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот, когда он... займется чисткой сараев — прямым своим делом, — разруха исчезнет сама собой».*
12. *«Не надо бороться за чистоту. Надо подметать...»*
13. *« — Бога нет!
— А сыр есть? — грустно спросил учитель»,*
14. *« — А дьявола тоже нет?..
— И дьявола...
— Ну, уж это положительно интересно, — трясясь от хохота, проговорил профессор, — что же это у вас, чего нихватишься, ничего нет!»*

Можно с уверенностью сказать, что опытный читатель почти сразу же узнает текст некоторых цитат и согласится, что и остальные цитаты принадлежат тому же автору, во всяком случае очень близки ему по стилю. Но едва ли найдется много таких, кто определит всех процитированных авторов и укажет, какие высказывания принадлежат одному автору, какие — другому и какие — третьему. Один из них — Осип Мандельштам, другой — Михаил Булгаков, а третий — Илья Ильф (в двух случаях — в соавторстве с Евгением Петровым).¹

Мандельштам, Булгаков и Ильф — эти имена редко называются вместе. Правда, Булгаков, Ильф и Петров работали одно время в одном месте — в газете «Гудок» — и писали там

юмористические заметки и фельетоны. Отчетливо ощущается в творчестве Булгакова, Ильфа и Петрова влияние гоголевской традиции.²

Сходство Ильфа с Мандельштамом обнаружить труднее. Для этого необходимо обратиться к прозаическим произведениям поэта,

¹ Цитаты: /, 3—4, 8 — *Мандельштам О.* Собр. соч.: В 3 т. 2-е изд. Нью-Йорк, 1969-1971. Т. 2. С. 20, 122; Т. 3. С. 9-10; 10-11, 14 — *Булгаков М.* Собр. соч.: В 5 т. М., 1989-1990. Т. 2. С. 35, 145; Т. 5. С. 45; 2, 5-7, 9, 12-13 — *Ильф И., Петров Е.* Собр. соч.: В 5 т. М., 1961 (далее в тексте при цитировании этого издания указаны только номер тома и страницы); Т. 2. С. 22; Т. 5. С. 167, 175, 195, 236, 245; — *Петров Е.* Мой друг Илья Ильф // *Журналист.* 1967. № 6. С. 64 (ср.: Т. 3. С. 322-323).

² См.: *Молдавский Д.* Заметки о творчестве Ильфа и Петрова // *Нева.* 1956. № 5. С. 174; *Яновская Л. М.* Почему вы пишете смешно? М., 1969. С. 121-124.

а с другой стороны, исследовать «Записные книжки» Ильфа, и в особенности последнюю из них, которая велась в 1936—1937 гг. (ряд цитат из нее уже был приведен). Авторский машинописный текст последней книжки И. Ильфа сохранился у его дочери А. И. Ильф (копия — в РГАЛИ),³ он никогда не публиковался полностью.

Что же общего между приведенными текстами Ильфа, Мандельштама и Булгакова, если говорить не о поэтике, а о мировосприятии писателей, их манере думать и выражать свои мысли? Манера эта прежде всего специфически интеллигентская. Ироническое отношение к привычному, сближение далеких понятий, острое ощущение глубокой бессмысленности бытового ритуала, неизлечимая интеллигентность в самых резких эскападах.

И — как ни неожиданно звучит сочетание этих имен — судьбы их носителей не раз пересекались. Когда первый роман Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» вышел в свет, одним из немногих авторов, заметивших и приветствовавших книгу, был Осип Мандельштам. Отмечая, что «широчайшие слои сейчас буквально захлебываются книгой молодых авторов», охарактеризовав эту книгу как «брызжащий весельем памфлет», Мандельштам привел как «позорный и комический пример „незамечания“ значительной книги» гробовое молчание о ней критики.⁴

Роман «Двенадцать стульев» был написан двумя молодыми сотрудниками «Гудка». Булгаков стал знаменитым на два года раньше Ильфа и Петрова, когда в 1926 г. в Художественном театре пошли «Дни Турбиных». Связь между Ильфом, Петровым и Булгаковым не прерывалась и в последующие годы. В 1929 г. и в 1930-е гг., когда разворачивалась первая травля Мандельштама (фельетон Заславского и т.д.), на страницах газет еще более шумно травили Булгакова; в 1930 г. все его пьесы были сняты со сцены. Дальнейшая судьба Булгакова была благополучнее судьбы Мандельштама — его миновали и ссылка и лагерь, и благодаря этому в официальной критике, признавшей в конце 1960-х и в 1970-х гг. «по-настоящему русское дарование» Булгакова, появилась удобная, но недолговечная схема истории его творчества. Согласно этой схеме, Булгакова, как и Шолохова, Леонова и других, «плановмерно и сознательно» травили «Авербах, Гроссман-Рощин, Мустангова, Блюм, Нусинов» (опущен Керженцев, не упомянуты Литовский — «Латунский»

³ Копия: РГАЛИ. Ф. 1821, оп. 1, № 132; *черновые записи*: Там же. № 97, л. 7—16. Далее в тексте цитируется авторская машинопись (из архива А.И.Ильф) с указанием номера листа.

⁴ Статья «Веер герцогини» была напечатана в газете «Вечерний Киев» 25 янв. 1929 г.; ср.: *Мандельштам О.* Собр. соч. Т. 3. С. 56.

из «Мастера и Маргариты», Вс. Вишневский, Адуев, забыт Маяковский, также приложивший руку к травле писателя, — все они, очевидно, не подходили под схему). А спас Булгакова Сталин — звонком по телефону весной 1930 г.: «Этот телефонный звонок вернул писателя к творческой жизни. Булгаков стал заниматься любимым делом, служил во МХАТе режиссером-ассистентом, заново стал писать роман "Мастер и Маргарита", рукопись которого сжег в минуту отчаяния, работал над "Театральным романом"..."⁵ Эта трогательная история имеет только один пробел: не указано, что после спасительного телефонного звонка Булгаков не напечатал ни одного из своих сочинений (в 1920-х гг. он все-таки печатался) и не смог поставить ни одной новой пьесы («Мольер» был написан до 1930 г.). Последнее десятилетие жизни писателя, в конце которого 1938 г.) погиб Мандельштам, были временем крушения всех попыток Булгакова вернуться в литературу; они длились до самой смерти писателя 10 марта 1940 г.

Ильф не пережил ни Мандельштама, ни Булгакова — он умер весной 1937 г. от туберкулеза; Евгений Петров погиб спустя пять лет на войне. В 1929 г. Мандельштам предрекал авторам «Двенадцати стульев», что критики «доберутся, конечно, до этой книги и отбреют как следует». Но

предчувствие это оказалось неверным или, скорее, преждевременным. Ильфа и Петрова поругивали, несколько раз даже довольно серьезно, задерживали издание их книг, но в конце концов печатали. Предсказание Мандельштама сбылось только после смерти обоих писателей. В 1949 г. Ильф и Петров были осуждены за безыдейность. Б.Горбатов счел нужным извиниться за выпущенное после войны издание «Двенадцати стульев» и «Золотого тельца»: «...переизданные благодаря грубой нашей ошибке, эти романы приносят сейчас немалый вред». Возражая неким «молодым людям, плохо знающим историю советской литературы», Б.Горбатов писал: «Мы-то, "старики", помним, как начинали свой творческий путь И. Ильф и Е. Петров... Мы помним, как встречал читатель-современник выход в свет первых романов И.Ильфа и Е.Петрова "Двенадцать стульев" и "Золотой тельца"».

⁵ Петелин В. М.А.Булгаков и «Дни Турбиных» // Огонек. 1969. № 11. С. 27; Бэлза И.Ф. Генеалогия «Мастера и Маргариты» // Контекст. 1978. М., 1978. С. 222-223. И.Ф. Бэлза, пожалуй, нашел наиболее сильное доказательство благотворной роли партии и ее вождя в жизни Булгакова: «Постановление "О перестройке литературно-художественных организаций", как можно полагать, сыграло немалую роль в настроении Булгакова, как и многих других деятелей культуры. Во всяком случае, 1932 год ознаменовался многими радостными событиями в жизни писателя — женитьбой на Елене Сергеевне, совместной поездкой в Ленинград...» (С. 238).

Уже тогда наш читатель и наша советская печать и сами мы — писатели — указывали авторам на то, как много обывательского в их романах, как много там безыдейного, пустого юмора ради юмора.⁶ Такой же ошибкой было признано и переиздание «Одноэтажной Америки»: П. Павленко порицал Ильфа и Петрова за то, что они «наивно и неосторожно» расхвалили американский «сервис»,⁷ а Н. Атаров объявил их книгу «примером забвения славной традиции Маяковского в изображении Америки». «В этой книге внимание читателей привлечено ко всем побрякушкам разрекламированного "сервиса". "Ищите средних людей, ибо они и составляют Америку", — сказал авторам их великий соблазнитель, попутчик в автомобильной поездке по Штатам — мистер Адаме, и они приняли на веру лживую философию торговых фирм и универмагов», — писал Атаров. «Сегодня невозможно читать эту книгу без чувства протеста. В „Одноэтажной Америке“ вы видите, как отворяются окна в отеле на американский манер, но не видите, как отворяется „на американский манер“ кровь из открытых ран негра на мостовой... Ни разу не сказано главное, всепоглощающее слово — страх! Страх перед палкой полицейского, перед старостью, перед безработицей».⁸ А ведь Горбатов и Атаров выступали в роли доброжелателей обоих авторов, сожалеющих о переиздании их устаревших книг. Другие были решительнее. А.Г.Дементьев, например, причислял Ильфа и Петрова к «одесской группе литераторов», которая «находилась на декадентских позициях и как никакая другая группа в литературе была заражена низкопоклонством перед иностранщиной».⁹

Возвращение Ильфа и Петрова в литературу произошло в 1956 г. — были переизданы их романы; в 1961-м вышло в свет пятитомное собрание сочинений писателей, одним из редакторов которого оказался А.Дементьев, недавно еще столь строгий к обоим одесситам, — к этому времени он стал заместителем редактора либерального «Нового мира». Издание Ильфа и Петрова было одним из актов послесталинского «реабилитанса», но совершился он легче и раньше, чем возвращение Булгакова и Мандельштама.

Однако не кощунство ли это — сочетание таких имен? Ведь Мандельштам и Булгаков были типичными интеллигентами и по

⁶ Горбатов Б. О советской сатире и юморе // Новый мир. 1949. № 10. С.215-216.

⁷ Павленко П. Американские впечатления. М., 1949. С. 17.

⁸ Атаров И. Чему учиться у Маяковского? // Лит. газ. 1949. 1 окт.

⁹ Дементьев А. Против антипатриотического эстетизма и формализма в поэзии // Звезда. 1949. № 3. С. 206. Переиздание Ильфа и Петрова осуждено уже в статье об ошибках издательства «Советский писатель» (Лит. газ. 1949. 9 февр.).

мировоззрению, и по социальной позиции. Судьба их — судьба одиноких интеллигентов, уничтоженных государством. В противоположность им Ильф и Петров стали восприниматься с 1970-х гг. как «два молодых дикаря» 1920—1930-х гг., которые, «выполняя социальный заказ», оплевали «всю интеллигенцию, претендовавшую на собственное мнение». Творчество их было объявлено антигуманистичным, «дикарским скалозубством».

Все это можно услышать еще и сегодня от многих любителей литературы, хотя при жизни Ильфа и Петрова такие упреки никогда не высказывались нив печати, ни кулуарно, ни даже среди эмигрантов, которым как будто естественно было бы протестовать против поклепов и доносов на самостоятельно мыслящую интеллигенцию. Ильфа и Петрова перепечатывали в эмигрантских изданиях; они были в числе немногих советских писателей, которых ценил В. Набоков. Но с 1970-х гг. антиинтеллигентская направленность творчества обоих писателей стала считаться столь бесспорным фактом, что когда публицистка М.Каганская, выросшая в 1960-е гг. и пишущая за рубежом, призналась в своей юношеской любви к «Двенадцати стульям» и «Золотому теленку», то она сочла необходимым специально оправдываться перед людьми старших поколений: «Да увидь мы хоть намек "доноса на интеллигенцию", хоть клочок...— Пусть не для всех, но для многих, и тех именно, кто узаконил славу романов, были бы они скомпрометированы навеки, заглохли, увяли, перестали бы существовать...»¹⁰

Неизвестно, кого следует считать автором теории «антиинтеллигентства» Ильфа и Петрова, но впервые такие обвинения против обоих авторов были высказаны, по-видимому, в «Воспоминаниях» Надежды Яковлевны Мандельштам — вдовы Осипа Мандельштама, когда-то приветствовавшего авторов «Двенадцати стульев». Сорок лет спустя наиболее авторитетная истолковательница творчества Мандельштама оценила смысл сочинений Ильфа и Петрова совершенно иначе. «Кто отдавал себе отчет в том, что добровольный отказ от гуманизма— ради какой бы то ни было цели— к добру не приведет? Кто знал, что мы встали на гибельный путь, провозгласив, что "все дозволено"? Об этом помнила только кучка интеллигентов, но их никто не слушал»,— писала она и дальше объяснила, что литература 1930-х гг. всячески стремилась осмелить «хилых» и «мягкотелых» интеллигентов: «За эту задачу взялись Ильф с Петровым и поселили "мягкотелых" в "Вороньей слободке". Время стерло специфику этих литературных

¹⁰ Каганская М. Наследники Толстоевского, или Шестидесятые годы // Время и мы. 1977. № 16. С. 135.

персонажей, и никому сейчас не придет в голову, что унылый идиот, который пристаёт к бросившей его жене, должен был типизировать основные черты интеллигента. Читатель шестидесятых годов, читая бессмертное произведение двух молодых дикарей, совершенно не сознает, куда направлена их сатира и над кем они издеваются.¹¹ Еще суровее обошлась с обоими сатириками Н. Я- во второй книге своих воспоминаний — здесь она заявила, что шутка 1920-х гг., получив «идеологическую обработку» Ильфа и Петрова... приблизилась к идеалу Верховенского» — т.е. Петра Верховенского из «Бесов».¹²

Примерно в то же время сходные упреки были высказаны другим, также весьма независимым автором — Аркадием Белинковым. Тема книги Белинкова — «сдача и гибель советского интеллигента» (это заголовок его книги); предметом критического исследования Белинкова был Юрий Олеша, земляк и приятель Ильфа и Петрова, работавший с ними и с Булгаковым в «Гудке». Белинков показывал, как Олеша, начавший со сказки о революции «Три толстяка» и весьма смелой книги «Зависть», сдавал затем одну позицию за другой. Постепенно умирая как писатель, Олеша в 1939 г. написал сценарий о работе органов безопасности, по которому была сделана экранизация знаменитой пьесы профессиональных знатоков этой тематики братьев Тур и Л. Шейнина «Очная ставка».

Особое место А. Белинков отводил раннему герою Олеша — поэту и интеллигенту Николаю Кавалерову из «Зависти». Кавалеров противостоит «сильной личности» из того же романа — партийцу, директору пищевого треста Андрею Бабичеву, который «если постарается», чтобы «человека выслали или посадили в сумасшедший дом», то «человека вышлют и посадят». На вопрос Андрея Бабичева: «Против кого ты воюешь, негодяй?»—он отвечает: «Не знаю, кого имели вы в виду: себя ли, партию вашу, фабрики ваши...— не знаю! а я воюю против вас...» Но сам Олеша, по словам Белинкова, так и не смог занять определенного места в этом конфликте, он «метался... между, любовью к поэту и колбаснику», стараясь «заглушить любовь к своему герою», он «придумал Кавалерову пьянство, оборванную пуговицу, приплюснутый нос, нежелание заниматься общественно полезным трудом, зависть».

Кого же противопоставляет А. Белинков сдавшемуся и погибшему Юрию Олеше? Белинков называет имена подлинных, не сдавшихся интеллигентов: Булгакова, Бабеля, Ахматову, Пастернака, Мандельштама, Платонова, в одном случае — Д.Шостаковича. А Ильф и Петров? Если Олеша согласился осудить героя-интеллигента с неохотой

¹¹ *Мандельштам Н.Я.* Воспоминания. Нью-Йорк, 1970. С. 345.¹² *Мандельштам Н.Я.* Вторая книга. Париж, 1972. С. 143.

и делал это «сбивчиво и противоречиво», то его «остроумные коллеги», по словам А. Белинкова, осуществили то же задание «охотно и радостно». Они «освистали интеллигенцию за то, что она думает, что революция посягает на демократию». Васисуалий Лоханкин из «Золотого теленка» «был опровержением Юрия Олеши» — именно в его лице Ильф и Петров «осмеяли всю интеллигенцию, претендовавшую на собственное мнение». «Почти у каждого писателя тех лет был свой Лоханкин, и каждый из писателей то больше, то меньше, то сам, то препоручая эту ответственную работу своим героям, сражал своего Лоханкина. Этой в высшей степени респектабельной деятельности предавалась большая и, конечно, лучшая часть нашей литературы приблизительно два десятилетия и только к концу 30-х годов сочла свою задачу по ряду показателей выполненной».¹³

Воспоминания Н. Я. Мандельштам и книга Белинкова были сугубо неофициальными сочинениями, не рассчитанными на одобрение вышестоящих органов. Тем более интересно отметить, что суждения и оценки, высказанные обоими авторами, не остались достоянием лишь оппозиционной мысли. Почти сразу же после того, как книга Белинкова об Олеше стала предметом двух разгромных статей в «Литературной газете», печатание книги в сибирском журнале «Байкал» было прервано и сам автор вынужден был эмигрировать, а данная им характеристика Васисуалия Лоханкина как оппозиционера была взята на вооружение той же самой «Литературной газетой». «Васисуалий Белинков избирает "Воронью слободку"» — назвал свой служебный фельетон об эмигранте Белинкове Вл. Жуков.¹⁴

Если Вл. Жуков позаимствовал у Белинкова только характеристику Лоханкина, то Олег Михайлов в книге «Верность. Родина и литература» пошел гораздо дальше Н.Мандельштам и А. Белинкова в общей отрицательной оценке творчества Ильфа и Петрова. Правда, в отличие от А. Белинкова О. Михайлов вовсе не беспокоился о судьбах демократии после Октябрьской революции и не защищал «интеллигенцию, претендовавшую на собственное мнение». Его заботило другое — «великая гуманистическая магистраль, идущая от нашей отечественной классики» и «продолженная в произведениях М. Горького и других советских писателей с поправкой на новые ценности и черты — народности,

¹³ *Белинков А.* Поэт и толстяк // Байкал. 1968. № 1. С. 106-107; № 2. С. 102-104. Полный текст книги был издан посмертно: *Белинков А.* Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша / Под. к печ. Н. Белинкова. Мадрид, 1976.¹⁴ См.: Лит. газ./968. 14 авг. Ср.: Там же. 15 мая (ст. Ю.Андреева); 5 июля (анонимная «Реплика»).

партийности, социалистического гуманизма». Называя имена достойных преемников этой традиции в современной литературе — Шолохова, Леонова, критик подчеркивал, что мы «не забываем о главном — гуманистическом, социальном, духовном, гражданском содержании подлинного высокого искусства», воплощенного в «социалистическом реализме». Именно этого высокого духовного, гуманистического содержания О.Михайлов не нашел у писателей «одесской школы», характеристику которой он во многом заимствовал у борца с космополитизмом 1949 г. (и либерала 1956 г.) А.Дементьева. Предварив главу, посвященную «одесской школе», эпиграфом из Толстого: «...невозможно... писать, не проведя... черту между добром и злом», О.Михайлов далее заявил, что характерной особенностью произведений «одесской школы» было неумение или нежелание провести такую черту, полнейший этический релятивизм. «Этические принципы» «одесской школы» присущи и романам Ильфа и Петрова: «...в этих произведениях мы не обнаруживаем ровного нравственного горения; полюсы добра и зла смещены; и в отрицании, и в симпатиях ощутишь этаким моральным релятивизмом — всюду проглядывает мысль об относительности разного рода духовных ценностей». «Безусловной симпатией в их произведениях окружены герои, для которых не существовало обычных нравственных норм, — деклассированные, денационализированные»,¹⁵ — писал автор. Созданный им неологизм — понятие «денационализированный» — противостоит, как можно догадаться, не термину «национализация», а слову «национальность»: отсутствие у литературного персонажа необходимой национальности подрывает, по мнению автора, нравственные нормы этого персонажа. Примером такого «денационализированного» героя, очевидно, и является Остап Ибрагимович Бендер, «сын турецко-подданного» и, естественно, авантюрист.

Обнаруженные О. Михайловым черты «морального релятивизма» Ильфа и Петрова и дали ему основание противопоставить обоих авторов их современнику — Михаилу Булгакову. Возражая А. Ву-лису,¹⁵ находившему черты сходства в творчестве Булгакова и этих писателей, О. Михайлов подчеркивал «принципиальное отличие булгаковской прозы от фельетонной стихии Ильфа и Петрова»: «Боль за человека, внимание к его страданиям резко распределили в романе Булгакова свет и тени, почти начисто истребив в нем благодушный юмор: никакого сочувствия проходимцам, бойким халтурщикам и гешефтмахерам...» Далее О. Михайлов ставил несколько странный вопрос

¹⁵ Михайлов О. Верность. Родина и литература. М., 1974. С. 141 — 142, 145, 163-164.

¹⁶ См.: Вулис А. И. Ильф, Е. Петров. М., 1960.

о предполагаемом месте Остапа Бендера в «Мастере и Маргарите» и категорически заявлял, что в романе Булгакова Остап «выглядел бы уже начисто лишенным своего двусмысленного шарма...»;¹⁷ в роман Булгаков его просто не пустил бы.

Михайлова поддержали его единомышленники. В. Петелин признал мысль о создании «Мастера и Маргариты» в полемике с «одесской школой» одной из «серьезных и глубоких мыслей», высказанных в литературе о Булгакове.¹⁸ Глобальное расширение такой характеристики Ильфа и Петрова мы находим у И. Р. Шафаревича. Осуждение обоих писателей он увязывает с общей идеей «русофобии» и козней «Малого народа» против «Большого». «Кажется, пора бы пересмотреть и традиционную точку зрения на романы Ильфа и Петрова,— пишет Шафаревич.— В мягкой, но четкой форме в них развивается концепция, составляющая, на мой взгляд, их основное содержание. Действие их как бы протекает среди обломков старой русской жизни, в романах фигурируют дворяне, священники, интеллигенты — все они изображены как какие-то нелепые, нечистоплотные животные, вызывающие брезгливость, отвращение. Им даже не приписывается каких-то черт, за которые можно осудить человека. На них вместо этого ставится штамп, имеющий целью именно уменьшить, если не уничтожить чувство общности с ними, как с людьми, оттолкнуть от них чисто физиологически: одного изображают голым, с толстым отвисшим животом, покрытым рыжими волосами, про другого рассказывают, что его секут за то, что он не гасит свет в уборной...»¹⁹

Ссылка на Ильфа и Петрова в статье Шафаревича нет, и приведенные им примеры (из «Золотого тельца») требуют комментария. В первом случае речь идет о художнике-дележе, спешившем как можно скорее получить заказ на портрет ответственного товарища: «...из-за угла вынесся извозчик экипаж. В нем сидел толстяк, у которого под складками синей толстовки угадывалось потное брюхо.

¹⁷ Михайлов О. Верность. С. 174. Упомянув «гешефтмахеров», О. Михайлов далее пояснил эти слова, называя персонажей «Мастера и Маргариты»: «...всякого рода Латунским, Ариманам и прочим Варенухам». Это уточнение озадачивает. «Гешефтмахер» (нем. и идиш) означает по-русски «делец», этим словом обычно обозначают спекулянтов, валютчиков и т.д. Между тем у Булгакова Варенуха — администратор варьете, ни в каких махинациях не замеченный, а Латунский и Ариман — влиятельные советские журналисты, коллеги О. Михайлова. Разумеется, и этих лиц можно назвать «гешефтмахерами», но лишь в переносном смысле.

¹⁸ Петелин В. Михаил Булгаков: Жизнь. Личность. Творчество. М., 1989. С. 481.

¹⁹ Шафаревич И. Русофобия // Наш современник. 1989. № 11. С. 17.

Общий вид пассажира вызывал в памяти старинную рекламу патентованной мази, начинавшуюся словами: "Вид голого тела, покрытого волосами, производит отталкивающее впечатление!"» (Т. 2. С. 98). Образ действительно малопривлекательный, но ни из чего не видно, что владелец потного брюха должен быть причислен к «обломкам старой русской жизни», «дворянам, священникам, интеллигентам», и нет никакого указания на его принадлежность к Большому или, напротив, Малому народу. Во втором случае речь идет о том же Васисуалии Лоханкине; заметим, что люди, совершавшие над ним экзекуцию, по своим воззрениям (Там же. С. 151) довольно близки И. Шафаревичу.

Перед нами, как видим, суровый и решительный приговор Ильфу и Петрову, вынесенный авторами самых различных направлений.²⁰ В большой работе о рукописях Булгакова Мариэтта Чудакова высказала — походя, как нечто само собой разумеющееся, — распространенное мнение о трактовке темы «интеллигенция и народ» в «Золотом тельце», сославшись на осуждение Васисуалия Лоханкина как на «хрестоматийный пример».²¹

Итак перед нами взгляд, ставший уже хрестоматийным. Как велика сила воздействия этого взгляда, мы уже видели на примере М. Каганской, извинявшейся перед «людьми 30-х годов» за бы-

лую привязанность к Ильфу и Петрову. Еще более твердо усвоил хрестоматийный взгляд Марк Поповский: «Для того чтобы в 1937 году войти в доверие к Сталину... нужно было совершить какие-то действия...» — объяснял он в статье о К. Симонове. «Илья Ильф и Евгений Петров сочиняли заказные пасквили на русскую интеллигенцию...»²² Какие именно «заказные пасквили» сочиняли Ильф и Петров? При чем тут 1937 год, в начале которого Ильф умер? М. Поповский явно не задается подобными вопросами: «сочиняли», и все тут. М. Каганская деликатнее и осторожнее, но и ей даже не пришла в голову мысль, что люди, которые в 1930-е гг. «попросту не заметили» романов Ильфа и Петрова, а «тридцатилетие спустя, заметив — обиделись», могли и ошибиться в своих запоздалых обидах, что вопрос

²⁰ Ср.: *Иванов Вяч. Вс.* О применении точных методов в литературоведении // *Вопр. лит.* 1967. № 10. С. 126; *Пименов Р.* О науке, об истории, о нравственности // *Нева.* / 1988. № 8. С. 170; *Костиков Вяч.* О «феномене Лоханкина» и русской интеллигенции // *Огонек.* 1988. № 49. С. 7.

²¹ *Чудакова М. О.* Архив М.А. Булгакова: Материалы для творческой биографии писателя // *Зап. Отдела рукописей Гос. б-ки СССР им. В. И. Ленина. М., 1976. Вып. 37. С. 71 (примеч. 110).*

²² *Поповский М.* Идеальный советский писатель // *Континент.* / 1980. № 24. С. 305.

этот, во всяком случае, требует проверки на источниках — сочинениях самих писателей.

Вынося приговор Ильфу и Петрову, его судьи не очень беспокоились об обосновании этого приговора: нетрудно показать, что в ряде случаев они не только не подвергли серьезному разбору, но даже не прочли как следует осуждаемые ими романы.

Оправдывая свою позицию перед возможными защитниками Ильфа и Петрова, Н.Мандельштам писала: «Многие обидятся за упомянутые вскользь "Двенадцать стульев". Я сама смеялась и смеюсь над разными жульническими эпизодами и ахаю, как это авторы осмелились написать, что Остап Бендер с прочими жуликами, войдя в писательский вагон, едущий по вновь открытой линии Турксиба, растворился среди своих пишущих собратий и всю дорогу проехал неузнанным и неразоблаченным. Но над "Вороньей слободкой" смеяться грех».²³ К сожалению, однако, это объяснение еще более усиливает недоумение тех, кто способен обидеться за упомянутые вскользь «Двенадцать стульев». Более того, при самом уважительном отношении к Н. Мандельштам поклонники этого романа не могут поверить утверждениям писательницы, что, читая «Двенадцать стульев», она смеялась над сценами в писательском вагоне и была обижена описанием «Вороньей слободки». Дело в том, что ни «Воронья слободка», ни «унылый идиот» Лоханкин, ни писательский поезд, направляющийся на открытие Турксиба, вообще не упоминаются в «Двенадцати стульях»: все это сцены из другого романа — из «Золотого тельца». Легко представить себе, как отнеслась бы Н. Мандельштам к автору, который, критикуя Мандельштама, ухитрился бы перепутать его основные сочинения! Кстати, и в «Золотом тельце» Остап устроился в писательском вагоне один, а не с «прочими жуликами». Остап Ибрагимович действительно не уступал в интеллигентности братьям-писателям, но Шура Балаганов, Паниковский и Козлевич все же вызвали бы подозрения даже среди членов СП.

Так же плохо помнил романы Ильфа и Петрова и Варлам Шаламов, одоббивший Н.Мандельштам за то, что она «не прошла мимо омерзительного выпада Ильфа и Петрова против интеллигенции в "Двенадцати стульях"».²⁴ Как и Н.Мандельштам, вспоминая осуждаемых им писателей, Шаламов путал давно читанные им «Двенадцать стульев» с «Золотым тельцем». Впрочем, у него был свой счет к писателям: он ставил им в вину образ «фармазона Остапа Бендера»,

²³ *Мандельштам Н.Я.* Воспоминания. С. 348.

²⁴ Переписка Варлама Шаламова и Надежды Мандельштам // *Знамя.* 1992. №2. С. 172.

отражавший, как ему казалось, «моду на налетчиков», проявившуюся в сочинениях Бабеля, Леонова, Каверина и других.²⁰ Вражда Шаламова к уголовникам имела веские основания: с уголовниками Шаламов встречался в лагерях, где эти «социально близкие» заключенные были почти полными хозяевами и издевались над «врагами народа». Но могли среди лагерных «блатарей» оказаться Остап Бендер? Это очень сомнительно: профессиональным уголовником Остап не был, «кодекс читал» и попасть в заключение мог скорее по политической статье — за нарушение государственной границы или «измену родине».

Вопрос об общественной позиции Ильфа и Петрова, об основных идеях их произведений, естественно, шире и важнее вопроса о том, правы или неправы их суровые критики. Было ли специфически интеллигентское отношение к миру, бросающееся в глаза в «Записных книжках» Ильфа, присуще и его совместному с Е. Петровым творчеству, или это случайная и даже мнимая черта? Действительно ли основной или важной темой их сочинений было осмеяние интеллигенции, проявлявшей гуманизм и претендовавшей на собственное мнение? Говоря об антиинтеллигентской направленности романов Ильфа и Петрова, их критики имеют в виду главным образом один персонаж — Васисуалия Лоханкина из «Золотого тельца». Не играющий существенной роли в сюжетном построении романа, Лоханкин тем не менее довольно прочно сохранился в памяти читателей и стал для нынешних критиков Ильфа и Петрова основным (и едва ли не единственным) доказательством их «антиинтеллигентства».

Но прежде всего: почему Лоханкин — интеллигент? Ответ на этот вопрос не прост хотя бы потому, что однозначного и общепризнанного определения слова «интеллигентность» не существует. Традиционное определение — образованность, широта интересов. Данные о Лоханкине, которые мы имеем, в этом случае достаточно определены: изгнанный из пятого класса гимназии и проводящий свой досуг за картинками и объявлениями из «Родины» за 1899 г., Васисуалий Андреевич едва ли может считаться разносторонне образованным человеком. Да, действительно, сам он причисляет себя к интеллигентам, этим же словом ругает его жена Варвара, но права носить звание интеллигента у него не больше, чем у Ипполита Матвеевича Воробьянинова — считаться гигантом мысли, отцом русской демократии и особой, приближенной к императору.

Однако определенный уровень образования — не единственный признак интеллигентности. Интеллигенцией называют еще

²⁵ См.: Шаламов В. Левый берег. М., 1989. С. 449.

мыслящую часть общества, ту его часть, которая наблюдает за окружающим миром, осмысляет его, ставит и разрешает «проклятые вопросы». Очевидно, Лоханкин претендует на интеллигентность именно в таком смысле. С правом или без права он берет на себя роль общественного мыслителя и выразителя страданий интеллигенции. «Васисуалий Лоханкин и его значение», «Лоханкин и трагедия русского либерализма», «Лоханкин и его роль в русской революции» — таковы излюбленные предметы размышлений Васисуалия Андреевича. «А может быть, так надо, — говорит он жене, жалующейся на хамство соседей. — Вдумайся только в роль русской интеллигенции, в ее значение...»

Что же хотели сказать Ильф и Петров, создавая этот образ? Почему именно в уста недоучившегося гимназиста писатели вложили рассуждения о трагических судьбах интеллигенции? Думали ли они при этом об интеллигенции каков особом социальном слое или каков носителях какой-то «интеллигентской» идеи — и каковой именно?

Подобные же вопросы встают и при осмыслении других образов «Двенадцати стульев» и «Золотого тельца». Мы остановились на Лоханкине только потому, что о нем особенно охотно говорили критики Ильфа и Петрова. Еще важнее образ самого «великого комбинатора». Кто он такой: «фармазон», по брезгливому определению В. Шаламова, прямой потомок Жиль Блаза и Фигаро, как считал В. Шкловский,²⁶ или, может быть, еще кто-нибудь? Каково было подлинное отношение авторов к другим персонажам — например, к Воробьянинову, отцу Федору, Паниковскому?

Все эти вопросы связаны с более широкой проблемой — с оценкой творчества Ильфа и Петрова и их места в русской литературе XX в. Когда-то Ильф и Петров создали образ «литературной обложки» — стандартного набора имен виднейших писателей, имеющегося в распоряжении критиков: «Ну, знаете, как револьверная обложка. Входит семь патронов — и больше ни одного не впишете. Так и в критических обзорах. Есть несколько фамилий, всегда они стоят в скобках и всегда вместе. Ленинградская обложка — это Тихонов, Слонимский, Федин, Либединский. Московская — Леонов, Шагинян, Панферов, Фадеев».²⁷ Много воды утекло с 1932 г., когда были написаны эти строки. Мало кто читает теперь Слонимского и Либединского, да и Шагинян с Панферовым явно потеряли свое видное

²⁶ Шкловский В. «Золотой тельца» и старый плутовский роман // Лит. газ. 1934. 30 апр.

²⁷ Ильф И., Петров Е. Как создавался Робинзон. 3-е изд., доп. М., 1935. С. 43. Цитируемый рассказ «На зеленой садовой скамейке» не был включен в пятитомное Собрание сочинений.

место. С конца 1930-х гг. прочно вошли в обойму советские классики — А. Н. Толстой и Шолохов. Но кроме официальной обоймы всегда существовала и другая — кулуарная, отличающаяся от формально утвержденной, но не совсем свободная от ее влияния. Положение Ильфа и Петрова по отношению к этой обойме было всегда довольно неопределенным и двусмысленным. Первая же их книга имела оглушительный успех, но успех писателей сразу же был признан в литературных кругах временным и несерьезным. Юмористов редко считают настоящими писателями — разве что они жили много веков назад и твердо зачислены в классики. Ильф и Петров имели не раз возможность ощутить такое отношение к избранному ими литературному жанру. «В ужасных препирательствах прошла молодость... — писали они в 1932 г. — Враги говорили, что юмор — это низкий жанр, что он вреден. Плача, мы возражали. Мы говорили, что юмор вроде фитина. В небольших дозах его можно давать читателю...» И там же — об их литературном собрате Михаиле Зощенко:

« — А про Зощенко все еще ничего не пишут. Как раньше не писали, так и сейчас. Как будто и вовсе его и на свете нет.

— Да. И знаете, — похоже на то, что этот ленинградский автор уже немножко стыдится своего замечательного таланта. Он даже обижается, когда ему говорят, что он опять написал смешное. Ему теперь надо говорить так: "Вы, Михаил Михайлович, по своему трагическому дарованию просто Великий Инквизитор". Только тут он слегка отходит, и на его узких губах появляется осмысленно-интеллигентная улыбка. Приучили человека к тому, что юмор — жанр низкий, не достойный великой русской литературы. А разве он Великий Инквизитор? Писатель он, а не инквизитор...» (Т. 3. С. 175). «Теперь уже окончательно выяснилось, что юмор — не ведущий жанр. Так что можно, наконец, говорить серьезно, величаво. Кстати, давно уже хочется застегнуться на все пуговицы и создать что-нибудь нетленное...» — читаем мы в другом фельетоне (Там же. С. 231).

И даже в 1960-х гг., когда Ильфа и Петрова уже разрешили печатать и еще не объявили хулиателями интеллигенции и носителями «морального релятивизма», вопрос об их месте в обойме советской классики вызывал сомнения. «Он умер в чине Чехонте...» — с искренним соболезнованием писал об Ильфе И. Эренбург.²⁸ В этой краткой фразе — своеобразная идея литературной «табели о рангах». Чехов стал классиком потому, что после «Письма ученому соседу», «Смерти чиновника» и «Хамелеона» написал «Крыжовник» и «Дядю Ваню». Сам Эренбург, видимо, был убежден, что он попал в большую

²⁸ Воспоминания об Илье Ильфе и Евгении Петрове: Сб. М., 1963. С. 182.

русскую литературу именно потому, что стал создавать свои «эпические полотна» — «День второй», «Падение Парижа», «Бурю».

Во второй половине 1929 г., когда рапповский журнал «На литературном посту» впервые обратил внимание на Ильфа и Петрова, там же была помещена любопытная анкета «Как мы относимся к Чехову», приуроченная к юбилею писателя. «Отношусь к нему в высшей степени отрицательно... — решительно заявил старый большевик Ольминский, — я не отрицаю таланта Чехова, но это пустой талант». «...Я родился позднее его героев, и мне он уже ничего не говорит своим творчеством... Чехова, я думаю, сейчас мало кто читает. Очень старый писатель он», — сказал П. Павленко.²⁹ И даже когда «Литературная газета» сочла нужным почтить Чехова и посвятила ему передовую статью, то начиналась она так: «А. П. Чехов любил утверждать, что его будут читать семь лет. Он ошибся. Со дня смерти Чехова прошло 25 лет, а сочинения его выходят изданием за изданием».³⁰ Эти ободряющие слова звучат сейчас дико, но ведь действительно к 1929 г. прошло только 25 лет со дня смерти Чехова, и было еще живо поколение, не уверенное в том, классик Чехов или нет.

Со дня смерти Ильфа прошло почти 60 лет, со дня смерти Петрова — 50. В 1928 г., когда вышли в свет «Двенадцать стульев», Г. Блок писал, что эта книга — «легко читаемая игрушка, где зубоскальство перемешано с анекдотом... Социальная ценность романа незначительна, художественное качество невелико».³¹ Пять лет спустя А. Зорич дал примерно такую же оценку другой книге писателей — «Золотому теленку»: «Для чего она написана, каким целям и каким идеям призвана служить?.. Приходится признать, что она написана исключительно во имя смеха... Это книжка для досуга, для легкого послеобеденного отдыха... Она будет быстро прочитана и столь же быстро забыта, не оставив после себя никакого следа...»³²

Время все-таки иногда бывает настоящим судьей, и полвека с лишним спустя люди, читая эти предсказания, прежде всего спросят: кто такие Г. Блок и А. Зорич, предрекавшие скорое забвение

Ильф и Петрову? Поясняем: Г. Блок — кузен поэта, сам писавший рассказы, А. Зорич — фельетонист, сотрудничавший в 1920-х и 1930-х гг. в тех же органах печати, что и Ильф с Петровым.

После выхода в свет первого издания этой книги восприятие Ильфа и Петрова не претерпело значительных изменений. Несколько

²⁹ Налит, посту. 1929. № 17. С. 57 и 63.

³⁰ Лит. газ. 1929. 15 июня.

³¹ Книга и профсоюзы. / 928. № 9. С. 52.

³² Зорич А. Холостой залп. Заметки читателя // Прожектор. 1933. № 7—8. С. 23-24.

работ появилось за рубежом.³³ М. Каганская, воспринявшая в 1970-х гг. представления Н. Мандельштам и А. Белинкова об «антиинтеллигентстве» Ильфа и Петрова, по-видимому, отказалась от прежних взглядов. В книге, написанной совместно с З. Бар-Селла, о Белинкове иронически упоминается, как о «лучшем, талантливейшем из Белинских наших дней», предупреждавшем «о двух продажных фельетонистах, совершивших поклеп со взломом на интеллигенцию». «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» (как и «Мастер и Маргарита») трактуются в книге как первоклассная «литература, которая, как ей и положено, гуляет в стороне от своих невеселых подруг — религии и мистики».³⁴

Ценный труд посвятил романам Ильфа и Петрова Ю. Щеглов. Еще в статьях, написанных в Советском Союзе, Ю. Щеглов и А. Жолковский исследовали поэтику «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка»;³⁵ впоследствии они вновь обратились к этой теме.³⁶ Ю. Щеглов опубликовал в 1991 г. развернутый комментарий к обоим романам.³⁷ Отмечая, что отрицательное отношение к этим романам в большой степени было порождено «советским оппозиционным истеблишментом, значительная часть которого относилась к Ильфу и Петрову с хорошо разыгранным пренебрежением», Ю. Щеглов отверг легенду о писателях, будто бы выполнявших «социальный заказ», «состоявший в том, чтобы травить интеллигенцию, „претендовавшую на собственное мнение“». По его убеждению,

³³ Еще в 1975 г. была опубликована немецкая монография об Ильфе и Петрове: Zehrer U.-M. «Dvenadcaf stul'ev» und «Zolotoj telenok» von I.Ilf und E.Petrov. Entstehung, Struktur, Thematik (Banstick zur Geschichte der Literature bei den Slawen. Bd 3). GieBen, 1975.

³⁴ Каганская М., Бар-Селла З. Мастер Гамбс и Маргарита. Тель-Авив, 1984. С. 5, 173.

³⁵ Жолковский А., Щеглов Ю. 1) Структурная поэтика — порождающая поэтика // Вопр. лит. 1967. № 1. С. 82—89; 2) К описанию смысла связного текста (на примере художественных текстов) // Проблемная группа по экспериментальной и прикладной лингвистике. Предварительные публикации. М., 1971. Вып. 22. С. 45—49; Щеглов Ю. Семиотический анализ одного типа юмора // Семиотика и информатика. М., 1975. Вып. 6. С. 185—198.

³⁶ Жолковский А. К., Щеглов Ю. К. Мир автора и структура текста: Статьи о русской литературе. Нью-Джерси: Эрмитаж, 1986. С. 85—117; Щеглов Ю. К. О мифологизме романов Ильфа и Петрова // Wiener Slawistischer Almanach. 1985. Bd 15; Жолковский А. К. Искусство приспособления // Грани. 1985. № 138. С. 88-91.

³⁷ См. комментарий Ю.К.Щеглова в издании: Ильф И. А., Петров Е. П. Двенадцать стульев: Роман. М., 1995, а также его статью «О романах И. Ильфа и Е. Петрова "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок"» (Там же. — Примеч. ред.).

«инсинуации о высмеивании и травле Ильфом и Петровым мыслящих профессионалов, преследовавшихся в эти годы властью... образом Лоханкина ни в малейшей мере не подтверждаются».³⁸ В противовес тем, кто рассматривал Остапа Бендера прежде всего как жулика и уголовника, Ю.Щеглов признал важнейшей особенностью героя романа (соглашаясь в этом с автором настоящей книги) его «принципиальную невовлеченность» «в дела и страсти "отдельных лиц и целых коллективов", свободу от идеологий...». В подтверждение этой мысли Ю.Щеглов сослался на пронизательное замечание В. Набокова, считавшего — в отличие от Белинкова и Н. Мандельштам, — что Ильф и Петров создали «образцы абсолютно прекрасной литературы под знаком полной независимости», благодаря тому, что героем своим избрали «персонаж, стоящий вне советского общества», а такой персонаж «плутовского (picaresque) плана» «не может быть обвинен в том, что он недостаточно хороший коммунист или даже просто некоммунист».³⁹ Мнение Набокова заслуживает особого внимания потому, что его уж никак нельзя было причислить к тем «читателям шестидесятых годов», которые не создавали, по словам Н. Мандельштам, «куда направлена» сатира Ильфа и Петро-

ва «и над кем они издеваются». Набоков был не советским «дикарем», а интеллигентом старой формации. Это не мешало ему, как и Осипу Мандельштаму, видеть в сочинениях обоих авторов не «донос на мыслящую интеллигенцию», а «абсолютно прекрасную литературу».

Заслуживает также внимания недавняя полемика критиков Л. Сараскиной и Б. Сарнова об Ильфе и Петрове.

Толчком к полемике было наблюдение Сарнова, что подпись отца Федора в письме к супруге в «Двенадцати стульях» — «твой вечно муж Федя» — совпадает с подписью Достоевского в письме к жене Анне Григорьевне: «твой вечно Достоевский» (сходны и некоторые сюжеты писем). Сарнов справедливо заметил, что подобное пародирование не является для сатириков экстраординарным поступком, что к такому же пародированию чужих текстов, часто весьма почтенных, прибегал и сам Достоевский.⁴⁰ Но Сараскиной это наблюдение (да еще употребление в фельетонах подписи «Ф. Толстоевский») показалось достаточным для резкого осуждения обоих писателей. Она

³⁸ Щеглов Ю.К. Романы И. Ильфа и Е. Петрова: Спутник читателя. Wien, /99/. Т. 1-2. С. 8, 37, 526, 528.

³⁹ Nabokov V. Strong opinions. New York, 1981. P. 87.

⁴⁰ Сарнов Б. Тень, ставшая предметом // Советская литературная пародия.

обвинила этих «новых растиньяков» в том, что они, «в точном соответствии с программными документами большевистской партии», ударили «по вершинным точкам» Достоевского, борьба с которым была «не только идеологической, но и политической задачей эпохи и должна была охватывать самые широкие сферы общественной и культурной жизни». Осуществлением важнейшей идеологической задачи, поставленной перед «наемной литературой», были «Двенадцать стульев», в которых Сараскина усмотрела пародию на «Бесов» Достоевского.⁴¹

Л. Сараскиной ответил Б. Сарнов. Он показал, что параллели между персонажами «Двенадцати стульев» и «Бесов» абсолютно надуманы, что, вопреки утверждениям Сараскиной, нет ни малейшего сходства между Остапом Бендером и Петром Верховенским, Ипполитом Матвеевичем и Ставрогиным: «Следуя этой логике, с неменьшим основанием можно было бы предположить, что Ипполит Матвеевич Воробьянинов — пародия на Онегина, или на Печорина, или — еще того лучше — на старого князя Болконского...»⁴² Что касается псевдонима «Толстоевский», то в нем «имя Толстого слышится гораздо отчетливее, чем имя Достоевского», однако в стремлении ударить по его «вершинным точкам» Сараскина Ильфа и Петрова почему-то не обвиняла.

В статье Сарнова содержится еще ряд убедительных соображений о романах Ильфа и Петрова, на которых здесь нет необходимости останавливаться, тем более что они во многом совпадают с нашими наблюдениями.⁴³ К сожалению, однако, статья Сарнова, как и книга Щеглова, едва ли изменит установившееся отношение к Ильфу и Петрову.

Создатели «великого комбинатора» по-прежнему не занимают сколько-нибудь видного места в литературно-критических трудах; их сочинения не включают в новые курсы истории литературы. Никогда не входившие в прежнюю «обойму», Ильф и Петров не попадают и в новую.

Возникает парадоксальная ситуация. Ильфа и Петрова читатели знают и помнят, их чуть ли ни ежедневно цитируют в печати,

⁴¹ См.: Сараскина Л. Ф. Толстоевский против Ф. Достоевского // Октябрь. 1992. № 3. С. 188-197.

⁴² Сарнов Б. Что же спрятано в «Двенадцати стульях»? // Октябрь. 1992. № 6. С. 165-182.

⁴³ Б. Сарнов, очевидно, не был знаком ни с первым изданием настоящей книги, вышедшим в Париже в 1983 г., ни с нашими двумя статьями на ту же тему, напечатанными в журнале «Звезда» (1990. № 4; 1991. № 9): в своей статье он на них не ссылается.

по радио и телевидению. Они не просто классики; они — читаемые классики. Книги их, выходявшие в предыдущие десятилетия ежегодно, ныне не только не исчезли с прилавков, но остаются «бестселлерами», самыми популярными изданиями: за периоде 1970 по 1996 г. включительно «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» издавались (вместе и отдельно) во всех городах России и бывшего Советского Союза 111 раз.⁴⁴ Но в академическом литературоведении они не существуют или существуют где-то на периферии.

В чем тут дело? Видимо, не только в том, что Ильф и Петров принадлежали к мало уважаемой категории «юмористов» (Зощенко этот порок простили). Оценка роли Ильфа и Петрова в русской литературе в значительной степени связана с оценкой всей той эпохи, к которой они принадлежали. С середины 1960-х гг. к советскому читателю начала приходить потаенная русская

литература, которую от него скрывали полвека. Были напечатаны «Мастер и Маргарита» и другие вещи Булгакова, сочинения Андрея Платонова, до русских читателей дошла литература, изданная за рубежом: Бунин, Замятин, Набоков. Сходные сдвиги произошли и в восприятии стихов. Главными фигурами русской послереволюционной поэзии стали считаться Пастернак, Мандельштам, Цветаева и Ахматова, а Маяковский, у памятника которому в 1960-х гг. собиралась независимая молодежь, стал казаться сомнительной фигурой.

⁴⁴ Сыктывкар, 1970; М., 1971; Кишинев, 1972; Сыктывкар, 1973; М., 1974; М., 1975 (2 изд.); Владивосток, 1975; Ижевск, 1976 и 1977; Кишинев, 1977; Якутск, 1979(2 изд.); Орджоникидзе, 1979; М., 1979, 1980; Волгоград, 1981; М., 1981; Минск, 1981; М., 1982 (5 изд.); Ашхабад, 1982; Ташкент, 1982(3 изд.); М., 1983и 1984;Фрунзе, 1984; Ташкент, 1984;Ал-ма-Ата, 1984 (2 изд.); Ростов-на-Дону, 1986 (2 изд.); М., 1986 (2 изд.); Свердловск, 1986; Душанбе, 1986 и 1987; М., 1987; Хабаровск, 1987 и 1988; Томск, 1987; Алма-Ата, 1987; М., 1987 (3 изд.); Чебоксары, 1988; Улан-Удэ, 1988; Саратов, 1988; Каунас, 1988; Архангельск, 1988; М., 1988 и 1989(2 изд.); Иркутск, 1989; Горький, 1989 и 1990; Казань, 1990; Одесса, 1990;М., 1990;Элиста, 1991; М., 1991 (3 изд.); Таллинн, 1991; Казань, 1992 (2 изд.); Новосибирск, 1992 (2 изд.); Челябинск, 1992 (2 изд.); Магадан, 1992; Краснодар, 1992(2 изд.); СПб., 1992; М., 1992 (4 изд.); Тольятти, 1993; Красноярск, 1993 (2 изд.); Калуга, 1993 (2 изд.); Барнаул, 1993; М., 1993 (2 изд.); Владивосток, 1993; Николаев, 1994; М., 1994 (4 изд.); М., 1995 (4 изд.); Тула, 1995. Кроме того, в 1994 г. их произведения были включены в состав 4-томного собрания сочинений (Петрозаводск) и в первый том нового 5-томного собрания сочинений (М., 1994 —). Из всех перечисленных изданий лишь 2— М., 1987 («Двенадцать стульев») и М., 1995 («Золотой теленок») осуществлено на основе нового обращения к прижизненным публикациям; комментарии написаны Ю.К.Щегловым. {Примеч. ред.}

Конечно, подозрительность, с которой критики и публицисты (а возможно, и некоторые из читателей) относятся к писателям, легально издававшимся в советские годы, объясняется не только модными настроениями, но и вполне законными соображениями. Могли ли быть настоящими писателями люди, подчинявшиеся цензуре и самоцензуре? Именно этот вопрос ставил Аркадий Белинков в книге об Олеше и решал его, как мы знаем, отрицательно: весь творческий путь писателя представлялся ему путем «сдачи и гибели». Однако люди, считающие такой итог творческой деятельности советского писателя единственно возможным, забывают, что проблема «писатель и цензура» возникла в русской литературе задолго до 1917 г. Без цензуры русская литература существовала недолго — в основном после 1905 г. Это обстоятельство не помешало русской литературе XIX в. стать великой литературой.

Советские писатели жили и работали под особо жестким контролем — таким, какого не знали их предшественники в XIX в. Но все ли писатели пошли по пути «сдачи и гибели», или творчество некоторых из них оказалось сильнее «социального заказа»?

Мы попытаемся ответить на этот вопрос, обратившись к сочинениям Ильфа и Петрова.

ГЛАВА I НАКАНУНЕ

Предреволюционные годы занимают довольно скромное место в сочинениях Ильфа и Петрова. В основном все, что они писали, было связано с современной им жизнью. Старый режим — это почти древность, воспоминания старика Фунта из «Золотого тельца»:

...не узнаю нашего Черноморска. Где это все? Где частный капитал? Где первое общество взаимного кредита? Где, спрашиваю я, второе общество взаимного кредита? Где товарищества на вере? Где акционерные компании со смешанным капиталом? Где это все? (Т. 2. С. 178).

Это также надписи на золотых портсигарах, добытых Остапом перед отправлением за границу: «Тайному советнику М. И. Святотацкому по окончании сенаторской ревизии от членов Черноморского градоначальства», «Г-ну приставу Алексеевского участка от благодарных евреев купеческого звания» (Там же. С. 381). И все же тема дореволюционной России — и дореволюционной Одессы — подспудно присутствует в их книгах, и не только в следах старого адвокатского красноречия у Бендера. Воспоминания о предреволюционных годах отразились и в романах писателей, и в автобиографических записях Ильфа (Евгений Петров таких воспоминаний, видимо, почти не сохранил — он был в те годы еще совсем юн). Вот отрывок из главы «Прошлое регистратора загса», написанной для «Двенадцати стульев», но исключенной из окончательной редакции романа:

Был 1913 год.

Французский авиатор Бранденжон де Мулинэ совершил свой знаменитый перелет из Парижа в Варшаву на приз Помери. Дамы в корзинных шляпах, с кружевными белыми зонтиками и гимназисты старших классов встретили победителя воздуха восторженными криками. Победитель, несмотря на перенесенное испытание, чувствовал себя довольно бодро и охотно пил русскую водку.

Жизнь была ключом.

На Александровском вокзале в Москве толпа курсисток, носильщиков и членов общества «Свободной эстетики» встречала вернувшегося из Полинезии К.Д.Бальмонта. Толстощекая барышня первая кинула в трубадура с козлиной бородкой мокрую розу...

Два молодых человека — двадцатилетний барон Гейсмар и сын видного чиновника министерства иностранных дел Долматов познакомились в иллюзионе с женой прапорщика запаса Марианной Тиме и убили ее, чтобы ограбить...

Из Спасских ворот Кремля выходил на Красную площадь крестный ход, и протодиакон Розов, десятипудовый верзила, читал устрашающим голосом высочайший манифест.

В Старгородской газете «Ведомости градоначальства» появился ликующий стишок, принадлежащий перу местного цензора Плаксина:

*Скажи, дорогая мамаша,
Какой нынче праздник у нас,—
В блестящем мундире папаша,
Не ходит брат Митенька в класс?*

Брат Митенька не ходил в класс по случаю трехсотлетия дома Романовых (Т. 1. С. 546-547).

В «Золотом тельце» (в рассказе о юности подпольного миллионера Корейко) приводится сцена, взятая из чуть более поздних, военных лет:

От военной службы его избавил дядя, делопроизводитель воинского начальника, и поэтому он без страха слушал крики полусумасшедшего газетчика:

— Последние телеграммы! Наши наступают! Слава богу! Много убитых и раненых! Слава богу! (Т. 2. С. 55).

Воспоминания Ильфа о тех же годах в последней записной книжке столь же мало идиличны:

Девочки в гимназии на вопрос: «Чем занимается ваш папа?», всегда отвечали: «Онанизмом». Было модно отвечать именно так...

Великобританский подданный Николай Гарвей и графиня Менгден обвинялись в краже книг из издательства Девриен и продаже их букинистам...

Фурорная певица г-жа Милликети, по паспорту шлиссельбургская мещанка Ефросинья Кузнецова, обвинялась в исполнении нецензурной шансонетки «Шар»...

*Решение это состоялось по делу французской певицы Блани-Гандон, которая позволила себе пение непристойных куплетов, сопровождавшихся соответствующими телодвижениями...*¹

Это не разоблачение «нравов царского режима» — рядом в записной книжке помещены не менее острые сцены, относящиеся к современным 1930-м гг. Это просто то, что запомнилось Ильфу из быта предреволюционных лет. Теснейшая связь между живыми воспоминаниями и главой «Прошлое регистратора загса» подтверждается одним фактом. В главе из «Двенадцати стульев» упоминается старгородский цензор Плаксин и его верноподданнические вирши. Цензор этот — совершенно реальная фигура, но жил он не в Старгороде, а в родном городе Ильфа — Одессе, а приведенные в книге стихи были написаны не к трехсотлетию Романовых, а «в память Высочайших... проездов через Одессу» Николая II. После строк о мамаше и папаше следовало еще:

*Взгляни ты — как много народа
Из церкви сегодня идет!..
А солнышко с ясного свода
Златые лучи так и льет!..
И солнышко, дитяtko, знает,
Что праздник великий настал,
Что нынче к нам ТОТ прибывает,
КОГО САМ ГОСПОДЬ нам избрал!..²*

Но не один цензор Плаксин писал в эти годы в Одессе верноподданнические стихотворения. Вот еще стихи, напечатанные как раз в 1913 г.:

ПРИВЕТ СОЮЗУ РУССКОГО НАРОДА В ДЕНЬ СЕМИЛЕТИЯ ЕГО

*Привет тебе, привет,
Привет, Союз родимый.
Ты твердою рукой
Поток неудержимый,
Поток народных смут
Сдержал. И тяжкий путь
Готовила судьба
Сынам твоим бесстрашным,
Но твердо ты стоял
Пред натиском ужасным,
Храня в душе священный идеал...
Взошла для нас заря.
Колени преклоняя
И в любящей душе
Молитву сотворяя:
Храни, Господь, Россию и царя.*

В. Катаев³

Да, да, Валентин Катаев, брат Евгения Петрова, юный гимназист, впоследствии описавший — но несколько по-иному — те же самые смуты в повести «Белеет парус одинокий» и в других сочинениях. В «Одесском вестнике», официальном «Органе Одесского губернского отдела Союза русского народа», где печатались эти стихи, он опубликовал за какие-нибудь два года более двадцати пяти стихотворений, и не только лирических, но и эпических, высокопатриотических.⁴

Впрочем, можно полагать, что юношеская приверженность В. Катаева к Союзу русского народа не была особенно глубокой, как и его последующие политические настроения. Прошло

несколько лет, разразилась революция, и Катаев— вместе с Багрицким и Олешей — стал сугубо революционным поэтом; началась гражданская

¹ Приведенные фрагменты из последней записной книжки И.Ильфа не включены ни в одно из изданий (в том числе в Собр. соч., т. 5): по-видимому, они показались слишком фривольными. Цитируются по авторской машинописи из архива А.И.Ильфа и копии в РГАЛИ (Ф. 1821, оп. 1, № 132).

² В память высочайших Его Императорского величества Государя Императора Николая II проездов через Одессу. Изд. Одесской городской управы (отдельная листовка с портретом царя, без даты). С. Плаксин — весьма плодовитый автор; в Одессе издавались его стихи (1887, 1896, 1903, 1913), фарсы, комедии. О нем см.: *Борт В.* Цензоры-восьмидесятники // Вестн. литературы. 1919. № 5. С. 15. Стихи Плаксона произвели на Ильфа и Петрова столь сильное впечатление, что они приводят их в рассказе «Детей надо любить», где Плаксин правильно упоминается как одесский цензор (Т. 3. С. 129). Любопытно, что стихотворение воспроизведено в обоих случаях по памяти неточно; в четвертой строке у Плаксона читаем: «Не едет брат/Мишенька в класс?». В отличие от юных Файнзильберга и Катаева плаксинский Мишенька в класс не ходил, а ездил.

³ Одесский вестн. 1913. 27 янв. Любопытно, что стихотворение это было опубликовано Катаевым в 1913 г. уже вторично. Точно такие же стихи напечатаны им в «Одесском вестнике» за 4 февраля 1912 г.— только вместо семилетнего юбилея отмечался шестилетний.

⁴ Например: «И племя Иуды не дремлет, шатает основы твои, народному стону не внемлет и чтит лишь законы свои. Так что ж! Неужели же силы, чтоб снять этот тягостный гнет, чтоб сгинули все юдофилы, Россия в себе не найдет?..» (Одесский вестн. 1911. 19 нояб. О том, что литературная деятельность В.Катаева началась с «Одесского вестника», сообщается в его биографиях, — см.: *Сидельникова Т.* Валентин Катаев: Очерк жизни и творчества. М., 1957. С. 8—9; ср.: Кратк. лит. энциклоп. (далее — КЛЭ). Т. 3. Стб.436).

война, Одессу заняли белые — позиция Катаева соответственно изменилась; окончательно победили красные — и Катаев осознал себя «сыном Революции», почти большевиком, и сохранил эту позицию до старости (официально в партию он вступил, однако, гораздо позже—в 1958 г.).

Но тогда, после 1905 г., отречение от «смут» и патриотический монархизм были так же модны, как запомнившиеся Ильфу остроты гимназисток, отвечавших, что их папа «занимается онанизмом». В рассказе «Пробуждение», изданном Валентином Катаевым в 1912 г., описывалась «смутная пора 1905 г.», когда герой рассказа по фамилии Расколин, «увлеченный какими-то фантастическими идеями, под влиянием дурной среды», пошел «с револьвером в руках» на баррикады. Но вот окончилась его ссылка, он встретил девушку Таню и «забыл навеки бурную, полную волнений и тревог жизнь».⁵

Преданность монархии и царствующему дому выражала в 1913 г. и другая сверстница Ильфа — гимназистка Зинаида Шишова, ставшая через четыре года участницей сугубо революционного поэтического кружка Багрицкого и Катаева:

*Боже, дай, чтоб долго, долго
Род великий процветал,
Чтоб, как прежде, пред грозою
Головы он не склонял...*⁶

Илью Ильфа эта мода, очевидно, не захватила, и он вспоминал патриотические вирши тех лет с отвращением. Но таковы были настроения тех лет, если не преобладающие, то, во всяком случае, достаточно распространенные среди интеллигентской молодежи.

⁵ *Катаев В.* Пробуждение: Рассказ. Одесса, 1912. С. 1, 12. Другой рассказ юного В.Катаева, напечатанный отдельной брошюрой, — «Темная личность». «Несмотря на незначительность сюжета, в рассказе была дана живая картина нравов буржуазной прессы», — пишет биограф писателя, утверждая, что «осуждение пошлого обывателя-репортера Сашки и его влиятельного патрона Аркадия Аверченко определило весь тон реалистического повествования» (*Сидельникова Т.* Валентин Катаев. С. 9). В «реалистическом повествовании» описаны беспробудно пьяный А. Куприн и Аркадий Аверченко, пресмыкающийся перед своим хозяином, Моисеем Геноховичем Корнфельдом, который выражается так: «Господин Аверченко, зачем я буду снимать своего пальта, если я забежал к вам для одной минутки?.. Это стихотворение таки себе эпиграмма вовсе, но аванса я вам дать не могу, накажи меня Бог!» Аверченко становится перед Корнфельдом на колени, тот дает ему 25 рублей, и Аверченко целует издателю руку (*Катаев В.* Темная личность. Одесса, 1912. С. 10-13).

⁶ Рус. речь. 1913. 24 февр.

О потере каких-либо общественных идеалов, расцвете эротики и откровенной порнографии, убийствах и самоубийствах писали и Лев Толстой, и Куприн, и Андреев, и Горький, и Чуковский, и Саша Черный. Восторги выражали цензор Плаксин и провинциальные гимназисты — серьезная литература воспринимала эти годы как безвременье.

Но один мотив особенно настойчиво звучал в литературе после 1905 г. Это — тема интеллигенции и ее исторической судьбы. Была ли интеллигенция, сыгравшая столь важную роль в неудавшейся революции, жертвой или виновницей происшедшего?

Вопрос об интеллигенции и народе, об ответственности русской интеллигенции за несчастья России был особенно остро поставлен в сборнике «Вехи», вышедшем в 1909 г. Тематика этого сборника была весьма разнообразной — здесь ставились и религиозно-философские проблемы, и вопросы общественного правосознания, и многие другие. Нас интересует в данном случае одна тема «Вех» — тема интеллигенции, государства и неудавшейся революции 1905 г. «...Революция не дала того, чего от нее ожидали», — писали авторы сборника, упоминая всеобщую «апатию» и «духовный разброд», «военно-полевые суды и бесконечные смертные казни». ⁷ «...Революция есть духовное детище интеллигенции, а, следовательно, ее история есть исторический суд над этой интеллигенцией», — заявлял С.Н.Булгаков, упрекая интеллигенцию во «всенародности». «Отрицая государство, борясь с ним, интеллигенция отвергает его мистику...» — писал П. Б. Струве. — В безрелигиозном отщепенстве от государства русской интеллигенции — ключ к пониманию пережитой и переживаемой нами революции». ⁸ Интеллигенция, по словам Бердяева, виновата в неудаче русской революции из-за своего «народопоклонства» и «человекопоклонства» — «атеистичность ее сознания есть вина ее воли, она сама избрала путь человекопоклонства и этим искажила свою душу...». Та же мысль в многократно цитировавшемся заявлении М. О. Гершензона: «Могла ли эта кучка искалеченных душ остаться близкой народу?.. Сонмище больных, изолированное в родной стране, — вот что такое русская интеллигенция... Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, — бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной». ⁹

⁷ Вехи: Сб. статей о русской интеллигенции. 4-е изд. М., 1909. С. 23 (С. Булгаков), 171 (П.Б.Струве).

⁸ Там же. С. 25, 160, 164.

⁹ Там же. С. 22, 85, 87, 89.

Появление «Вех» вызвало горячие споры в печати. Авторы 41 упрекали, в частности, в том, что учиненному ими суду над интеллигенцией была присуща «неряшливость предварительного следствия». «Не определив с точностью, кто участвовал в преступном сообществе, именуемом "русская интеллигенция", уже начали процесс». ¹⁰

Авторы пытались расклассифицировать русских писателей на интеллигентов и неинтеллигентов: «...Герцен иногда носит как бы мундир русского интеллигента», но «вечно борется в себе с интеллигентским ликом»; «Михайловский, напр<имер>, был типичный интеллигент, конечно, гораздо более тонкого индивидуального чекана, чем Чернышевский... Очень мало индивидуально похожий на Герцена Салтыков... носит на себе, и весьма покорно, мундир интеллигента. Достоевский и Толстой каждый по-разному срывают с себя и далеко отбрасывают этот мундир» и т. д. ¹¹

Решительно отверг идеи «Вех» Д.Мережковский. Если «веховцы» обличали интеллигенцию, то Мережковский, напротив, горячо защищал ее. Еще до появления «Вех» он протестовал против «дикой травли русской интеллигенции»: «Кажется, нет в мире положения более безвыходного, чем то, в котором очутилась русская интеллигенция, — положения между двумя гнетами: гнетом сверху, самодержавного строя, и гнетом снизу, темной народной стихии...» ¹² Возражая авторам «Вех», обвинявшим интеллигенцию в «безрелигиозности», он доказывал, что по существу «революционное сознание» интеллигенции не «атеистично», а глубоко мистично, «эсхатологично», — «это бессознательное эсхатологическое самочувствие и делает интеллигенцию народной, во всяком случае, более народной, чем "народники" Вех...». «Освобождение, если еще не есть, то будет религией...» — заканчивал Мережковский. — Жив Господь наш, живы души наши, — да здравствует русская интеллигенция, да здравствует русское освобождение...» ¹³

Легко заметить, что, несмотря на остроту этой дискуссии, между обеими сторонами было немало общего. И для авторов «Вех», и для Мережковского главным было «религиозное сознание»: «безрелигиозность» интеллигенции считалась пороком, от которого ей необходимо избавиться. Признавал Мережковский и то, что П. Струве называл

¹⁰ Игнатов Н. Интеллигенция на скамье подсудимых// В защиту интеллигенции. М., 1909. С. 81. Ср.: Пешехонов А. На очередные темы. Новый поход против интеллигенции//Рус. богатство. 1909. № 4. С. 112—123.

¹¹ Вехи. С. 163-164 (П. Б. Струве).

¹² Мережковский Д. С. I. Грядущий хам. П. Чехов и Горький. СПб., 1906. С. 25.

¹³ Мережковский Д. Семь смиренных // Речь. 1909. 26 апр.

«мистикой государства». Вовсе не отвергая «русского империализма», Мережковский настаивал только на том, что «будущий русский империализм на современной русской конституции — мыльный пузырь на соломинке». А в лекции, прочитанной уже во время войны, он заявлял: «Сейчас, на полях сражений, русская интеллигенция умирает заодно с народом, потому что любит с ним одно... Да здравствует великая русская армия, да здравствует великая русская интеллигенция!»¹⁴

Но главное, что сближало участников спора, было их глубокое убеждение в огромной, поистине титанической роли русской интеллигенции. Авторы «Вех» могли сколько угодно обличать интеллигенцию, но она оставалась для них «пупом земли» и демиургом истории. Именно «кастовая интеллигентская самоуверенность» сборника вызвала резко отрицательное отношение к нему Льва Толстого.¹⁵ Приписывая интеллигенции столь огромное могущество, авторы «Вех» ставили характер русской революции в прямую зависимость от дурного или хорошего поведения русской интеллигенции. При этом ни «Вехи», ни Мережковский не заботились об определении того термина, который играл главную роль в их дискуссии. Их не смущало то обстоятельство, что интеллигенты могут обладать самой различной идеологией, что интеллигентами были люди, стоявшие по своим взглядам и «правее» и «левее» их. Иногда, правда, они вспоминали собственную принадлежность к интеллигенции, но мысль об этом как-то отходила в сторону, и спор продолжал идти об «интеллигенции» вообще (плохой или хорошей) и о противостоящем ей «народу».

А между тем в русской литературе начала XX в. существовал и иной взгляд на русскую интеллигенцию. И авторы «Вех», и Мережковский не раз ссылались на Чехова, но ни та ни другая сторона не имела оснований зачислять писателя в свои союзники. Именно то, что сближало Мережковского с «Вехами», — его религиозность, — отделяло его от Чехова, и сам Чехов высказался об этом вполне определенно. Когда С. П. Дягилев предложил Чехову совместно с Мережковским войти в редакцию журнала «Мир искусств», писатель ответил: «...как бы это я ужился под одной крышей с Д. С. Мережковским, который верует определенно, верует учительски, в то время как я давно растерял свою веру и только с недоумением поглядываю на всякого интеллигентного верующего».¹⁶ Чехов действительно в одном из писем (1899 г.) горько упрекал «нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую», но упрекал ее совсем

¹⁴ Мережковский Д. Завет Белинского: Публичная лекция. [Пг., 1915]. С. 42-43.¹⁵ См.: Толстой Л. Н. Поли. собр. соч.: В 90 т. М., 1936. Т. 38. С. 285-286.¹⁶ Чехов А. П. Собр. соч.: В 12 т. М., 1964. Т. 12. С. 495.

не за «безрелигиозность», «народопоклонство» или непонимание «мистики государства». Напротив, он ставил ей в вину прислужничество государству, склонность к карьеризму, стяжательству и то, что «ее притеснители выходят из ее же недр»: «Пока это еще студенты и курсистки — это честный, хороший народ, это надежда наша, это будущее России, но стоит только студентам и курсисткам выйти самостоятельно на дорогу, стать взрослыми, как и надежда наша, и будущее России обращается в дым, и остаются на фильтре одни доктора-дачевладельцы, несытые чиновники, ворующие инженеры. Вспомните, что Катков, Победоносцев, Вышнеградский — это питомцы университетов, это наши профессора, отнюдь не бурбоны, а профессора, светила...» Чехов был не склонен видеть в интеллигенции нечто единое: «Я верую в отдельных людей, я вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных по всей России там и сям — интеллигенты они или мужики, — в них сила, хотя их и мало».¹⁷ Интеллигенция для Чехова — не носительница какой-то определенной идеи и не «преступное сообщество». Интеллигенция — просто часть общества, получившая образование, и если у нее есть общие обязанности, то это обязанности профессиональные — учить школьников, лечить больных, двигать науку. Главным же предметом презрения и сарказма писателя были те, кто этого делать не умел и не собирался, — в сущности, не интеллигенты, а самозванцы от интеллигенции. Если авторы «Вех» говорили об интеллигентах, отказавшихся от «интеллигентского лика» и срывавших «интеллигентский мундир» (включая в эту категорию и самого Чехова), то Чехов выводил на сцену прямо противоположную категорию лиц — тех, кто напяливал мундир интеллигента без всякого на то права. Таков, например, Рашевич, «жаба» из рассказа «В усадьбе», именующий себя «старым студентом, идеалистом» и негодующий, что «цивилизация висит уже на волоске», хотя «вот уже двадцать лет прошло, как не прочел он ни одной книжки».¹⁸ Но рядом с такими лжеинтеллигентами или интеллигентами, не ставшими «надеждой и будущим России» (Лаевский, Серебряков, Ионыч, Беликов), для Чехова всегда существовали другие люди: честно, хотя

и с трудом делающие свое «интеллигентское» дело — Осип Дымов, профессор из «Скучной истории», Астров.

Наиболее последовательным продолжателем чеховской традиции по отношению к интеллигенции был старший земляк Ильфа и Петрова Саша Черный. На первый взгляд и он мог бы казаться обличителем интеллигенции, но это не так. Предмет сатиры Саши Черного — это именно люди, носящие «мундир» интеллигента без всякого

¹⁷ Там же. С. 273-274.

¹⁸ Чехов А. П. Поли. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 18 т. М., 1977. Т. 8. С. 338, 340-341.

на то права, бездельники, ничего не читающие или читающие без всякого смысла:

*Истомила Идея бесплодием интрижек,
По углам паутина ленивой тоски,
На полу вороха неразрезанных книжек
И разбитых скрижалей куски.*

Но рядом с ними другие, явно симпатичные автору персонажи — студентки-медики и замученный лаборант, «Мадонна шестого семестра» Женского медицинского института.

В публицистике эта точка зрения была высказана определеннее всего А. Пешехоновым. Для Пешехонова, как и для Чехова, нет интеллигенции вообще, а есть люди, чье образование налагает на них определенные обязанности. До 1905 г. между интеллигенцией и народом стояла стена, установленная государством, и стена недоверия. «Под напором революционного возбуждения обе стены рухнули... Прежде, однако, чем произошло органическое слияние интеллигенции и народа, стена опять встала между ними — стена полицейских стеснений... Имеются люди, которые пытаются восстановить и другую стену — стену непонимания и недоверия, — восстановить ее, если не в жизни, то в воображении...»

А между тем реальный, а не абстрактный народ хочет от интеллигенции прежде всего одного — знаний, книг. «Если интеллигенции не с чем сейчас идти к народу, то пусть она на его нуждах и потребностях сосредоточит хотя бы свое внимание: мысль не замедлит вскрыть, что от нее народу нужно. Да и сейчас много найдется, с чем можно и нужно идти к народу... Если камень свалился, будем опять, хотя и медленно, поднимать его в гору...»¹⁹

Представляют ли эти споры какой-нибудь интерес сейчас, в конце XX в.? Современникам и читателям Ильфа и Петрова, несомненно, показалось бы, что речь идет о проблемах далекого прошлого. Но прошли еще десятилетия, началась переоценка полувекового опыта, и старый сборник вновь привлек к себе внимание, обрета неожиданную популярность. Интеллигенты 1960-1970-х и особенно 1990-х гг. XX в. увидели в двенадцатилетии между двумя русскими революциями не тяжелую эпоху безвременья, а, напротив, светлые годы России — чуть ли не время «парламентаризма», а в «Вехах» усмотрели предостережение против грядущей революции.

Справедливо ли это? В «Вехах» действительно осуждалась революция, но не будущая, а прошедшая — революция 1905 г.

¹⁹ Пешехонов А. На очередные темы. Времяпрепровождение // Рус богатство. 1909. № 5. С. 131.

Авторы «Вех» были убеждены, что революция безнадежно провалилась, а самодержавие победило надолго, может быть навсегда, и исходили именно из такого признания: «Россия пережила революцию. Эта революция не дала того, чего от нее ожидали...»²⁰ Старая гегелевская формула о разумности действительного, о неизбежности совершившегося не раз оказывала влияние на русских интеллигентов. Пафос «Вех» не в предостережении против будущей революции, а в призывах к отказу от политической борьбы — во всяком случае, в тех ее формах, какие проявились в 1905 г. И единственный конкретный совет на будущее, который мы находим в «Вехах», — последовать примеру «национальной революции», совершившейся в 1908 г. в Турции. Заявляя в заключение своей статьи, что «самый тяжелый удар русской интеллигенции нанесло не поражение освободительного движения, а победа младотурок», Изгоев писал: «...история младотурок была и вечно будет ярким примером той нравственной мощи, которую придает революции одушевляющая ее национальная идея».²¹ Для того чтобы проверить прозорливость Изгоева, не понадобилось вечности: «нравственная

мощь» младотурок обнаружилась уже спустя несколько лет, когда носители «национально-государственной идеи» осуществили первый в истории XX в. геноцид, уничтожив более миллиона армян.

Но в феврале 1917 г. русская революция, которой не ждали ни «Вехи», ни вообще большинство интеллигентов, политиков и прочих граждан, совершилась. Как же отнеслись к ней те, кого часто считают провидцами будущих бед России? Не только с одобрением, но и с восторгом. «Русская революция — самая национальная, самая патриотическая, самая всенародная из всех революций, наименее классовая по своему характеру... И эта особенная связь революции с войной не может быть разорвана, она должна продолжаться. Патриотическое негодование способствовало свержению старой власти, подозрение в измене и предательстве нравственно dokonало старую власть; неспособность ее стать на высоте задач обороны страны сделали объективно невозможным ее дальнейшее существование. Этот патриотически-оборонческий мотив русской революции обязывает ее продолжать войну,²² писал Н.А.Бердяев.

Этой же теме была посвящена и его специальная брошюра «Интернационализм, национализм и империализм». «Только сознательный

²⁰ Вехи. С. 23.

²¹ Там же. С. 124.

²² Бердяев И. Психология переживаемого момента // Рус. свобода (Еженедельник). 1917. № 2. С. 6—7. Ср.: Струве П.Б. Наша задача//Там же. С. 1—5.

и прогрессивный русский империализм может охранить мир и все народы мира от опасности воинствующего, насильнического, одержимого волей к господству германского империализма», — писал Бердяев. Недопустима бессмысленная фраза «без аннексий и контрибуций», недопустимы и лозунги национального самоопределения народов России: «...национальное самоопределение Украины есть просто наша болезнь и наше несчастье... Использовать трудные для России дни хотят и финляндцы, хотят все. Кавказ желает отделиться... Притязания великих национальностей, создавших великие государства и культуры, на государственное и культурное преобладание должны быть признаны, как выражение реальной творческой мощи, как источник излучения света для национальностей малых и слабых. Реальный вес великоросса иной, чем белоруса, чем грузина или татарина...» Величие империализма и ложность идей национального самоопределения подтверждается и мировым опытом: «Колонии чувствуют неразрывную связь с Англией и любят ее... Империализм жертвенен и вдохновляется силой, славой и ценностью расового духа для мировой жизни, социализм же утилитарен и вдохновляется исключительно счастьем и благополучием людей».²³ К той же теме Бердяев возвращается еще не раз. «Мечтательный интернационализм, — писал он, — отесняет нас в Азию и уединяет нас. Он обрекает нас на одинокий позор. Да не будет этого, да восстанет против этого русский народ, который спасал Россию в смутную эпоху и в отечественную войну!»²⁴

Он не восстал или восстал совсем не так, как рекомендовал Бердяев, вызвав этим глубокое разочарование философа — теперь уже не только в интеллигенции, но и в народе.²⁵ Власть взяли как раз те люди, которые выступали как крайние интернационалисты. Но излишним «народопоклонством» эти люди не страдали. Не прошло и трех месяцев, как новая власть, объявившая себя первоначально «временным рабоче-крестьянским правительством», образованным до созыва Учредительного собрания, разогнала это собрание — первый в истории России парламент, избранный всеобщим, равным и тайным голосованием при многопартийной системе. А спустя три года люди, казавшиеся Бердяеву «мечтательными интернационалистами», сумели восстановить почти всю государственную

²³ Бердяев И. Интернационализм, национализм и империализм. М., 1917. С. 10-29.

²⁴ Бердяев И. Положение России в мире // Рус. свобода. 1917. № 5. С. 11.

²⁵ См.: Из глубины: Сб. статей о русской революции. [Paris]: YMCA-Press, 1967. С. 185, 251, 314.

территорию бывшей империи. «Финляндцев», правда, вернуть еще не удалось, но и Кавказ, и Украина были воссоединены. В этой обстановке у интеллигентов-патриотов, первоначально осуждавших новую власть, стали возникать идеи, во многом близкие к идеям «Вех». Сборник, изданный в 1921 г. в Праге и переизданный в Советской России, так и назывался — «Смена Вех». Он начинался с благодарного воспоминания о предшественниках — создателях сборника «Вехи».

Вынесенный ими «приговор русской интеллигенции» признавался справедливым и переносился на тех интеллигентов, которые теперь, в 1921 г., не хотят признать советскую власть. Власть эта стабилизировалась, утверждали в 1921 г. авторы: «Отныне и надолго или навсегда покончено со всяким революционным экстремизмом, со всяким "большевизмом" в широком и узком смысле... Революция уже не та, хотя во главе ее — все те же знакомые лица, которых ВЦИК отнюдь не собирается отправлять на эшафот... Большевистский орден несравненно сплоченнее, дисциплинированнее, иерархичнее якобинцев...» Отдав, таким образом, дань историческому предвидению, не более удачному, как видим, чем предвидение Бердяева в 1917 г., составители «Смены Вех», подобно их предшественникам, призывали интеллигенцию признать историческую реальность. Вновь выдвигалась «крупная мысль Струве в "Вехах"» — «мысль о **мистике государства**»: «Будущая русская интеллигенция, вышедшая из горнила великой революции, наверное, будет такою, какою ее отчасти видели, отчасти хотели видеть авторы "Вех". Только все отрицательное в ней, что раньше проистекало из ее революционного назначения, впредь не будет давать себя знать, исчезнет, сгладится... Конкретно это выразится в том, что русская интеллигенция уловит начала **мистического** в государстве, проникнется "мистикой государства". Тогда из внегосударственной и антигосударственной она сделается государственной и чрез ее посредство государство — Русское Государство — наконец-то станет тем, чем оно должно быть: "путем Божиим на земле».²⁶

Итак, для того чтобы стать такой, какой «хотели ее видеть авторы "Вех"», чтобы утратить свою «вненародность» и проникнуться

²⁶ Смена Вех: Сб. статей... Прага, Июль 1921. (Переизд.: Тверь, 1922). С. 5—6, 15, 42—43 (Ю. Ключников), 61 (Н. Устрялов). В статье «"Вехи" и "Смена Вех"» веховец Изгоев признавал, что Устрялов и Ключников «исходят из круга идей, близких к взглядам авторов "Вех"», но выражал сомнения в согласии коммунистов подвести «национальный фундамент» под свое государство (см.: О Смене Вех. Пб., 1922. С. 21-24).

«мистикой государства», интеллигенция должна признать советскую власть. Призыв «Смены Вех» не остался без ответа. С Запада вернулись эмигранты А.Н.Толстой, И.С.Соколов-Микитов, Н.Я.Агнивцев, потом Андрей Белый. Споры на тему «интеллигенция и народ», «интеллигенция и революция» стали в начале 1920-х гг. не менее популярны, чем во времена «Вех».

Но споры эти велись в иных условиях, чем в 1909 г. Говоря об эпохе, наступившей после 1905 г., упоминают жестокую карательную политику властей, массовые смертные казни, духовный упадок. Все это было, но не следует забывать еще одну особенность той же эпохи: революция 1905 г. привела к отмене предварительной цензуры; репрессии за антиправительственные высказывания применялись, и довольно широко, но лишь после того, как эти высказывания были напечатаны. Такое положение существовало, во всяком случае, до 1915 г. (когда была введена предварительная военная цензура, частично перенявшая функции политической). Февральская революция принесла с собой полную свободу печати, но к лету 1918 г. новая власть постепенно отменила ее. Были запрещены все антибольшевистские издания, включая социалистические. После окончания гражданской войны был введен нэп, появились частные и кооперативные издательства, но теперь уже все печатное подвергалось предварительной цензуре, и весьма жесткой.

Это не означало еще полной унификации идеологии, но путь к такой унификации был уже намечен. В 1909 г. на тему об интеллигенции и ее отношении к государству имели возможность высказаться в печати все направления — от крайне правых до крайне левых. После 1921 г. на эти темы тоже спорили, но в основном устно и кулуарно; в печати могли появляться лишь такие отклики, которые исходили из той же посылки, что и «Смена Вех», — из посылки политической лояльности к власти. Интеллигенты еще могли различаться по взглядам, но интеллигенции все настойчивее предписывалась единая, твердо обозначенная линия.

Такова была обстановка, когда в 1923 г. в Москву, независимо друг от друга, приехали два молодых одессита — Ильф и Петров.

ГЛАВА II

«ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

В феврале 1917 г., когда в России произошла революция, Илье Ильфу было двадцать лет, Евгению Петрову — четырнадцать. Они принадлежали к разным общественным слоям, к разным национальностям. «А мы даже не родственники... И даже различных национальностей: в то время как один русский (загадочная славянская душа), другой — еврей (загадочная еврейская душа)», — писали они впоследствии в юмористической автобиографии.¹

В отличие от Мандельштама Ильи Файнзильберг не мог сказать о себе даже, что он связан с «миром державным» «только младенчески», — он никак не был связан с этим миром. «Закройте дверь. Я скажу вам всю правду. Я родился в бедной еврейской семье и учился на медные деньги»,² — писал он впоследствии.

Отец Ильи Ильфа был бухгалтером, отец Евгения Петрова-Катаева — гимназическим преподавателем. Впоследствии старший брат Евгения Валентин сделал все, чтобы «улучшить» свое происхождение: он приписал отцу вольнодумные взгляды и связанные с ними служебные неприятности, а себе самому — любовь к революции с детских лет. Литературные дебюты юного Валентина Катаева, о которых мы упоминали, заставляют усомниться в точности такой автобиографии. Но мы отмечали также, что и черносотенные настроения юного Валентина едва ли были особенно серьезными. Во всяком

¹ Ильф И., Петров Е. Соавторы // Кажется смешно: Сб. М., 1935. С. 40—41 (ср.: Т. 5. С. 504-505).

² Ильф И. Записные книжки. М., 1957. С. 193. В Собрании сочинений эта запись выпущена.

случае, стихи старшего брата никак не характеризуют настроений младшего,³ и можно думать, что отношение Евгения Катаева к Февралю было таким же, как и у большинства его сверстников, — восторженным.

Вероятно, наилучшее представление о том, как будущие Ильф и Петров восприняли революцию, дают стихи их земляка — Эдуарда Багрицкого:

*Студенческие голубые фуражки,
Солдатские шапки, треухи, кепи,
Пар, летящий из мерзлых глоток,
Махорка, гуляющая столбами...
Круговорот полушубков, чуек,
Шинелей, воняющих кислым хлебом,
И на кафедре — у большого графина,
Совсем неожиданного в этом дыме, —
Взволнованный человек в нагольном
Полушубке, в рваной косоворотке
Кричит сорвавшимся от напряженья
Голосом и свободным жестом
Открывает объятия...
Большие двери
Распахиваются. Из февральской ночи
Входят люди, гримасничая от света...⁴*

Но уже через год первые впечатления должны были смениться другими — менее радужными. В опущенной главе из «Двенадцати стульев» Ильф и Петров, говоря о будущем Ипполита Матвеевича Воробьянинова, описывали эти впечатления, совсем непостижимые для старгородского предводителя дворянства в 1913 г.: «...не воображал себе Ипполит Матвеевич (а если бы и вообразил, то все равно не понял бы) хлебных очередей, замерзшей постели, масляного "каганца", сыпнотифозного бреда и лозунга "Сделал свое дело и уходи" в канцелярии загса уездного города N» (Т. 1. С. 548). Конечно, сытый бездельник и бонвиван Воробьянинов описывался авторами без симпатии, и участь этого человека, бежавшего в 1918 г. в товарно-

³ Воспоминания о литературной деятельности молодого В. Катаева, отразившиеся в незаконченной книге Е.Петрова «Мой друг Ильф», вполне младенческие: «Мой брат Валя... Валя водит меня по редакциям. Я вспоминаю, что когда-то он тоже водил меня по редакциям. "Женька, идем в редакцию!". Я ревел...» (Петров Е. Мой друг Ильф // Журналист. 1967. №6. С. 61).

⁴ Багрицкий Э. Избранное. М., 1948. С. 182.

пассажирам поезде из родного Старгорода, не вызвала у них большого сочувствия. Но хлебные очереди, масляные «каганцы» и сыпнотифозный бред — все это в равной степени могло касаться и бывшего предводителя дворянства Воробьянинова, и статистика, журналиста, бухгалтера Ильи Файнзильберга, и агента уголовного розыска, каким, по воле судьбы, оказался после окончания гимназии Евгений Катаев.

В 1923 г., когда Ильф и Петров приехали в Москву, жизнь в стране обретала уже иные черты. «В 1923 году Москва была грязным, запущенным и беспорядочным городом... Москва отъедалась после голодных лет. Вместо старого, разрушенного быта создавался новый...» — писал Е.Петров в 1939 г. в воспоминаниях об Ильфе (Т. 5. С. 507—508). Жизненный уклад, описанный Ильфом и Петровым в «Двенадцати стульях», отличается от времени гражданской войны, но особенно привлекательным его не назовешь. В бывшем особняке Воробьянинова расположилась «государственная богадельня», дом собеса, где хозяйничает «голубой воришка» Альхен; ордерами на мебель Воробьянинова и других бывших людей Старгорода распоряжается другой вор — архивариус жилотдела Коробейников.

Первый роман Ильфа и Петрова был вместе с тем первым произведением молодых авторов, написанным совместно. До этого романа (сюжет которого был предложен им Валентином Катаевым) они писали раздельно и в разных жанрах: Ильф преимущественно очерки, Петров — юмористические рассказы.

Судьба «Двенадцати стульев» оказалась довольно своеобразной. Написанная в 1927 г. и вышедшая в свет в середине 1928 г. (параллельно с публикацией в журнале «30 дней»), книга была очень сочувственно встречена читателями и почти не замечена критикой. Первая рецензия в «вечерке». Потом рецензий вообще не было, — непоминал впоследствии Петров.⁵ Заметка в «Вечерней Москве» (21 /IX) была написана в том стиле, который писатели впоследствии определили как «удар палашом по вые». «Роман читается легко и весело», — писал рецензент «Вечерки» Л.К., но вместе с тем «утомляет». «Утомляет потому, что роман, подымая на смех несущицы современного быта и иронизируя над разнообразными представителями обывательщины, не восходит на высоты сатиры... Авторы прошли мимо действительной жизни — она в их наблюдениях не отразилась...»⁶ Затем, как рассказывал Е. Петров, критика замолчала,⁷ хотя книга была почти немедленно перепечатана эмигрантским издательством в Риге и уже начало готовиться французское издание. Но через год после выхода книги молчание внезапно было прервано. Летом 1929 г. критик А. Тарасенков в «Литературной газете» отозвался на «Двенадцать стульев» рецензией под вызывающим заголовком: «Книга, о которой не пишут». Рецензия была не столько положительной, сколько ободряющей. Критик писал, что авторы «преодолевают штамп жанра» «бульварно-приключенческого романа», и говорил о «насыщенном, остром, сатирическом содержании» романа. А вслед за этим, во второй половине 1929 г., появились отзывы во всех основных литературно-критических журналах.⁸ Отзывы кисловатые, но снисходительные. С одной стороны, «сатиры не получилось», с другой стороны — один «из первых шагов».

В чем дело? Впоследствии Ильф и Петров не раз писали фельетоны о критиках и об их отношении к новым книгам. Описывался и такой случай:

Но бывает и так, что критики ничего не пишут о книге молодого автора. Молчит Аллегро.

Молчит Столпнер-Столпник. Безмолвствует Гае. Цепной. В молчании поглядывают они друг на друга и не решаются начать. Крокодилы сомнения грызут критиков.

Кто его знает, хорошая эта книга или это плохая книга? Кто его знает! Похвалишь, а потом окажется, что плохая. Неприятностей не оберешься. Или обругаешь, а она вдруг окажется хорошей. Засмеют. Ужасное положение.

И только года через два критики узнают, что книга, о которой они не решались писать, вышла уже пятым изданием и рекомендована Главполитпросветом даже для сельских библиотек.

Ужас охватывает Столпника, Аллегро и Гае. Цепного. Скорей, скорей бумагу! Дайте, о, дайте чернила! Где оно, мое вечное перо?.. (Т. 2. С. 490).

Но что все-таки заставило критиков в 1929 г. схватиться за вечное перо и упомянуть книгу, «о которой не пишут»? Читательский успех,

⁷ Е.Петров не заметил или забыл еще один отзыв на первое издание книги, даже более разгромный, чем отзыв в «Вечерке». В библиографическом отделе журнала «Книга и профсоюзы» рецензент Г. Блок говорил, что книга эта — «легко читаемая игрушка, где зубоскальство перемешано с анекдотом... Социальная ценность романа незначительна, художественное качество невелико» (Книга и профсоюзы. 1928. № 9. С. 52).

⁸ См., например: Лит. газ. 1929. 17 июня; На лит. посту. 1929. № 18 (К. Гурьев); Октябрь. 1929. № 7 (анонимная); Молодая гвардия. 1929. № 18(И.Дукор).

подготовка второго издания? Едва ли это могло оказать существенное влияние — «нездоровый успех» чаще считался отрицательным фактом. Недостающее звено в этой истории указано в уже упомянутой статье Осипа Мандельштама. «Единственным отзывом на этот брызжащий весельем и молодостью памфлет были несколько слов, сказанных Бухариным на съезде профсоюзов. Бухарину книга Ильфа и Петрова для чего-то понадобилась, а рецензентам пока не нужна...»⁹ — писал Мандельштам.

Н. И. Бухарин процитировал роман Ильфа и Петрова не на съезде профсоюзов, как неточно указал поэт, а на совещании рабселькоров в начале декабря 1928 г. «Двенадцать стульев», упомянутые без имен авторов, понадобились Бухарину для выступления против «бессмысленного попугайства» за «разумное понимание вопросов текущей жизни».¹⁰ Он привел три эпизода из романа: деятельность халтурщика Ляписа, приспособляющего своего героя Гаврилу к любой производственной тематике («Гаврилиаду» Ляписа упомянул в одном из выступлений и Маяковский), лозунг «Пережевывая пищу, ты помогаешь обществу», адресованный беззубым старухам из Сокобеса, и плакат «Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих».

В конце 1928 г. в газетах уже начали появляться первые туманные упоминания о «правом уклоне», но наличие разногласий в высшем партийном руководстве отрицалось. Признанный теоретик партии, редактор «Правды» Бухарин был вплоть до конца 1929 г. членом Политбюро и фактическим главой Коминтерна. Хвалить книгу, удостоившуюся его внимания, было не обязательно (к концу 1929 г. — даже совсем не обязательно), но игнорировать ее — неудобно. Этим и была вызвана полна рецензий.

Сразу же после окончания «Двенадцати стульев» Ильф и Петров написали (по воспоминаниям Е. Петрова — в шесть дней) псевдофантастическую сатирическую повесть «Светлая личность», опубликованную как роман-фельетон в одиннадцати номерах «Огонька» и 1928 г. В конце 1928—начале 1929 г. в журнале «Чудак», выходившем, как и «Огонек», под редакцией М.Кольцова, стал печататься цикл рассказов «Необыкновенные истории из жизни города Колоко-ламска», а с середины 1929 г. — новый пародийный «роман-фельетон» — сатирический цикл «1001 день, или Новая Шехерезада». Писатели не относились к этим произведениям серьезно и, за исключением

⁹ Мандельштам О. Веер герцогини // Вечерний Киев. 1929. 25 янв.; Собр. соч. Т. 3. С. 56.

¹⁰ Правда. 1928. 2 лек.

¹¹ Выступление на собрании ФОСП 22 декабря 1928 г. // Маяковский В. Поли. собр. соч.: В 13 т. М., 1959. Т. 12. С. 367.

нескольких новелл из «Колоколамска» и «Новой Шехерезады», никогда их не переиздавали. Но тематически эти произведения были близки к «Двенадцати стульям», и их следует учитывать при характеристике первого романа Ильфа и Петрова.

Одной из основных тем всех этих произведений была тема обывательского быта. Мещанство, обывательство, отсталость, дикость — явления, существовавшие задолго до 1920-х гг., но гражданская война и разруха предельно обнажили этот человеческий пласт. Нормальные рыночные взаимоотношения деревни с городом были нарушены, горожане ездили за продовольствием в деревню, разоренные крестьяне переселялись в города. Всегда существовавшие в России смешанные полугородские, полудеревенские слои, минимально затронутые городской культурой, вышли на поверхность, заняли видное место в городской жизни и в административном аппарате. У Ильфа и Петрова обывательская среда фигурирует в «Двенадцати стульях» (Старгород, город N), становится центральной темой в «Светлой личности» и «Необыкновенных историях из жизни города Колоколамска»; в «Золотом теленке» эта среда будет сосредоточена в «Вороньей слободке» — большой коммунальной квартире, где живет Васисуалий Лоханкин и где поселяется Остап Бендер.

Не только образ Лоханкина, но и вообще изображение «Вороньей слободки» ставилось в упрек Ильфу и Петрову. «Над "Вороньей слободкой" смеяться грех...»—писала Н. Я- Мандельштам. Но если это грех, то повинны в нем были не одни Ильф и Петров, но и Зощенко, которого О.Мандельштам считал честнейшим русским писателем, и Булгаков, и многие другие.

Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла. И не то, что драка, а целый бой. На углу Глазовой и Боровой...

Главная причина — народ уж очень нервный. Расстраивается мелкими пустяками. Горячится. И через это дерется грубо, как в тумане... Вот в это время кто-то ударяет инвалида кастрюлькой по его лысине. Инвалид — брык на пол и лежит. Скучает.

*Тут кто-то за милицией кинулся...*¹²

Это — «Нервные люди» Зощенко. И на ту же тему— «На живца», «Баня», «Аристократка» и едва ли не все его ранние рассказы.

В десять часов вечера под Светлое Воскресение утих наш проклятый коридор... И в десять часов вечера в коридоре трижды пропел петух.

Петух— ничего особенного. Ведь жил же у Павловны полгода поросенок в комнате. Вообще, Москва не Берлин, это раз,

¹² Зощенко М. Рассказы и повести. Л., 1959. С. 14—16.

а во-вторых, человека, живущего полтора года в квартире № 50, не удивишь ничем. Не факт неожиданного появления петуха в квартире удивил меня, а то, что петух пел в десять часов вечера...

В коридоре под лампочкой, в тесном кольце изумленных жителей знаменитого коридора стоял неизвестный мне гражданин... Он драл пучками перья из хвоста петуха...

Я опомнился первый и вдохновенным вольтом выбил петуха из рук гражданина...

*Случай был экстраординарный, как хотите, и лишь потому он кончился для меня благополучно. Квартхоз не говорил мне, что я, если мне не нравится эта квартира, могу подыскать себе особняк. Павловна не говорила, что я жгу лампочку до пяти часов, занимаясь «неизвестно какими делами», и что я вообще совершенно напрасно затесался туда, где проживает она. Шурку она имеет право бить, потому что это ее Шурка. И пусть я себе заведу «своих Шурок» и ем их с кашей...*¹³

А это — «Самогонное озеро» Булгакова. На ту же тему — «Трактат о жилище», «Псалом», «Четыре портрета», «№ 13. Эльпит-Раб-коммуна». Коммунальная квартира служит фоном для пьесы «Иван Васильевич» и для «Театрального романа». Символ этого коммунального быта — Аннушка «Чума», появляющаяся уже в ранних рассказах («№ 13», «Самогонное озеро»), потом в «Театральном романе» и играющая существенную роль в сюжете «Мастера и Маргариты»; «где бы ни находилась или ни появлялась она— тотчас же в этом месте начинался скандал...».¹⁴

Тема дикости, «темного царства», «Персии» в Москве занимает важное место в ранних рассказах Ильфа, написанных отдельно от Петрова,— «Для моего сердца» и «Переулоч»:

Летним вечером в московском переулке тепло и темно, как между ладонями.

В раскрытом окне под светом абрикосового абажура дама раскладывает гадательные карты. На подоконник ложатся короли с дворничьими бородами, валеты с порочными лицами, розовые девятки и тузы.

— Для меня,— шепчет дама...

— Для моего сердца... (Т. 5. С. 116).

Будущее дамских переулков похоже на осеннее утро. Оно черное и серое (Там же. С. 120).

В «Двенадцати стульях» дама с гаданием фигурирует в главах, посвященных Старгороду, а тема московской коммунальной

¹³ Булгаков М. Собр. соч. Т. 2. С. 320-321.

¹⁴ Там же. Т. 5. С. 286.

квартиры — в главе о домашней жизни «золотоискателя» журналиста Ляписа (выпущенной из второго и последующих изданий романа):

Но тут в передней послышался стук копыт о гнилой паркет, тихое ржание и квартирная перебранка. Дверь в комнату золотоискателя отворилась, и гражданин Шарипов, сосед, ввел в комнату худую, тощую лошадь с длинным хвостом и седеющей мордой...

— Что вы делаете?— спросил управдом.— Где это видано? Как можно вводить лошадь в жилую квартиру?

Шарипов вдруг рассердился.

— Какое тебе дело! Купил лошадь. Где поставить? Во дворе украдут...¹⁵

¹⁵ Переизд. в кн.: Ильф И., Петров Е. Осторожно, овечью веками. Ташкент, 1963. С. 111-114.

В журнальных циклах 1928—1929 гг. обывательская среда разрастается до размера целых городов — Пищеслава, Колоколамска. В одном случае Колоколамск фигурирует даже как международная сила: жители его вступают в своеобразный поединок с иностранным государством — Клятвией. Клятвия маленькое государство, в котором легко «угадывается Латвия или другая прибалтийская республика, находившаяся до 1940 г. «под игом независимости». Тема, привычная для нашей литературы: советские граждане и капиталистическое государство, да еще «лимитрофф», «санитарный кордон», место убийства курьера Негте и антисоветского шпионажа. Тем неожиданнее оказывается решение этой темы у Ильфа и Петрова. Жители Колоколамска нашли себе «отхожий промысел» — они ездят в Москву, попадают под машину посольства Клятвии и получают по суду компенсацию: «Колоколамцы затаскали Клятвию по судам. Страна погибала». Сама республика Клятвия оказывается вовсе не мрачной буржуазной диктатурой, а миниатюрной парламентской демократией, респектабельной и щепетильно соблюдающей международное право.

Председатель Совета Министров господин Эдгар Пави-айнен беспрерывно подвергался нападкам оппозиционного лидера господина Сууп...

В палату был внесен запрос:

Известно ли господину председателю Совета Министров, что страна находится накануне краха?

На это господин председатель ответил:

— Нет, не известно.

*Однако, несмотря на этот успокоительный ответ, Клятвии пришлось сделать внешний заем. Но и заем был съеден колоколамцами в какие-нибудь два месяца.*¹⁶

В своем отношении к обывательской среде с ее дикарским бытом Ильф, Петров и Булгаков были вполне солидарны — они ненавидели ее всеми силами души и желали ей гибели. Никакой привлекательности, никаких «народных корней» в гадалках, в появлении петуха или лошади в московской квартире, во всеобщем питии они не усматривали. Патриархальная, азиатская, деревенская природа взбаламученного быта 1920-х гг. была одинаково чужда всем трем писателям.

Обстоятельство это, по-видимому, можно не доказывать, поскольку речь идет об Ильфе и Петрове; однако Булгакову в последние десятилетия стали приписывать противоположные настроения. Представители того направления в советской публицистике, которое может быть названо воинственно-«почвенническим», решили зачислить Булгакова в свои ряды. Они утверждают, что нашли главного героя «Мастера и Маргариты». Герой этот, вопреки заглавию, вовсе не Мастер. «Не стоит думать, что писатель полностью на его стороне»: Мастер — пессимист, носит шапочку со знаком, напоминающим масонский, а что такое масоны, наши критики знают досконально. Кроме того, Мастер слишком занят проблемами искусства, а главное ведь — «не величественное рассуждение о судьбах искусства, но что-то очень жизненно необходимое, еще нерешенное, как раздвигающаяся полоса одной идеи, в центре которой Россия». Не мог Булгаков считать главным героем и Иешуа Га-Ноцри: Иешуа, наверное, все-таки не его герой». Главный герой Булгакова — поэт Иван Бездомный. Он — «Иванушка», он — исконный, неученый, деревенский, отрекающийся в конце концов от «надетой» на него «бездомности» и возвращающийся на родную почву.¹⁷

Трудно придумать что-либо более чуждое подлинному Булгакову. «...Изображение страшных черт моего народа, тех черт, которые надолго до революции вызывали глубочайшие страдания моего учителя Салтыкова-Щедрина», — эту задачу Булгаков объявлял (в известном «Письме советскому

правительству») одной из главных в своем творчестве.¹⁸ Справедлива ли такая формула или нет (и существуют ли в

¹⁶ Ильф И., Петров Е. Как создавался Робинзон. 3-е изд. доп. М., 1935. С. 179.

¹⁷ См.: Палиевский П. Последняя книга М. Булгакова // Наш современник. 1969. № 3. С. 116—119 (перепеч. в кн.: Палиевский П. Пути реализма: Литература и теория. М., 1974. С. 188-197).

¹⁸ Булгаков М. Собр. соч. Т. 5. С. 446.

действительности у того или иного народа какие-либо общие черты такого масштаба) — вопрос другой, но ясно, что подобная национальная самохарактеристика едва ли обрадует современных «почвенников». Если бы писатель ценил в Иванушке его почвенность и «сермяжность», он сделал бы его в финале романа из мнимого народного поэта подлинным — подобным Есенину или П. Васильеву. Вместо этого Бездомный признает своим Учителем именно Мастера, под его влиянием отрывается от какой бы то ни было поэзии и становится стопроцентным интеллигентом — профессором-историком.

Булгаков не любил «деревенской» поэзии, как не любил он и певцов российской провинции — «Тетюшанской гомозы» (так именуется в «Театральном романе» книга беллетриста Егора Агапенова). Пародийные строки «сермяжного» барда Пончика-Непобеды в булгаковской пьесе «Адам и Ева»: «"Эх, Ваня! Ваня!" — зазвенело на меже...» — очень напоминают аналогичную пародию Ильфа и Петрова: «Инда взопрели озимые...». «Булгаков — писатель городской, нету него своей селычины, земли, к которой он прирос корнями», — заметил В. Лакшин,¹⁹ и это положение может быть подтверждено всем творчеством автора «Мастера и Маргариты». На деревню, в которой происходит действие «Записок юного врача», Булгаков смотрит такими же глазами, как Чехов в «Мужиках» и «В овраге». Это «тьма египетская», с которой призван бороться автор: «И сладкий сон после трудной ночи охватил меня. Потянулась пеленой тьма египетская... и в ней будто бы я... не то с мечом, не то со стетоскопом. Иду... борюсь... В глуши. Но не один. А идет моя мать: Демьян Лукич, Анна Николаевна, Пелагея Иванна. Все в белых халатах, и всё вперед, вперед...»²⁰

Нет сомнения в том, что и Зощенко, и Булгаков, и Ильф и Петров смеялись над «Вороньей слободкой» и не любили ее. Но трактовка этой темы у Зощенко была все же иной, чем у Булгакова, Ильфа и Петрова. Зощенко пытался взглянуть на коммунальный быт изнутри: отсюда его сказовая манера, гораздо более органичная для него, чем для трех остальных писателей. Из-за этой авторской «маски» многие поверхностные критики склонны были отождествлять Зощенко с его героями. Одобрив Ильфа и Петрова за то, что «они противостоят юмористике, типичным представителем которой является Зощенко», один из первых рецензентов «Двенадцати стульев» писал: «Смех Зощенко — это смех бытового оппортунизма, смех ради смеха и именно поэтому глуповатый, недействительный».²¹ К числу «поверхностных, но забавных» юмористов относил

¹⁹ Лакшин В. Уроки Булгакова // Памир. 1972. № 4. С. 58.

²⁰ Булгаков М. Собр. соч. Т. 1. С. 121.

²¹ Налит, посту. 1929. № 18. С. 69-70.

Зощенко и Луначарский,²² а своеобразный итог этой критике подвел Жданов, объявивший по указанию Сталина в 1946 г. писателя «пошляком» и «подонком литературы». Конечно, обывательский быт, который описывал Зощенко, не был для него предметом забавы — он ненавидел этот быт, но вместе с тем и боялся его: писатель глубоко пессимистичный, он ощущал «Воронью слободку» как силу, поглощающую все вокруг себя. В повести «Мишель Синягин», написанной несколько лет спустя, Зощенко даже будущих читателей повести, «лет этак, скажем, через сто или так немного меньше», представлял себе такими же жильцами коммунальной квартиры, как и своих современников.²³

Ильф и Петров, подобно Булгакову, смотрели на Колоколамск и «Воронью слободку» со стороны; враг этот не казался им непобедимым. Что же противопоставляли писатели Колоколамску и «египетской тьме»? В значительной степени их ответ был одинаковым. Урбанизм, уважение к культуре, к науке и к технике, облегчающей человеческую жизнь, — вот что роднит всех трех писателей. В булгаковском рассказе «Сорок сороков» герой смотрит на городе вершины самого высокого дома тогдашней Москвы. Впервые после «голых времен» весной 1922 г. слышится какой-то звук; в июле «бульварные кольца» начинают светиться, «и радиусы огней» уходят к «краям Москвы»,

а в 1923 г. «Москва заливается огнями... все сильнее... Москва спит теперь, и ночью не гася всех огненных глаз».²⁴

Та же тема и те же настроения в раннем очерке Ильфа «Москва от зари до зари». Он начинается и кончается ночной Москвой.

Темная календарная ночь стоит над столицей, набережные оцеплены двумя рядами газовых фонарных огоньков, но люди уже работают, не обращая внимания на календарь... На Берсеневской набережной, у Большого Каменного моста, сияют высоко подвешенные электрические лампы...— здесь строится дом-великан.

Потом рассвет, время собирателей окурков, которых спугивают дворники, время молочниц, время, когда просыпаются окраины, время рабочих, домохозяек, школьников, служащих. Потом обратные валы, вечер, час лекций, театров, диспутов — и снова ночь:

У тесового забора Ермаковского ночлежного дома выстроились в очереди оставшиеся без ночлега приезжие и завсегдатаи этого места... Но маневрирующие паровозы свистят по-прежнему, в газетных цинкографиях вспышками возникает

²² См.: Луначарский А. Ильф и Петров //30 дней. 1931. № 8. С. 62-63.

²³ Зоценко М. Рассказы и повести. С. 471—473.

²⁴ Булгаков М. Собр. соч. Т. 2. С. 280-283.

фиолетовый свет... И даже когда по календарю глухая ночь, когда закрылись театры, и клубы, и рестораны, когда пустеют улицы и мосты сонно висят над рекой,— даже и тогда светятся кремлевские здания и шумно дышит МОГЭС (Т. 5. С. 54, 62-63).

«...Мой любимый бог — бог Ремонт, вселившийся в Москву в 1922 году, в переднике, вымазан известкой...» — писал Булгаков, и на вопрос «Что же делать?» отвечал: «Сделать можно только одно: применить мой проект», и этот проект заключается в следующем: «Москву надо отстраивать».²⁵ Мы уже видели, с каким воодушевлением описывал молодой Ильф строительство дома у Большого Каменного моста — будущего «Дома на набережной». В «Двенадцати стульях» та же тема возникает и в главах о провинциальном Старгороде, где инженер Треухов еще в 1912 г. предложил проект трамвайной линии: «...но городская управа проект отвергла. Через два года Треухов возобновил штурм городской управы, но помешала война. После войны помешала революция». И вот, наконец, 1 мая 1928 г. трамвай, по выражению председателя горкомхоза, выходит «из депа», «благодаря всех рабочих» и «благодаря честного советского специалиста, главного инженера Треухова» (Т. 1. С. 130,ч 136). Трамвай в Старгороде, начинающееся и будущее строительство в Москве, воскресший после разрухи Зоологический институт — все это одинаково воодушевляло и Ильфа и Петрова, и Булгакова.

Мы уже упоминали две вполне совпадающие формулы у Булгакова и Ильфа: не надо, чтобы «баритоны» призывали «бить разруху», и не надо «бороться за чистоту», надо подметать, чистить сараи. «...Я далек от мысли, что Золотой век уже наступил... — писал Булгаков ("Столица в блокноте"). — Для меня означенный рай наступит в то самое мгновение, как в Москве исчезнут семечки. Весьма возможно, что я выродок, не понимающий великого значения этого чисто национального продукта... с момента изгнания семечек для меня непреложной станет вера в электрификацию, поезда (150 километров в час), всеобщую грамотность и прочее, что уже несомненно означает рай».²⁶

Борьба с разрухой, строительство, технический прогресс — все это не столько политическая, сколько экономическая, пожалуй, даже реформистская программа. А в 1923— 1929 гг., когда эти мысли высказывались, они вызывали одну, вполне определенную ассоциацию — со сменовеховством. Термин этот употребляется в литературе о 1920-х гг. чрезвычайно широко и неточно. Сменовеховство — течение, возникшее среди русской эмиграции, стоявшей во время гражданской войны на стороне белых и решившей после войны признать советскую власть как власть имперскую и национальную. Вдохновлялось сменовеховство такими фигурами, как генерал Брусилов, ставший на сторону красных еще во время советско-польской войны 1920 г. Эмигранты-сменовеховцы были связаны с берлинской газетой «Накануне»; в этой же газете (имевшей и московское отделение) печатались почти все ранние рассказы и статьи М. Булгакова, которые мы

упоминали; там же был напечатан и первый рассказ Е. Петрова «Уездное» («Гусь и украденные доски»). На писательской судьбе Е. Петрова (как и его брата В. Катаева, печатавшегося там же) это никак не сказалось; Булгакову же надолго был приклеен ярлык «сменовеховца». «Булгаков, Михаил Афанасьевич, беллетрист и драматург... Годы 1921 — 1923 жил за границей, где сотрудничал в берлинской сменовеховской газете "Накануне"...» — сообщалось в восьмом томе Большой Советской Энциклопедии.²⁷ Написано это было в 1927 г. в Москве во время оглушительного успеха «Дней Турбиных», и анонимный автор заметки мог бы без труда установить, что Михаил Булгаков живет и жил с 1921 г. в одном с ним городе, но стоило ли затрудняться?

А между тем Булгаков не только не считал себя сменовеховцем, но и явно отрицательно относился к этому направлению русской интеллигентской мысли. Во второй редакции «Дней Турбиных» (пьесе «Белая гвардия») один из наиболее отрицательных персонажей пьесы, Тальберг, возвращается в Киев, чтобы «переменить политические вехи» и «работать в контакте с советской властью».²⁸ Не менее характерно и отношение Булгакова к А. Н. Толстому — «сменившему вехи» и вернувшемуся в Россию. В «Театральном романе» Алексей Толстой был выведен под именем «знаменитого писателя Измаила Александровича Бондаревского», чествуемого по случаю «благополучного прибытия из-за границы». Вернувшийся Измаил Александрович из всех сил старается изобразить своих прежних собратьев-эмигрантов и заграничную жизнь как можно более омерзительными. Он описывает какого-то Кондюкова, «которого стошнило на автомобильной выставке, и тех двух, которые подрались на Шан-Зелизе... и скандалиста, показавшего кукиш в Гранд-Опера», и описания эти вызывают у героя романа, Максудова, ощущение «какого-то ужаса в отношении Парижа».²⁹

²⁵ Булгаков М. Собр. соч. Т. 2. С. 250, 441, 445.

²⁶ Там же. С. 263.

²⁷ БСЭ. М., 1927. Т. 8. Стб. 26-27.

²⁸ Булгаков М. Пьесы 20-х годов. Л., 1989. С. 356.

²⁹ Булгаков М. Собр. соч. Т. 4. С. 432, 433.

Принадлежал ли Булгаков к «внутренней эмиграции» или нет, но жил он в России, и для него, как и для других советских граждан, сотрудничество в берлинской газете имело совсем иной смысл, чем для эмигрантов. Для А. Н. Толстого печатание в «Накануне» открывало путь в Москву, для Булгакова это была возможность публиковаться за границей, т.е. не в таких узких рамках, какими уже тогда была ограничена советская печать. Отличие советских «нонконформистов» от заграничных сменовеховцев очень ясно выражено в статье писателя и этнографа Тана-Богораза в «России» — московском журнале (вскоре закрытом), где печаталась «Белая гвардия» Булгакова.

И нас называют российскими сменовеховцами, в том числе и меня. Но в том-то и дело, что мы российские, а не заграничные... — писал Тан. — Мы и заграничные меняли по-разному вехи... Оттого их сменовеховство — сладкое, как сахар. Наши — горькое, как полынь...

Советская ориентация! — Конечно, какая же иная?..

Но дальше начинается томный вздыхающий минор... Отречемся... не от старого мира, — отречемся от всех притязаний на власть. Что за чертовщина! Кто притязает на власть?..

Отречемся... отречемся от всяких притязаний на свободу! Временно, конечно, отречемся (все в нашей жизни временно)... Что ж, я готов и отречься, готов подчиниться всякому лишению свободы... Но не скрою, — особого энтузиазма во мне этот отказ не возбуждает. Покориться я готов, а проповедовать не буду...

*Власти советской служите. Мы ей тоже служим... Но одно дело служить, а другое прислуживаться...*³⁰

Биография М. Булгакова не походила на биографию Тана-Богораза, но отношение их к заграничным сменовеховцам было сходным. Призывы принять «советскую ориентацию» вообще не имели смысла для советских граждан. Проблема признания советской власти могла существовать для эмигрантов — признать советскую власть означало для них получить советский паспорт, вернуться в СССР. Но что значили эти слова для советских интеллигентов? На власть они не притязали, жили в Советской России, печатались — по мере возможности — в советских изданиях, и как они, собственно, могли признавать или не признавать существующий режим? Признавал или не признавал

Чехов режим Александра III? Он жил под ним. Ироническое отношение к «товарищам берлинцам» ощущается во всех очерках Булгакова в «Накануне».

³⁰ Тан. Сменовехи в Петрограде // Россия. 1922. № 1. С. 12-14.

«Не из прекрасного далека я изучал Москву 1921 — 1924 годов. О нет, я жил в ней, я истоптал ее вдоль и поперек...» — начинается один из этих очерков.³¹

Во многом сходной была и позиция Ильфа и Петрова. Они тоже изучали Москву «не из прекрасного далека», им также проблема «признания — непризнания» казалась абсурдной. О той категории писателей, к которой принадлежал А.Н.Толстой, — о преуспевающих авторах, «признавших советскую власть несколько позже Италии, но немного раньше Греции» (Т. 1. С. 509) и «несколько позже Англии и чуть раньше Греции» (Т. 2. С. 7), они упоминали с неизменной иронией.³² Не стоял перед ними, как и перед Булгаковым в 1920-х гг., и вопрос об интеллигенции в его веховской и сменовеховской трактовке. Подобно Чехову и Саше Черному, они писали не об интеллигенции вообще (рассуждения такого рода любили и некоторые из их собратьев по советской литературе 1920-х гг.),³³ а об отдельных и совершенно различных представителях интеллигентных профессий. В «Двенадцати стульях» действуют инженер Треухов — строитель старгородского трамвая, инженер Шукин — жертва своей расточительной жены и инженер Брунс — стяжатель и обжора, поэт-халтурщик Ляпис и репортер-работяга Персицкий. Столь же разнообразны интеллигенты и в булгаков-ских рассказах: здесь и гениальный профессор Персииков, и его бесцветный ассистент «изящный джентльмен» Иванов из «Роковых яиц», и персонажи из очерков, печатавшихся в «Накануне»: вороватый «спец», «бывший присяжный поверенный», украшающий свою обширную жилплощадь портретами вождей, и рядом с ними — молодой медик-грузчик. Именно последний персонаж дает автору повод для размышления об интеллигенции: «Вот писали все: гнилая интеллигенция, гнилая... После революции народилась новая, железная интеллигенция. Она и мебель может грузить, и дрова колоть, и рентгеном заниматься».³⁴

Во всем этом Ильф, Петров и Булгаков были солидарны. Однако в других вопросах между ними обнаруживались расхождения, и весьма существенные. Булгаков, Ильф и Петров вошли в

³¹ Булгаков М. Собр. соч. Т. 2. С. 435; ср.: С. 261 и 320.

³² О том, что «нас всегда возмущали и смешили писатели, выяснявшие свое отношение к советской власти», писал Е. Петров и. впоследствии в книге «Мой друг Ильф» (Журналист. 1967. № 6. С. 64), но давал к этим словам пояснения, характерные для его «послеильфовского» творчества (см. ниже, с. 335-336).

³³ Ср.: Огнев Н. Исход Никпетожа // Собр. соч. М., 1929. Т. 4.

³⁴ Булгаков М. Собр. соч. Т. 2. С. 253.

литературу почти одновременно — в 1920-х гг., но люди они были очень разные и по воспитанию, и по возрасту.

Самостоятельная жизнь Ильфа и Петрова началась в годы революции; Михаил Булгаков был в это время уже взрослым человеком с врачебным дипломом и практикой. В какой-то степени отношение к дореволюционному прошлому определяло различие в общественной позиции Булгакова и Ильфа с Петровым. Говоря о том, что обстоятельства детства и юности отделяли Булгакова «не только от революционно, но и от либерально-мыслящей интеллигенции», М. О. Чудакова придавала важное значение тому, что в «...его духовном багаже не было тех иллюзий, которые могли быть поколеблены текущими событиями».³⁵ Значит ли это, однако, что идеалом Булгакова было возвращение к прошлому, к «блестящему, пышному» 1913 г.? Первая статья Булгакова, напечатанная на деникинском Северном Кавказе и ставшая теперь известной, позволяет как будто дать положительный ответ на этот вопрос. Булгаков осуждал в ней не только «безумство дней октябрьских», но и «безумство мартовских дней» (Февральскую революцию) и мечтал только о том, чтобы герои-добровольцы вырвали «из рук Троцкого... русскую землю».³⁶ Но он писал эти слова в 1919 г., вскоре после революции и через шесть лет после «блестящего, пышного года». Сохранил ли писатель такое мироощущение впоследствии?

Тщетность надежд Булгакова обнаружилась почти сразу же после написания «Грядущих перспектив». «Героям-добровольцам» не удалось «завоевать собственные столицы». Победили красные, и осмысление их победы пришло к Булгакову уже в 1923-1924 гг., когда писалась «Белая гвардия». Поражение белых было порождено «мужичким гневом», лютой ненавистью к «офицерне» и к попытавшимся вернуться «помещикам с толстыми лицами».³⁷ О настроениях писателя в те же

годы свидетельствует и еще одно его сочинение, обретенное, как и «Грядущие перспективы», лишь недавно: Дневник 1923-1925 гг. С новым строем Булгаков отнюдь не примирился — об этом красноречиво свидетельствует уже авторское название дневника: «Под пятой». Но мысль о реставрации прошлого, о восстановлении монархии отвергалась им не менее решительно: «...по Москве ходит манифест Николая Николаевича. Черт бы взял всех Романовых! Их не хватало».³⁸

³⁵ Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова. М., 1988. С. 188.

³⁶ Булгаков М. Подпятой: Мой дневник. М., 1990. С. 45.

³⁷ Булгаков М. Собр. соч. Т. 1. С. 230, 238.

³⁸ Булгаковы. Подпятой. С. 22.

Эта запись 1924 г. с несомненностью свидетельствует о том, как изменился взгляд Булгакова на мир через пять лет после «Грядущих перспектив». В его отношении к Алексею Турбину, персонажу в значительной степени автобиографическому, явственно звучат теперь нотки самоиронии. Когда доктор Турбин в «Белой гвардии» говорит за столом друзьям: «...мы бы Троцкого в Москве прихлопнули как муху...» — он почти повторяет слова Булгакова из «Грядущих перспектив». Но тут же звучит авторский комментарий: «Турбин покрылся пятнами, и слова у него вылетали изо рта с тонкими брызгами слюны. Глаза горели», — и звучит реплика младшего брата: «Алексей на митинге незаменимый человек, оратор...»³⁹ Мы можем поверить поэтому искренности Булгакова, когда он еще через несколько лет заявлял в письме правительству, что в «Белой гвардии» и «Днях Турбиных» стремился «стать бесстрастно над красными и белыми» и что он не намеревался писать «пасквиль на революцию» хотя бы потому, что такой пасквиль «в силу чрезвычайной грандиозности ее, написать невозможно».

Разрухе, порожденной гражданской войной, Булгаков противопоставлял теперь одно — власть, способную навести порядок, восстановить хозяйство. «В порядке <...> дайте нам опоры точку, и мы сдвинем шар земной», — писал он в очерке «Столица в блокноте».⁴⁰ И та же мысль — в «Собачем сердце»: говоря о том, что нельзя бороться за чистоту криками «баритонов», Булгаков (вернее, один из его персонажей, выражающий, очевидно, взгляды автора) заявляет: «Городовой! Это, и только это. И совершенно не важно, будет ли он с бляхой или же в красном кэпи».⁴¹

«Западничество» Булгакова сближало его с младшими коллегами. Разделяло их другое. В письме советскому правительству Булгаков выражал «глубокий пессимизм в отношении революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране», и противопоставлял ему идеал «излюбленной и Великой Эволюции». Дневниковые записи Булгакова 1924 г. свидетельствуют о том, что в своем скептическом отношении к окружающей жизни он не так уже расходился с одесситами из «Гудка»: «Приехали из Самары Ильф и Юрий Олеша», — записал он. «В Самаре два трамвая. На одном надпись "Площадь Революции — тюрьма", на другом — "Площадь Советская — тюрьма". Что-то в этом роде. Словом, все дороги ведут в Рим!»⁴² Но все

³⁹ Булгаков М. Собр. соч. Т. 1. С. 209.

⁴⁰ Там же. Т. 2. С. 265.

⁴¹ Там же. С. 145.

⁴² Булгаков М. Подпятой. С. 24.

же Ильф и Петров в эти годы верили — или хотели верить — в перспективы «революционного процесса» и возможность глубокого преобразования общества.

Впоследствии А. Эрлих вспоминал о спорах в редакции, во время которых Ильф несколько иронически защищал Булгакова: «Ну, что вы все скопом напали на Мишу?.. Что вы хотите от него? — якобы сказал Ильф. — Миша только-только, скрепя сердце, примирился с освобождением крестьян от крепостной зависимости, а вы хотите, чтобы он сразу стал бойцом социалистической революции! Подождать надо!»⁴³ Для Ильфа и Петрова преодоление разрухи означало не только восстановление хозяйства, но и построение его на совершенно новых основах. О грядущем великом Преображении, о создании общества, где не будет приобретательства, своекорыстия, собственничества, мечтал Маяковский, о нем же думал и Олеша, когда писал в «Зависти» об обреченных на гибель чувствах, оставшихся от старого мира. Ильф и Петров были реалистичнее Олеси, и таких быстрых перемен в человеческой психологии в ближайшие годы они, пожалуй, не ждали. Но и они надеялись, что с уничтожением частной собственности уйдут в прошлое пороки и

преступления, совершаемые ради денег. Тем самым будут в какой-то степени разрешены трагические коллизии литературы XIX в. — коллизии Достоевского.

Отношение Ильфа и Петрова к специфически «Достоевским» сюжетам и образам было иным, чем отношение М. Булгакова. На первый взгляд, Булгаков, с его интересом к религиозным темам, было бы естественнее связывать с Достоевским, но Булгаков как раз считал своим учителем Салтыкова-Щедрина и Достоевского не любил. С явной иронией упоминает о «богоносцах достоевских» один из главных героев «Белой гвардии» и «Дней Турбиных» Мышлаевский: «мужички-богоносцы» убивали офицеров. Ночной кошмар Алексея Турбина связан с «первой попавшейся ему книгой», и этой книгой оказываются «Бесы» Достоевского.⁴⁴ Чем объясняется такое отталкивание? Ключ к нему, может быть, дают высказывания

⁴³ Эрлих А. Они работали в газете // Знамя. 1958. № 8. С. 173.

⁴⁴ Булгаков М. Собр. соч. Т. 1. С. 192 и 217. Слова «Русскому человеку честь — одно только лишнее бремя...», которые являются Алексею Турбину в ночном кошмаре, вызвали горячую и не совсем понятную реакцию П. Па-лиевского. Цитируя эту фразу из «Белой гвардии», Палиевский восклицает: «...хорош был этот упырь, и вопрос им поставлен достаточно зловещий, причем непонятно даже, как можно такое сказать. А ведь сказал, да так, словно что-то стукнуло и открылось: так можно было кому-то думать...» (Палиевский П. Последняя книга М. Булгакова. С. 116). «Так можно было кому-то думать» — кому же?.. «Так думал», как это ни странно, один из любимейших персонажей Булгакова — доктор Алексей Турбин, цитирующий в пьесе «Белая гвардия» эти слова крайне неприятного Достоевскому западника Кармазинова как «великое пророчество» (Булгаков М. Пьесы 20-х годов. С. 51—53).

Бунина (другого писателя, которого читают в доме Турбиных), относящиеся как раз к тем же революционным годам. «Ненавижу вашего Достоевского! — вспоминал слова Бунина Валентин Катаев. — ...Вот откуда пошло все то, что случилось с Россией: декадентство, модернизм, революция...»⁴⁵ В точности этих показаний можно было бы и усомниться, если бы не записи из дневников самого Бунина: «Перечитывал первый том "Братьев Карамазовых"... Очень ловкий, удивительно способный писака... — и то и дело до крайней глупости неправдоподобная чепуха. В общем, скука, не трогает ничуть».⁴⁶

Катастрофичность мира Достоевского раздражала Бунина. Возможно, что такие же ощущения она вызывала и у Булгакова.

Как же относились к Достоевскому Ильф и Петров? Недавно этот вопрос был поставлен Л. Сараскиной, обвинившей их в стремлении ударить по «вершинным точкам опального писателя». Оснований для обвинения два: псевдоним Ильфа и Петрова «Ф. Толстоевский», обидный для Достоевского (почему не для Толстого?), и подпись отца Федора в «Двенадцати стульях» на письме жене: «Твой вечно муж Федя», совпадающая с подписью Достоевского на одном из его многочисленных писем жене. Знали ли Ильф и Петров это письмо? Возможно. Использовали же они в одной из телеграмм, посланных Бендером Корейко, текст корреспонденции со станции Астапово: «Графиня изменившимся лицом бежит пруду». К своим великим предшественникам писатели относились, как и подобает веселым людям: с юмором.

Можно предполагать лишь, что авторов «Двенадцати стульев» катастрофичность Достоевского не смущала — речь шла об эпохе, ушедшей в прошлое. «Достоевские» персонажи с их страстями и слабостями вызывали у писателей насмешку и вместе с тем — жалость.

Таков, например, отец Федор — персонаж, которому особенно не посчастливилось у критиков Ильфа и Петрова. «В романе есть главы, рассчитанные на голый смех, главы, где преобладает **комизм положения**... — писал рецензент "Октября". — Эпизод с отцом

⁴⁵ Катаев В. Святой колодец. Трава забвения. М., 1969. С. 213—214.

⁴⁶ Из дневников И. Бунина // Новый журнал. / 974. Кн. 115. С. 154.

Федором, забравшимся на высокую скалу и не сумевшим оттуда слезть, — неявно ли пристегнут для большей потехи?»⁴⁷

Это — свидетельство предвзятости и неумения внимательно читать. Судьба отца Федора, прожектера, хватающегося то за одну, то за другую идею обогащения, священника, бросившего родной город для поисков фантастического сокровища мадам Петуховой, не только комична, но и трагична. При всей своей суетливости отец Федор, в сущности, наивен и добродушен, и жулик Коробейников, которого он принимает за «очень порядочного старичка», без труда обманывает его,

продав вместо ордеров на воробьяниновскую мебель ордера на мебель генеральши Поповой. Объездив всю страну и купив на последние деньги совершенно ненужные ему стулья, отец Федор на батумском берегу разрубает их на части и ничего не находит. «Положение его было самое ужасное. За пять тысяч километров от дома, с двадцатью рублями в кармане, доехать в родной город было положительно невозможно». Он идет пешком «мерным солдатским шагом, глядя вперед себя твердыми алмазными глазами и опираясь на высохшую клюку с загнутым концом». В Дарьяльском ущелье он встречает своих соперников, Воробьянинова и Бендера, и в страхе перед преследованием взбирается на совершенно отвесную скалу. То, что происходит затем, меньше всего может служить предметом «потехи»:

Отец Федор уже ничего не слышал. Он очутился на ровной площадке, забраться на которую не удавалось до сих пор ни одному человеку. Отцом Федором овладел тоскливый ужас. Он понял, что слезть вниз ему никак не удастся...

Спустилась быстрая ночь. В крошечной тьме и в адском гуле под самым облаком дрожал и плакал отец Федор. Ему уже не нужны были земные сокровища. Он хотел только одного: вниз, на землю...

На четвертый день его показывали уже снизу экскурсантам.

— Направо — замок Тамары, — говорили опытные проводники, — а налево живой человек стоит, а чем живет и как туда попал, тоже неизвестно...

Через десять дней из Владикавказа прибыла пожарная команда с надлежащим обозом и принадлежностями и сняла отца Федора...

Хохочущего священника на пожарной лестнице отвезли в психиатрическую лечебницу (Т. 1. С. 357—359).

Так же трагичен и конец Ипполита Матвеевича. Переход от скромного существования делопроизводителя загса к жизни искателя приключений обошелся ему дорого. Воробьянинову пришлось пережить чудесное спасение от кулаков васюкинских любителей шахмат, одуроченных Остапом, унижительную необходимость «протягивать руку», добывая деньги нищенством, и, наконец, крымское землетрясение, «после которого Ипполит Матвеевич несколько повредился и затаил к своему компаньону тайную ненависть»:

В последнее время Ипполит Матвеевич был одержим сильнейшими подозрениями. Он боялся, что Остап вскроет стул сам и, забрав сокровища, уйдет, бросив его на произвол судьбы. Высказывать свои подозрения он не смел, зная тяжелую руку Остапа и непреклонный его характер... Каждый день он опасался, что Остап больше не придет и он, бывший предводитель дворянства, умрет голодной смертью под мокрым московским забором...

Опасения эти не оправдываются — Бендер обнаруживает последний стул, в котором должно находиться сокровище, и остается только прийти ночью в железнодорожный клуб и вскрыть его. Но Ипполит Матвеевич уже не верит своему компаньону — тем более что развеселившийся Остап поддразнивает его, предлагая то десять, то три процента богатства, а то и просто взять Воробьянинова в секретари:

Ипполит Матвеевич вышел на улицу. Он был полон отчаяния и злобы... У него было только одно желание поскорее все кончить...

Воробьянинов перерезает бритвой горло своему компаньону и ночью один забирается в клуб и вскрывает стул. Но в стуле ничего нет.

— Этого не может быть! Этого не может быть!

Изредка он вскакивал и хватался за мокрую от утреннего тумана голову. Вспоминая все события ночи, он тряс седыми космами. Бриться бритвой оказалось слишком сильным средством: он одряхлел в пять минут...

Ипполит Матвеевич встречает сторожа клуба, и тот рассказывает ему историю последнего стула: в нем были найдены драгоценности, и на полученные деньги построено новое прекрасное зда-

ние. Любопытно, что ни один критик, кажется, не обратил внимания на неправдоподобие этого конца: по закону открытое сокровище становилось собственностью государства⁴⁸ (на некоторое вознаграждение мог

⁴⁷ См.: Октябрь. 1929. № 7. С. 215-216. Ср.: Лит. газ. 1929. 17 июня.

⁴⁸ В литературе указывалось, что развязка «Двенадцати стульев» могла быть основана на реальном факте: в Полтаве якобы был железнодорожный клуб, построенный на деньги, выигранные по облигации (ср. Яновская Л. М. Почему вы пишете смешно? М., 1969. С. 135). Но деньги, выигранные по облигации клуба, законно ему принадлежали — в отличие от клада, найденного в помещении клуба.

рассчитывать лишь сам сторож, нашедший клад), и к клубу оно прямого отношения не имело. Но именно эта условность позволила создать финал романа, в котором сцена отчаяния и безумия Воробьянинова переходила в гимн просыпающемуся и начинающему жить городу:

Сокровище осталось, оно было сохранено и даже увеличилось. Его можно было потрогать руками, но нельзя было унести. Оно перешло на службу другим людям.

Ипполит Матвеевич потрогал руками гранитную облицовку. Холод камня передался в самое его сердце.

И он закричал.

Крик его, бешеный, страстный и дикий,— крик простреленной навывлет волчицы,— вылетел на середину площади, метнулся под мост и, отталкиваемый отовсюду звуками просыпающегося большого города, стал гложуть и в минуту затих. Великолепное осеннее утро скатилось с мокрых крыш Москвы. Город двинулся в будничный свой поход (Т. 1. С. 373-382).

ГЛАВА III

ИНТЕЛЛИГЕНТЫ И «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»

В 1929—1930 гг. Ильф и Петров написали «Золотого теленка». Второй роман писался значительно дольше и труднее, чем первый. Начат «Золотой теленок» был летом 1929 г., потом работа над ним прерывалась; закончен он был осенью 1930 г. В течение 1931 г. «Золотой теленок» печатался в том же журнале «30 дней», где публиковались и «Двенадцать стульев». Однако переход от журнальной публикации к книжной оказался куда более трудным, чем в прошлый раз. «Двенадцать стульев», как мы знаем, вышли отдельным изданием сразу же после завершения их печатания в журнале — летом 1928 г. Издание книги готовилось параллельно с журнальным и на этот раз, но это было не русское, а американское издание, предисловие к которому, написанное А.В.Луначарским, было напечатано в «30 днях» еще в августе 1931 г. (до окончания публикации «Золотого теленка»). В том же 1931 г. первые четырнадцать глав «Золотого теленка» были перепечатаны в Париже в журнале «Сатирикон», на время возобновленном эмигрантами.¹ Роман был опубликован в Германии, Австрии, США, Англии. А советского издания ни в 1931, ни в 1932 г. не было, и американские издатели книги имели некоторое основание сделать на суперобложке извещение: «Книга, которая слишком смешна, чтобы быть опубликованной в России». Ильф и Петров выражали (в заметке, напечатанной в «Литературной газете» 17 сентября 1932 г.) недовольство такой «неджентльменской» рекламой,

¹ Сатирикон (Париж). 1931. № 5-14, 16-19. На окончании главы 14 публикация была оборвана без всякого объяснения; на № 28 закончилось и само издание журнала.

однако вполне вероятно, что именно она (наряду с другими причинами, о которых мы еще будем говорить) помогла издать книгу год спустя — в 1933 г.

Основной сюжет «Золотого теленка» был схож с сюжетом «Двенадцати стульев»: погоня за сокровищем, бессмысленная в советских условиях. На этот раз воскресший Остап добывал богатство, но деньги не приносили ему счастья. Завязка и развязка романа изменялись в ходе его написания: сначала речь шла о получении наследства американского солдата, принадлежащего его советской дочери; затем источником добываемого богатства стал подпольный советский миллионер Корейко. Менялся и финал: в первоначальной редакции Остап отказывался от бесполезных денег и женился на девушке Зосе Синицкой, оставленной им ради погони за сокровищем. Уже во время печатания в журнале Ильф и Петров придумали новый конец: Остап бежит через границу с сокровищами, но его грабят и прогоняют назад румынские пограничники.

Годы, когда писался «Золотой теленок», именуются в советской истории годами «великого перелома». Это время сплошной коллективизации, раскулачивания и индустриализации. В городах «великий перелом» выражался в периодических и массовых чистках советского аппарата, процессах вредителей (шахтинское дело 1928 г., процесс Промпартии 1930 г.).

«Усиление классовой борьбы», как его обычно именовали, характеризовалось некоторыми новыми чертами, не известными предшествующим годам. В начале 1920-х гг. еще существовали люди, боровшиеся с коммунистической властью, — такова была, например, позиция части подсудимых на процессе эсеров в 1922 г. В публицистике обсуждался вопрос о признании советской власти и о формах этого признания — «служить» или «прислуживать».

Теперь всего этого уже не было. Людей наказывали не за действия или выступления, а за принадлежность к определенным социальным группам, за скрытое недоброжелательство, обвиняли их в тайном (и, в сущности, совершенно бессмысленном в мирное время) «вредительстве». Граждане вновь и вновь доказывали — часто безуспешно — свою лояльность; люди, позволявшие себе хотя бы временные отступления от официальной идеологии, поспешно признавали собственные заблуждения и каялись в них.

«Годы великого перелома» были годами всеобщих покаяний и отмежеваний от прежних взглядов и от некогда близких людей. Признавались и каялись подсудимые на вредительских процессах — на их признаниях, в сущности, и основывались эти процессы; каялись многие бывшие

члены некоммунистических партий— эсеры, меньшевики, анархисты; каялось большинство партийных оппозиционеров.

В ходе чисток партийного и советского аппарата разоблачались не столько враждебные поступки изгоняемых лиц, сколько их тайные взгляды и утаенное от администрации социальное происхождение. В связи с этим возникли даже специальные формулы официального отречения от классово чуждых родичей.

Совершенно новый смысл обрела в 1929—1932 гг. и популярная в предшествующие годы проблема интеллигенции. В предреволюционные и в ранние послереволюционные годы интеллигенция чаще всего рассматривалась как субъект истории — она может «делать» или «не делать» революцию, признавать или не признавать ее. Теперь интеллигенты, как и прочие граждане, стали частью советского общества. Из мнимого субъекта истории интеллигенция стала ее объектом. Признание власти не только больше не было проблемой— часто оно не встречало доверия и вызывало сомнения. «Буржуазные интеллигенты», получившие образование до революции, или их потомки подозревались в скрытых идеологических пороках и тайном недоброжелательстве. Интеллигенты инженеры были главными героями вредительских процессов, против интеллигентов писателей и ученых организовывались все новые идеологические кампании. Старая веховская и сменовеховская тема обличения интеллигенции вновь появилась в литературе, но теперь она стала самовыражением настроений «кающихся интеллигентов», задним числом сознающих свою недостаточную преданность и неполное служение власти. После «Зависти», где ее герой Кавалеров находился как бы вне советского общества и, хотя и безуспешно, противостоял ему, Юрий Олеша написал в 1930—1931 гг. пьесу «Список благодеев». Ее героиня актриса Елена Гончарова благополучно выступает на советской сцене, потом едет в командировку за границу. Героиня пьесы понимает и признает благодеев советской власти, но наряду со списком благодеев она ведет тайный список ее преступлений. Из-за этого Гончарова попадает в Париже в руки эмигрантов-белогвардейцев (позже это стало называться иностранной разведкой) и, естественно, гибнет. О вредительстве писали Леонид Леонов, Лев Никулин, Илья Эренбург.

В 1929—1930 гг. Ильф и Петров были постоянными сотрудниками журналов «Чудак» и «Огонек» (под псевдонимами «Ф. Толстоевский», «Холодный философ» и другими), редактировавшихся Михаилом Кольцовым; позже они стали печататься в «Литературной газете». Журнал «Чудак» отличался от постоянного органа советской сатиры «Крокодила» более высоким литературным качеством, более смелой, чем обычно, критикой хозяйственных руководителей. Последнее обстоятельство, по-видимому, и погубило журнал; в начале 1930 г. «Чудак», просуществовавший немногим более года, был внезапно закрыт и слит с «Крокодилом».² Но на судьбе его редактора Кольцова это существенно не отразилось; видный журналист-коммунист, он продолжал редактировать популярный «Огонек» (репрессирован Кольцов был позже, в 1938 г.) и охотно печатал там Ильфа и Петрова. «Литературная газета» была органом ФОСПа (Федерации объединений советских писателей), но вплоть до весны 1932 г. в ней господствовала идеология РАППа (Российской Ассоциации пролетарских писателей).

Темы «Огонька», «Чудака» и «Литературной газеты» — обычные темы советской печати тех лет. «Огонек» был первым советским журналом, начавшим печатать многочисленные фотографии Сталина, победившего теперь и левую и правую оппозиции и ставшего бесспорным и единственным вождем. Отражались в «Огоньке» и «Чудаке» и «усиление классовой борьбы», коллективизация, индустриализация, процессы вредителей. Стихи о кулаке, стреляющем из обреза в коммуниста, и о помогающем кулаку попе публиковал поэт Зубило — он же писатель Юрий Олеша.³ Постоянной темой было разоблачение «буржуазной интеллигенции», формально признававшей советскую власть, но втайне исповедовавшей враждебные взгляды. В 1929 г. произошел известный «академический инцидент», когда в результате тайного голосования (практиковавшегося тогда, пожалуй, только в одном советском учреждении — Академии наук) были забаллотированы три из пяти официальных коммунистических кандидатов. В сатирическом «Семейном альбоме» «Чудака» академики, выступавшие против предложенной сверху перебаллотировки (Петрушевский, Владимирцев, Сакулин, Ляпунов, Левинсон-Лессинг, Карский, Лавров и Бородин; оставили в покое только И. П. Павлова), были изображены в царских мундирах с регалиями;⁴ травля продолжалась и после капитуляции Академии и избрания обиженных в академики.⁵ Ругали и Академию художественных наук — за интерес ее членов к древним церквям и памятникам старины в ущерб памятникам социалистического строительства (статья об известном искусствоведе А. Сидорове,⁶ а также фельетон Л.Славина⁷). В № 26—33 «Чудака» за 1929 г. печаталась «поэма» в прозе братьев Тур (тогда подписывавшихся «А. Тур») «Чудесия, или Мефистофель в столице», как

² См.: Очерки истории советской журналистики. М., 1968. Т. 2. С. 467.

³ Чудак. 1929. №4,

⁴ Там же. № 6.

⁵ Рыклин Г. Забытая усадьба // Там же. № 19. Ср.: Там же. № 9.

⁶ Блаженный Алексис — или Москва на вынос // Там же. № 14.

⁷ Там же. № 16.

бы предвосхитившая сюжет «Мастера и Маргариты»: появление Сатаны в советской стране (местом действия была прежняя столица — Ленинград). Однако по существу это сочинение не имело ничего общего ни с романом Булгакова, ни с литературой вообще. Это был, скорее, развернутый фельетон-донос на различных «бывших», укрывшихся в Ленинграде: на заведующего отделом Облсуда Грифцова, служившего при Керенском, члена-корреспондента В. Н. Бенешевича (Туры писали «Беньяшевич»), ездившего в Иерусалим к «гробу Господню» и в Рим к папе, академика Владимирцева, якобы принявшего буддизм, и т.д.

Разоблачались в «Чудаке» интеллигенты, верующие в Бога, например медичка Г. Зонова, высказавшая свои религиозные воззрения в письмах к подруге, непонятным образом попавших в руки редакции (фельетон А. Зорича⁸), инженер-баптист,⁹ поэты Клюев, Клычков и Орешин.¹⁰ В «Семейном альбоме»¹¹ были подвергнуты разоблачения также писатели Е. Замятин и Б. Пильняк, напечатавшие свои сочинения, не принятые советской печатью, за границей. Исключения Пильняка и Замятина из писательской федерации требовали М.Кольцов, В.Катаев, Э.Багрицкий, Е. Зозуля. В течение ряда лет «Литературная газета» травила наряду с Пильняком и Замятиным М.Булгакова, О.Мандельштама, детских писателей; здесь признавали свои ошибки В.Шкловский (формализм), К. Чуковский (писание непедагогических сказок) и многие другие. В конце 1930 г. писатели (Л.Леонов, В.Шкловский, Ю. Олеша и др.) требовали сурового осуждения вредителей.

Сопоставление рассказов и фельетонов Ильфа и Петрова, напечатанных в те же годы, с остальными материалами «Чудака», «Огонька» и «Литературной газеты» позволяет отметить весьма примечательный факт. Ильф и Петров не только не участвовали ни в одной из описанных кампаний тех лет, но достаточно определенно выразили свое отношение к популярному в тогдашней прессе «антиинтеллигентству». В повести «Летучий голландец», которую они писали как раз в 1929 г. (к содержанию этой повести мы еще обратимся), приводится хороший образчик этого стиля: «Очерк "Схватился за мотню профессор". Горластые вузовцы. В стиле русских баллад. Давили мы гадов в 19 году».¹²

⁸ Там же. № 7.

⁹ Там же. № 4.

¹⁰ Там же. № 14.

¹¹ Там же. № 35.

¹² Молодая гвардия. 1956. № 1. С. 227.

Ни разу не выступали они против конкретных интеллигентов, враждебных официальной идеологии и претендовавших на собственное мнение. Только один раз в их сочинениях упоминалась оппозиционная организация — «Союз меча и орала», но фигурирует она в «Двенадцати стульях», написанных не в 1929—1930 гг., а на несколько лет раньше, и имеет столь очевидно несерьезный характер (ее создал Остап с сугубо корыстными целями), что стала на многие годы нарицательным обозначением нелепой, мнимо заговорщической деятельности. Поэтому единственное изображение политической оппозиции у Ильфа и Петрова никак не устраивало официальных критиков. «Члены Союза меча и орала производят жалкое впечатление... Они добровольно являются с подушками и одеялами в соответствующие органы... События в деревне через год-полтора после появления романа... вредительские акты в промышленности показывают утопичность подобных взглядов», — писал в 1956 г. Л. Ершов.¹³ Но после «Двенадцати стульев» Ильф и Петров к подобным темам уже не возвращались. Напротив, в тех же номерах «Чудака» и «Огонька», где печатались статьи их собратьев против оппозиционной и вредительской интеллигенции, они писали о совсем иных явлениях — о конформизме советских граждан, в том числе и граждан-интеллигентов, об их трусости и готовности отречься от родных и близких. Весьма интересен в этом отношении рассказ И.Ильфа (написанный без соавтора) «Блудный сын возвращается домой», опубликованный в 1930 г.¹⁴ и до последнего времени не переиздававшийся:

Иногда мне снится, что я сын равинна.

Меня охватывает испуг. Что же мне теперь делать, сыну служителя одного из древнейших религиозных культов?

Как это случилось? Ведь мои предки не все были раввинами. Вот, например, прадед. Он был гробовщиком. Гробовщики считаются кустарями. Не кривя душой, можно поведать комиссии, что я правнук кустаря.

— Да, да, — скажут в комиссии, — но это прадед. А отец? Чей вы сын?

Я сын раввина.

— Он уже не раввин, — говорю я жалобно. — Он уже снял...

Что он снял? Рясу? Нет, раввины не снимают рясы...

¹³ Еришов Л. Заметки о сатирической прозе 20-х годов // Вопросы советской литературы. Сб. 3. М.; Л., 1956. С. 374.

¹⁴ Огонек. 1930. №2. С. 10.

Но я не могу точно объяснить, что снял мой отец, и мои объяснения признаются неудовлетворительными. Меня увольняют.

Я иду по фиолетовой снежной улице и шепчу сам себе:

— ...И совершенно прав был товарищ Крохкий, когда... Скажи мне, с кем ты знаком, и я скажу тебе, кто ты... Яблочко от яблоньки недалеко падает...

Я поеду домой, к отцу, к раввину, который что-то снял. Я потребую от него объяснений. Какой он все-таки нетактичный человек! Ведь сколько есть профессий. Он мог бы стать гробовщиком...

Блудный сын возвращается домой. Блудный сын в толстовке и людоедском галстуке возвращается к отцу...

...Сын не видел отца десять лет. Он забыл о предстоящем крупном разговоре и целует отца в усы, пахнущие селитрой...

Такого отца надо презирать. Но я чувствую, что люблю его.

Что из того, что его усы пахнут селитрой!..

Позор, я люблю раввина!

Сердце советского гражданина, гражданина, верящего в строительство социализма, трепещет от любви к раввину, к бывшему орудию культа. Как могло это произойти? Прав был товарищ Крохкий. Яблочко, яблочко, скажи мне, с кем ты знакомо, и я скажу тебе, кто тебя съест...

Сон кончается мотоциклетными взрывами и пальбой. Я просыпаюсь, радостный и возбужденный.

Как хорошо быть любящим сыном, как приятно любить отца, если он бухгалтер, если он пролетарий умственного труда, а не раввин.¹⁵

Та же тема — в «Золотом теленке».

— У него, что же, родители не в порядке? Торговцы?

Чуждый элемент?

— Да и родители не в порядке, и сам он, между нами говоря, имел аптеку. Кто же мог знать, что будет революция? Люди устраивались, как могли...

— Надо было знать, — холодно сказал Корейко.

— Вот и я говорю, — быстро подхватил Липидус, — таким не место в советском учреждении (Т. 2. С. 53).

«Вот наделали делов эти бандиты Маркс и Энгельс!» — говорят в «Золотом теленке» знакомые некоего Побирухина, вычищенного

¹⁵ Автобиографические мотивы этого рассказа подтверждаются записью Е. Петрова в книге «Мой друг Ильф»: «Из детства Ильфа... Пороховые усы отца...» (Журналист. 1967. № 6. С. 61).

из учреждения по второй категории.¹⁶ Критики, писавшие об Ильфе и Петрове как об обличителях «пережитков капитализма», склонны были видеть в этих словах насмешку над обывателями, брюзжащими в очередях.¹⁷ Однако «соль» остроты здесь вовсе не в «обывателях». Ильф и Петров имели некоторое представление о Марксе и Энгельсе, и они явно не были уверены в

том, что идея увольнения Побирухина по второй категории действительно принадлежала классикам марксизма. Аналогичные сомнения мы встречаем даже у такого далекого от марксизма их современника, как Михаил Булгаков: «Разве Карл Маркс запрещал держать на лестницах ковры? Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что второй подъезд Калабуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить через черный двор?» («Собачье сердце»).

Теме чистки и связанным с нею страхам посвящены и другие рассказы — «Каприз актера», «Призрак-любитель», «Граф Средиземский». Некий Сорокин-Белобокий, обрадовавшись наступлению весны, сменил свою «черную волосатую кепку» на вороной котелок дедушки-артиста. Но на службе началась чистка и вывешен плакат: «Вон из аппарата героев 20-го числа».

— *Вот нас восемь человек. Значит есть среди нас герой двадцатого числа. Кто же этот герой? Я, например, котелков не ношу... Чужая душа — потемки!.. Ходят тут всякие в котелках... — говорит ему один из сослуживцев.*¹⁸

В рассказе «Призрак-любитель» старик Культуртригер, инсценировавший появление призрака, уличает сослуживцев-безбожников в мистицизме: «Но какой же товарищ Галерейский материалист, ежели он привидения убоился? Гнать таких надо по второй категории. И даже по первой. Какой же он, товарищи, марксист?»¹⁹ Рассказ «Граф Средиземский», предназначенный авторами для «30 дней», но не принятый в печать и опубликованный лишь в 1957 г., дает новую версию старого сюжета о счастливо обретенном сыне аристократа. В большом доме, населенном обыкновенными советскими людьми, доживает последние дни старик, граф Средиземский. Трое вузовцев разоблачают «бывшего графа» в домовой стенгазете. Тогда граф придумывает страшную

¹⁶ Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. Золотой теленок. М., 1948. С. 415—416. В Собрании сочинений слова «эти бандиты» выпущены (Т. 2. С. 108).

¹⁷ Ср.: Вулис А. И. Ильф, Е. Петров. М., 1960. С. 239.

¹⁸ Ильф И., Петров Е. Как создавался Робинзон. 3-е изд., доп. М., 1935. С. 187.

¹⁹ Там же. С. 161-162.

мечь. Он вызывает к себе поочередно каждого из трех студентов и каждому сообщает, что тот его незаконный сын:

Я понимаю, сын мой, ваше волнение. Оно естественно. Графу теперь, сами знаете, прожить очень трудно. Из партии вас, конечно, вон!.. Я предвижу, что вас вычистят также из университета.

Реакция обретенного сына понятна:

В конце концов я не виноват. Я жертва любовной авантюры представителя царского... режима. Я не хочу быть графом... Интересно, как поступил бы на моем месте Энгельс? Я погиб. Надо скрыть. Иначе невозможно (Т. 2. С. 445, 448).

Ильф и Петров не отделяют здесь, в полном соответствии с действительностью, граждан-интеллигентов от остальных советских граждан. Носитель котелка и жертвы «призрака-любителя» — простые советские служащие; мнимые сыновья графа Средиземского — вузовцы, интеллигенты; к этой же категории, вероятно, можно отнести и героя рассказа «Блудный сын», написанного от лица автора. Но основные рефлексy их одинаковы: страх, готовность отречься от чего угодно и от кого угодно и принять с энтузиазмом любое указание сверху. Идеальным выражением такого умонастроения можно считать описанный в «Золотом теленке» «универсальный штамп», заказанный начальником «Геркулеса» Полыхаевым: «В ответ на... — далее упоминается любой акт текущей политики — ...мы, геркулесовцы, как один человек, ответим» повышением качества, увеличением производительности, усилением борьбы с бюрократизмом, беспощадной борьбой со всеми пороками, «а также всем, что понадобится впредь» (Там же. С. 222).

Ряд рассказов тех лет специально посвящен коллегам Ильфа и Петрова — представителям так называемой творческой интеллигенции — писателям и художникам. Рассказ из «Чудака» «Бледное дитя века» — о поэте Андрее Бездетном, заготавливавшем стихи к 7 ноября:

Спрос на стихи и другие литературные знаки ко дню Октябрьской годовщины бывал настолько велик, что покупался любой товар, лишь бы подходил к торжественной дате. И нехороший человек Андрей Бездетный пользовался вовсю. В этот день на литбирже играли на повышение:

Отмечается усиленный спрос на эпос. С романтикой весьма крепко. Рифмы «заря — Октября» вместо двугривенного идут по полтора рубля. С лирикой слабо (Там же. С. 467).

Литературоведы, упоминая об этом герое, видели в нем простого двойника халтурщика Ляписа из «Двенадцати стульев», прикрывшегося «другой кличкой», и недоумевали, зачем писатели сочинили этот рассказ да еще включили его в сборник своих рассказов.²⁰ Однако Ляпис был обыкновенным халтурщиком, не претендовавшим на наиболее ответственные политические темы, а Андрей Бездетный — певец октябрьской годовщины, представитель той табельной поэзии, где в предреволюционные годы подвизались цензор Сергей Плаксин и юный Валентин Катаев.

Писателей, естественно, интересовали не только халтурщик Андрей Бездетный, его двойник Молокович, тоже пишущий к 7 ноября (Т. 2. С. 518—519), и «молодые граждане в котиковых шапочках», сочинявшие «марксистские обозрения» для Мюзик-холла (Там же. С. 459, 462). Предметом их сатиры оказывались и подлинные представители искусства и литературы тех лет. Среди них, например, был и С. М. Эйзенштейн, создавший фильм о классовой борьбе в деревне — «Старое и новое».

Настоящая деревня была показана так:

- 1. Кулак — афишная тумба с антисоветскими буркалами.*
- 2. Жена — чемпионка толщины с антисоветскими подмышками.*
- 3. Друзья — члены клуба толстяков.*
- 4. Домашний скот — сплошная контра...*

...Этим Эйзенштейн хотел, вероятно, добиться особенной остроты и резкости и обнажить силы, борющиеся в деревне.

Но штамп оказался сильнее режиссеров, ассистентов, декораторов, администраторов, экспертов, уполномоченных и хранителей большой чугунной печати Совкино. Фокус не удался (Там же. С. 465-466).

Мы уже упоминали о кампании, поднятой против Пильняка за печатание за границей повести «Красное дерево». В никогда не переиздававшемся фельетоне «Три с минусом»²¹ Ильф и Петров изобразили одно из таких заседаний против Пильняка как урок в гимназии:

...на этот раз писателям был задан урок о Пильняке.

— Что будет, — трусливо шептала Вера Инбер. — Я ничего не выучила.

Олеша испуганно писал шпательку...

И один только Волин хорошо знал урок. Впрочем, это был первый ученик. И все смотрели на него с завистью. Он вызвался отвечать первым и отвечал битый час. За это время ему уда-

²⁰ См.: Вулис А. И. Ильф, Е. Петров. С. 321.

²¹ Чудак. 1929. №41.

лось произнести все свои фельетоны и статьи, напечатанные им в газетах по поводу антисоветского выступления Пильняка... Кроме своих собственных сочинений, Волин прочел также несколько цитат из «Красного дерева».

Публика насторожилась. Одни требовали ареста Пильняка. Другие просили прочесть «Красное дерево» целиком якобы для лучшего ознакомления с поступком писателя. Кроме того, поступила записка с вопросом: «Будут ли распространяться норвежские сельди, поступившие в кооператив № 84, и по какому талону»...

Ученику Шкловскому, как всегда, удалось обмануть учителя... Легко обойдя вопрос о Пильняке, Шкловский заявил, что писателю нужна вторая профессия...

Юрий Олеша читал свою речь по бумажке.

Громовым голосом он опубликовал популярный афоризм о том, что если дать овцам свободу слова, то они все равно будут блять.

— Пильняк проблеял,— заявил Олеша...

В общем, писатели отвечали по политграмоте на три с минусом...

Конечно, и рецензию на фильм Эйзенштейна, и отчет о диспуте о Пильняке можно было рассматривать как сочинения, написанные с ортодоксальных позиций: как критику режиссера за неумелое изображение классово-борьбы в деревне и писателей — за недостаточно энергичное осуждение политических ошибок их собрата (именно поэтому оба фельетона и были напечатаны). Но читатель, внимательный к творчеству авторов фельетона, мог бы заметить, что сами они «обманули учителя» еще радикальнее, чем Шкловский, и не только не ответили на вопрос о Пильняке, но и вообще ни разу не написали ни о коллективизации, ни о вредительстве, ни о политических ошибках своих коллег.

Более того, изобразив виднейшего рапповского критика Б.Волина в виде первого ученика, они обнаружили явную антипатию к идеологически наиболее выдержанной группе творческой интеллигенции. Критикам был посвящен и упомянутый уже фельетон «Мала куча — крыши нет»: «...критики у нас по преимуществу действительно весьма забавные... И стоит только одному критику изругать новую книгу, как остальные критики с чисто детским весельем набрасываются на нее и принимают, в свою очередь, пинать автора ногами.

Начало положено. Из разбитого носа автора показалась первая капля крови. Возбужденные критики начинают писать» (Там же. С. 488-489).

А вот диалог из записной книжки Ильфа 1930 г., вошедший потом в фельетон «Литературный трамвай»:

— Вы марксист?

— Нет.

— Кто же вы такой?

— Я эклектик.

Стали писать— «эклектик». Остановили. «Не отрезывайте человеку путей к отступлению». Приступили снова.

— А по-вашему, эклектизм — это хорошо?

— Да уж что хорошего.

Записали: «Эклектик, но к эклектизму относится отрицательно» (Т. 5. С. 189-190; ср.: Т. 3. С. 174-175).

Наиболее яркое выражение этой темы — в фельетоне из «Литературной газеты» «Отдайте ему курсив» о «первом ученике» (опять «первом ученике»!), критике-зубриле, вечно твердящем некий стих, составленный по образцу тех стихов, которые облегчали в гимназии запоминание орфографических правил:

Бойтесь, дети, гуманизма,

Бойтесь ячества, друзья,

Формализма, схематизма

Опасайтесь как огня... (Т. 3. С. 160)

Там же был помещен рассказ «Идеологическая пеня», как бы сводящий воедино тему приспособленчества, трусости и готовности отмежевываться от кого и от чего угодно. Авторы предлагают «внести стройность и порядок в литотмежевательное дело». Они советуют писателям не дожидаться появления ругательных статей, а отмежевываться от своих сочинений заранее. Отмежевание должно быть введено в типовый издательский договор: «Автор признает свой роман... который он должен сдать не позднее августа 1933 года, грубой приспособленческой халтурой, где убогость формы достойно сочетается с узколобым кретинизмом содержания...»; в пьесах отмежевание производится в финале перед занавесом; поэтам надлежит отмежевываться в стихах. А те «литературные старатели», которые этого сделать не успеют, должны помещать отречения от своих литературных произведений «за плату по нормальному тарифу в отделе объявлений, между

извещениями: "Пропала сука" и "Я, такой-то, порвал связь с родителями с 18 часов 14 минут 24 мая..."» (Там же. С. 147).

Едва ли можно утверждать, что писатели случайно соединили эти три темы: сбежавшая сука, отречение от своего сочинения, отречение от родителей. В записных книжках тех лет Ильф выразил свое отношение к той же теме еще лапидарнее, предложив новое название известной картины Репина: «Иоанн Грозный отмежевывается от своего сына» (Т. 5. С. 187).

Актуальность фельетона «Идеологическая пеня» получила подтверждение в той самой «Литературной газете», где он печатался: в номере за 12 мая фельетону предшествовала бодрая передовица «К новым успехам», а в следующем номере редакция уже отмежевывалась от своей передовицы как связанной с только что ликвидированным РАППом.

Но если в «годы великого перелома» Ильф и Петров выступали не против «интеллигенции, претендовавшей на свое собственное мнение», а против интеллигентов — конформистов и трусов, то что же тогда означает «хрестоматийный пример» Васисуалия Лоханкина из «Золотого тельенка»?

Как и против кого, собственно, бунтует Лоханкин в «Золотом тельенке»? Васисуалий Андреевич — жилец «Вороньей слободки». Он нигде не служит, не занимается физическим трудом, не торгует на рынке и, хотя не обладает ни серьезным образованием, ни широтой интересов (обстоятельство, которое новейшие критики Ильфа и Петрова относят на счет «желчной воли соавторов»), причисляет себя к интеллигенции. С какими персонажами литературы 1920-х гг. может быть сопоставлен Васисуалий Лоханкин? Прежде всего на память приходит Алексей Спиридонович Тишин из «Хулио Хуренито» Эренбурга — он тоже велеречив, тоже неряшлив и жалок. Но Тишин в отличие от Лоханкина действительно находится в оппозиции к советской власти: он сочувствует интервенции, ждет «светлого дня воскресения» и в конце концов отправляется в эмиграцию. Сатирический образ интеллигента-оппозиционера создал и Н.Эрдман: в пьесе «Самоубийца» это некий Голощапов, призывавший главного героя совершить акт самоубийства «от имени русской интеллигенции».

В отличие от Тишина и Голощапова Лоханкин вполне аполитичен. Этим он оказывается наиболее близким к другому персонажу в литературе того времени — к Мишелю Синягину из одноименной повести Зощенко, написанной в 1930 г. Как и Лоханкин, Мишель — лицо неопределенной профессии; он считает себя поэтом (это обстоятельство, однако, никогда не давало повода для обвинения Зощенко в поклепе на интеллигенцию); Мишель живет в коммунальной квартире и существует за счет родных. Как и Васисуалий, Мишель кончает тем, что укрывается под крыло своей бывшей супруги и ее нового мужа. Ни Лоханкин, ни Мишель Синягин не противоречат окружающей среде и вовсе не претендуют на собственное мнение.

Единственное, пожалуй, отличие Васисуалия Лоханкина от Мишеля Синягина заключается в том, что Мишель просто пассивен, между тем как Васисуалий возводит свою страдательную роль в принцип. Это человек, усматривающий необходимость и глубокий смысл во всем, что с ним происходит. «Бунт индивидуальности», который учиняет в романе Лоханкин, сводится к голодовке из-за ухода жены к другому и заканчивается полной капитуляцией: «А может быть, так надо,— может быть, это искупление, и я выйду из него очищенным?..»

«Великую сермяжную правду» он усматривает в порке, которой подвергают его соседи за расточение коммунальной электроэнергии:

А может быть, так надо,— думает он во время экзекуции.— Может, именно в этом искупление, очищение, великая жертва...

Порку прерывает Остап, явившийся по объявлению, чтобы снять комнату у Лоханкина. Он осведомляется о соседях. «Прекрасные люди»,— заверяет его Васисуалий.

— Но ведь они, кажется, ввели здесь телесные наказания?

— Ах,— сказал Лоханкин проникновенно,— ведь в конце концов кто знает? Может быть, так надо. Может быть, именно в этом великая сермяжная правда? (Т. 2. С. 147, 155—156).

Провиденциальный смысл Лоханкин усматривает и в стихийном бедствии — в разрушившем его дом пожаре (вызванном, впрочем, поджогом, устроенным соседями в расчете на страховку). Укрывшись в квартире своей бывшей жены, он предается размышлениям:

А я думаю, что, может, так надо,— сказал Васисуалий, приканчивая хозяйский ужин,— быть может, я выйду из пламени преобразившимся, а? (Там же. С. 239).

Лоханкин — не оппозиционер, а, напротив, убежденный конформист, и позиция этого неслужащего интеллигента, в сущности, соответствует универсальному штампу его чиновного собрата Полыхаева, заранее приемлющего все, «что понадобится впредь».

Такую позицию действительно не раз занимали русские интеллигенты. Создавая Лоханкина, Ильф и Петров, наверное, не думали ни о веховцах, ни о сменовеховцах. Но неуклонное «гегельянство», готовность признать разумность всего на свете и любого изменения общественного климата возникало у русской интеллигенции на протяжении ее истории постоянно. Здесь можно упомянуть даже «первого русского интеллигента» — Белинского, отдавшего дань гегельянству своей «Бородинской годовщиной». Но Белинский, как известно, вскоре распростился с «философским колпаком Георгия

Федоровича» и заявил, что России нужны уничтожение крепостного права и «пробуждение в народе чувства человеческого достоинства». Представители же «лоханкинского направления» в среде русской интеллигенции неизменно останавливались на признании «великой сермяжной правды» каждого исторического момента.

Ближайшая параллель Лоханкину — это, конечно, «кающиеся интеллигенты» 1920—1930-х гг., не только усматривавшие глубокий смысл во всем происходящем, но выступавшие при этом от имени самой интеллигенции с пафосом и самобичеванием. Такой была в те годы позиция Леонова, Эренбурга, Олеси. Какие конкретно прототипы могли быть у Васисуалия Лоханкина? Упоминание «сермяжной» правды свидетельствует как будто о «почвенных» корнях его мировоззрения, характерных более для Леонова, но сочетание полнейшей пассивности с мазохизмом и самобичеванием заставляет вспомнить об Олеше.²² «Мы, писатели интеллигенты, должны писать о самих себе, должны разоблачать самих себя, свою "интеллигентность"... Взгляд мой на положение интеллигенции крайне мрачен. Надо раз навсегда сказать следующее: пролетариату совершенно не нужно то, что мы называем интеллигентностью...»²³ — писал Юрий Олеся в 1930 г. «Я хочу перестроиться. Конечно, мне очень противно, чрезвычайно противно быть интеллигентом. Вы не поверите, быть может, до чего это противно. Это — слабость, от которой я хочу отказаться».²⁴ Это очень похоже на лоханкинскую манеру упиваться собственным страданием, хлестать «свое горе чайными стаканами» и на вопли писателя в фельетоне Ильфа и Петрова «На зеленой садовой скамейке»:

²² Черты сходства между Олешей и Лоханкиным бросились в глаза и Белинкову (Белинков А. Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеся / Подг. к печ. Н. Белинкова. Мадрид, 1976. С. 658), но так как Белинков считал, что Ильф и Петров «освистывали» интеллигенцию, претендующую на собственное мнение, «охотнее и радостнее», чем Олеша, то такая сатира могла бы рассматриваться как обличение его с официальных позиций. Однако, как мы видели, в годы написания «Золотого тельца» (1929—1930) Ю. Олеша обнаруживал несравненно больший конформизм, чем Ильф и Петров: он разоблачал кулаков и попов, требовал осуждения вредителей, отвергал претензии Пильняка на свободу слова. Ни в одной из этих кампаний Ильф и Петров не участвовали.

²³ Олеся Ю. Тема интеллигента // Стройка (Ленинград). 1930. № 3. С. 16-17.

²⁴ Олеся Ю. Пьесы. Статьи о театре и драматургии. М., 1968. С. 268.

— Братья, меня раздирают противоречия великой стройки.

— Десятый год они тебя уже раздирают. И ничего, потолстел...

— А все-таки они меня раздирают, и я этим горжусь, Тя-я-я-ажко мне! Подымите мне веки. Нет, нет, не подымайте! Или лучше подымите. Я хочу видеть новый мир...²⁵

Менее всего можно считать Лоханкина интеллигентом, отстаивающим собственное мнение. Скорее уже на эту роль мог бы претендовать другой, совсем эпизодический персонаж «Золотого тельца» — укрывшийся в сумасшедшем доме присяжный поверенный И. Н. Старохамский, выдающий себя за Юлия Цезаря. Правда, Старохамский — человек осторожный, и открыто он против советской власти не выступает, но, притворившись сумасшедшим, он обретает наконец долгожданную свободу слова:

— *Да здравствует Учредительное собрание! Все на форум! И ты, Брут, проданся ответственным работникам!..* (Т. 2. С. 190).

Любопытно, однако, что образ Кая Юлия Старохамского не вызвал протеста со стороны тех, кто защищал интеллигенцию от Ильфа и Петрова. Почему? Видимо, не только из-за недостаточно внимательного чтения «Золотого тельца». Дело здесь еще в том, что Учредительное собрание не принадлежало к числу тех ценностей, гибель которых (во всяком случае, до последнего времени) склонно было оплакивать большинство русских интеллигентов. Однодневный русский парламент пребывает в традиционном историческом сознании где-то рядом с другими явлениями недолговременной русской свободы — массовыми митингами, Временным правительством, Керенским. Как ни менялись общественные взгляды и воззрения за прошедшие десятилетия, в одном сходились все: в презрении к демократическому премьеру 1917 г. «Главнотрубопроводящий» — в этом уничижительном прозвище целая философия истории. Власть, которая не бьет сапогом по морде, не сечет шпицрутенами, не высылает миллионы людей в Сибирь, а уговаривает, это, конечно, не настоящая власть. В ироническом контексте — среди воспоминаний зиц-председателя Фунта — упоминался Керенский и в «Золотом тельце»:

— *...Фунт сидел при Александре Втором «Освободителе», при Александре Третьем «Миротворце», при Николае Втором «Кровавом», при Александре Федоровиче Керенском... И, считая царей и присяжных поверенных, Фунт загибал пальцы* (Там же. С. 261).

Заметим все же, что, как это часто бывает у Ильфа и Петрова, текст оказывается здесь несколько двусмысленным: «присяжные поверенные» названы во множественном числе, а ведь, кроме Александра Керенского, Россией правил еще только один носитель этого звания — помощник присяжного поверенного Владимир Ульянов.

Станным образом критики, обидевшиеся за Лоханкина и не заметившие Кая Юлия Старохамского, не увидели, что в «Золотом тельце» действительно есть интересовавший их герой — интеллигент-одиночка и индивидуалист, критически относящийся к окружающему его миру. Это Остап Ибрагимович Бендер, главный герой романа.

Остап с полным основанием подсмеивается над претензиями Лоханкина на интеллигентность. Слова Лоханкина о «великой сермяжной правде», заключающейся в учиненной над ним экзекуции, вызывают у него достаточно ядовитую реакцию:

— *Сермяжная? — задумчиво повторил Бендер. — Она же посконная, домотканая и кондовая? Так, так. В общем, скажите, из какого класса гимназии вас вытурили за неуспешность? Из шестого?*

— *Из пятого, — ответил Лоханкин.*

— *Золотой класс. Значит, до физики Краевича вы не дошли? И с тех пор вели исключительно интеллектуальный образ жизни?* (Там же. С. 156).

Сам Остап не только дошел до «физики» Краевича, но сохранил даже некоторые воспоминания о немецком языке («Вас махен зи? — спрашивал он немца, принявшего его за бюрократа — начальника советского учреждения. — Вас волен зи от бедного посетителя?») и о гимназической латыни; слышал он и о Гомере и Мильтоне. Он ничуть не менее интеллигентен, чем писатели, едущие в литерном поезде. Правда, Д. Заславский утверждал: «Совершенно лишним, чужим, как бы ловко он ни приспособлялся, выглядит Остап в поезде с советскими и иностранными журналистами, который идет на строительство Восточной Магистральной...»,²⁶ но это, по выражению Коровьева из «Мастера и Маргариты», «случай так называемого вранья». Остап чувствует себя среди советских писателей прекрасно,

²⁵ Ильф И., Петров Е. Как создавался Робинзон. С. 45.

²⁶ См. предисловие к Собр. соч. Т. 1. С. 15.

участвует вместе с ними в философских спорах с иностранцами, а одному журналисту, сотруднику профсоюзного органа, даже помогает как собрат и продает ему ценное пособие для писания юбилейных и табельных сочинений.²⁷

Конечно, эрудиция Остапа пародийна, и застрявшие в его памяти неправильно склоняемые латинские существительные «пуэр, соцер, веспер, генер...» отнюдь не свидетельствуют о глубокой образованности. Но многие ли из послереволюционных интеллигентов могли похвастаться более серьезным знанием классических языков?

Остап не только образованнее Лоханкина. В отличие от Васисуалия Андреевича он вовсе не склонен видеть «великую сермяжную правду» во всем, что происходит вокруг него.

У меня с советской властью возникли за последний год серьезнейшие разногласия. Она хочет строить социализм, а я не хочу. Мне скучно строить социализм. Что я, каменщик в фартуке белом...— говорит он Шуре Балаганову (Т. 2. С. 30).

Эти слова весьма многозначительны, и недаром во втором издании (1933 г.) и во всех последующих (включая 5-томное Собрание сочинений 1961 г.) последнюю фразу Остапа пришлось снять.²⁸ Это — цитата из Валерия Брюсова:

*Каменщик, каменщик в фартуке белом,
Что ты здесь строишь? Кому?
— Эй, не мешай нам. Мы заняты делом,
Строим мы, строим тюрьму...*

Тот же мотив звучит и в прощании с родиной перед переходом румынской границы:

Ну что ж, адье, великая страна. Я не люблю быть первым учеником и получать отметки за внимание, прилежание и поведение. Я частное лицо и не обязан интересоваться силосными ямами, траншеями и башнями... (Там же. С. 383).

Интересно, что и здесь появляется мало симпатичный писателям образ «первого ученика» — носителя идеологических нормативов.

²⁷ См. об этом: Саптак В. Не надо оваций! // Вопросы театра. М., 1965. С. 120.

²⁸ Ильф И., Петров Е. Золотой теленок. М., 1933. С. 33-34; 2-е изд. М., 1933. С. 33.

«Бунт индивидуальности» Остапа Бендера несравненно серьезнее мнимого «бунта» Васисуалия Лоханкина — фигуры эти не только не сходны, но полярно противоположны. Если у Остапа есть в «Золотом теленке» некий двойник, то это не Лоханкин.²⁹ Двойник Бендера — правда, сниженный и жалкий — это Михаил Самуэлевич Паниковский, «человек без паспорта». Тема Паниковского — тема «бунта маленького человека», еще один вариант «достоевской темы», намеченной в «Двенадцати стульях» в образах отца Федора и Воробьянинова.³⁰ «Вздорный старик» Паниковский постоянно стремится утвердить свою личность — бунт его нелеп и вместе с тем вызывает сострадание. Он не принимает бендеровского плана постепенного разоблачения подпольного миллионера, он требует немедленного раздела вытасненных им у Корейко денег:

*В углу плакал Паниковский.
— Отдайте мне мои деньги,— шепелявил он,— я совсем бедный. Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят...
— Вы лучше скажите, будете ли вы служить или нет? Последний раз спрашиваю.
— Буду,— ответил Паниковский, утирая медленные стариковские слезы (Там же. С. 160-161).*

Вот как описывается в «Золотом теленке» смерть Паниковского:

*...он потащился в конце колонны, стена и лепеча:
— Подождите меня, не спешите. Я старый, я больной, мне плохо!.. Гусь! Ножка! Шейка! Фемина!.. Жалкие, ничтожные люди!..
Но антилоповцы так привыкли к жалобам старика, что не обращали на них внимания. Голод знал их вперед...*

— *Что-то случилось,— сказал Козлевич... Шофер и командор поднялись вверх.*

Нарушитель конвенции лежал посреди дороги неподвижно, как кукла. Розовая лента галстука косо пересекала его грудь. Одна рука была подвернута за спину. Глаза дерзко смотрели в небо. Паниковский был мертв...

²⁹ Попытку сблизить эти два персонажа как «людей идеи» см.: Саптак В. Не надо оваций! С. 111.

³⁰ Н.Я.Рыкова, единственный критик «Золотого тельца», заметивший «сдержанный трагизм» сцены смерти Паниковского, напрасно противопоставила эту сцену описанию гибели отца Федора в «Двенадцати стульях» (см. ее рецензию на «Золотого тельца»: Звезда. 1933. № 6. С. 175) — между образами отца Федора и Паниковского, как и Воробьянинова, есть явные черты сходства.

*Балаганов не мог отвести глаз от покойника. Внезапно он скривился и с трудом выговорил:
— А я его побил за гири. И еще раньше с ним дрался.*

Далее следует сцена похорон Паниковского в яме, вымытой дождями у старой каменной плиты, и речь, произнесенная Оста-пом над могилой:

— *Я часто бывал несправедлив к покойному. Но был ли покойный нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком. Это был бывший слепой, самозванец и гусекрад. Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет. А вынести этого противоречия во взглядах Михаил Самуэлевич не мог, потому что имел вспыльчивый характер. И поэтому он умер. Все!* (Т. 2. С. 285-286).

Ю. Щеглов связывает сцену похорон Паниковского с мотивом «мнимой респектабельности», характерной для этого образа, отмечая, что все аксессуары его похорон «имеют пародийный характер, а традиционная форма надгробной речи используется Остапом Бендером для сурового осуждения покойного».³¹ Пародийность речи Остапа очевидна, но за пародийным «осудительным» смыслом здесь ощущается иной, более глубокий. Говоря о Паниковском, Остап явно имеет в виду и себя самого. Он тоже обладает «вспыльчивым характером», делающим неразрешимым противоречие между ним и обществом. Эпитафия Паниковского — это и эпитафия Остапа Бендера.³²

Но не следует ли из этого, что тема разоблачения интеллигента-индивидуалиста все же является основной темой «Золотого тельца», что интеллигенция, «претендовавшая на собственное мнение», «освистана» в романе не в лице Васисуалия Лоханкина, а в лице Остапа Бендера? Станным образом, однако, никто из авторов, обидевшихся на Ильфа и Петрова за Лоханкина, не захотел вступить за «великого комбинатора» и не усмотрел в этом образе пасквиль на критически мыслящую интеллигенцию.

³¹ Щеглов Ю. Семиотический анализ одного типа юмора // Семиотика и информатика. М., 1975. Вып. 6. С. 193.

³² Черты сходства между Остапом и Паниковским отмечены У.-М. Церер, обратившей внимание, однако, не на надгробную речь, а на другие места романа (Т. 2. С. 71, 161) (*Zehrer U.-M. «Dvenadcať stul'ev» und «Zolotoj telenok» von I.Ilf und E.Petrov. Entstehung, Struktur, Thematik (Ban-stück zur Geschichte der Literature bei den Slawen. Bd 3). GieBen, 1975. S.231*).

В чем тут дело? Можно думать, что известную роль здесь сыграли внешние черты образа, своего рода опознавательные знаки, по которым не очень внимательные читатели классифицируют литературных персонажей. Лоханкин украшен «фараонской бородкой», он размышляет о судьбах интеллигенции, поэтому он естественно воспринимается как интеллигент, хотя и окарикатуренный авторами во имя «социального заказа». Остап — «великий комбинатор», авантюрист; он рассматривается поэтому в ряду нарушителей закона, популярных в послереволюционной литературе героев-уголовников. Даже У.-М. Церер, немецкая исследовательница, не связанная необходимостью разоблачать индивидуалиста Бендера и высказавшая интересную мысль об автобиографических мотивах в теме погони Остапа «за счастьем», включила все-таки Остапа в число классических правонарушителей из литературы 1920-х гг. вместе с катаевскими растратчиками, Турецким барабаном из «Конца хазы» Каверина, Беней Криком и леоновским бандитом Митькой Векшиным.³³ Но сходства между Остапом и Митькой Векшиным не больше, чем между Ильфом и Леоновым. Конечно, диалогия об Остапе Бендере опиралась на традиции плутовского романа, но уже Виктор

Шкловский, отметивший эту генеалогическую связь, справедливо включил в число предков Остапа, наряду с Лазарилью с Тормеса, Чичиковым и Жиль Блазом, также Тома Джонса-найденыша и Гека Финна.³⁴ Главное в образе Остапа — не его противоправные действия, а его выключенность из окружающего мира, способность взглянуть на этот мир со стороны. Вот почему среди традиционно упоминаемых двойников Бендера ближе всего к Остапу в советской литературе — несмотря на условность этого персонажа — оказывается Хулио Хуренито Эренбурга.

Образ Остапа не только не вызвал протеста со стороны защитников обиженной интеллигенции. Не менее любопытно и другое обстоятельство. Роман кончается поражением Остапа, его капитуляцией. Казалось бы, такой крах «анархического индивидуализма» должен был вызвать одобрение официальных критиков «Золотого тельца». Но что-то их в этом романе не удовлетворяло. Уже Луначарский, поспешивший опубликовать отзыв на «Золотого тельца» до завершения

³³ Zehrer U.-M. «Dvenadcaf stul'ev»... S. 245—248. Запись Ильфа в «Записных книжках»: «Это я хотел бы быть таким высокомерным, веселым. Он такой, каким я хотел бы быть» (Т. 5. С. 198), действительно, приводит на память Остапа Бендера, но дальнейшая характеристика («беспрерывно лопочущим... вздорным болтуном») делает это сопоставление сомнительным.

³⁴ Лит. газ. /934.-30 апр.

журнальной публикации романа, замечал, что образ Остапа Бендера — «это — только художественный прием, который немного фальшивит», «дальнейшее сочувствие к такому типу является уже элементом анархическим».³⁵ Более определенного отношения к Остапу требовал от авторов и Селивановский в «Литературной газете»: «Если бы Ильф и Петров положили в основу своего романа понимание Бендера как классового врага... они глубже бы взрыхлили почву нашей действительности».³⁶ Е.Троценко заявила, что «авторская насмешка» над Остапом «снисходительна», а позиция их в осмеянии своего героя «слаба и прекраснодушна», исполнена «интеллигентского гуманизма».³⁷

Еще резче осудил авторов за образ Остапа Бендера А. Зорич. «Кто такой "великий комбинатор" Остап Бендер, главный герой и главный объект сатиры, развернутой на страницах "Золотого тельца"?.. — вопрошал он. — Может быть, это сознательный и намеренный враг?.. Нет, для политической фигуры он явно легковесен, и никакой программы у него нет... Кто же он в таком случае?

Это выдуманная фигура, человек, лишенный какого бы то ни было социального лица и социальных корней...»³⁸

³⁵ Луначарский А. Ильф и Петров // 30 дней. / 931. № 8. С. 66.

³⁶ Лит. газ. 1932. 23 авг.

³⁷ Троценко Е. Последние приключения анархического индивидуума // Красная новь. 1933. № 9. С. 174-175.

³⁸ Зорин А. Холостой залп: Заметки читателя // Проектор. 1933. № 7—8. С. 23-24.

Упреки за недостаточно последовательное осуждение Остапа Бендера высказывались Ильфу и Петрову и в 1950—1960-х гг. — после того как запрет на их сочинения был снят. «Наделив Бендера рядом сильных положительных черт... авторы допустили серьезный идейно-художественный просчет»,³⁹ — писал Л. Ф. Ершов. По мнению А. Вулиса, Ильф и Петров, в «расчете (а может быть, и в надежде)» на исправление Остапа Бендера, «частенько проявляют мягкосердечие, занижают ту дозу осуждения, которой Бендер заслуживает».⁴⁰

Очевидно, как это не раз обнаруживалось при анализе значительных литературных произведений, «Золотой тельца» имеет несколько сюжетных слоев — внешний и более глубокий. Для того чтобы разграничить эти слои, необходимо понять, что намеревались сказать и что действительно сказали авторы в своем рассказе о «печальном конце советского миллионера».

³⁹ Ершов Л. Заметки о сатирической прозе 20-х годов. С. 373.

⁴⁰ Вулис А. И. Ильф, Е. Петров. С. 223.

ГЛАВА IV

ПОРАЖЕНИЕ И ПОБЕДА КОМАНДОРА

Каков смысл сюжета «Золотого тельца»? Что означает его развязка? Далеко не всякое литературное произведение дает право поставить подобный вопрос. У многих художников — начиная с Шекспира и кончая Чеховым — развязка не выражает отношения автора к изображаемым событиям: проблема ставится, но не решается.

Однако любимым писателем Ильфа и Петрова (как и их современника Булгакова) был не Чехов, а Гоголь. Гоголь же склонен был к определенным решениям сюжетных коллизий: развязка «Ревизора», несомненно, отражала авторское отношение к происшествию, случившемуся в уездном городе из-за Хлестакова; также, очевидно, должен был быть построен и сюжет «Мертвых душ».

Как и Гоголь, Ильф и Петров жаждали не только бичевать зло, но и утверждать добро. Они вовсе не стремились поэтизировать «анархического индивидуума» Бендера, они хотели противопоставить ему справедливый и честный мир. Они надеялись или хотели надеяться, что такой мир будет действительно создан. Далеко не все, что происходило вокруг них, было им по душе — они не смогли, даже если хотели, сказать ни одного доброго слова о раскулачивании, об «усилении классовой борьбы» в городе. Но кое-что в программе, намеченной в 1929 г., когда начинал писаться роман, их радовало. Еще в 1920-х гг. они мечтали об индустриализации, убежденные, что техника, строительство, новые пути сообщения уничтожат нищету и тьму Колоколамска, Пищеслава и «Вороньей слободки». Недаром в «Золотом тельце» возникает старый гоголевский мотив дороги — с явным полемическим переосмыслением:

Жизнь страны менялась с каждым столетием. Менялась одежда, совершенствовались оружие, были усмирены картофельные бунты. Люди научились брить бороды. Полетел первый воздушный шар. Были изобретены железные близнецы — паром и паровоз. Затрубили автомашины.

А дорога осталась такой же, какой была при Соловье-разбойнике. Горбатая, покрытая вулканической грязью или засыпанная пылью, ядовитой, словно порошок от клопов, протянулась отечественная дорога мимо деревень, городков, фабрик и колхозов, протянулась тысячеверстной западней. По ее сторонам, в желтеющих, оскверненных травах, валяются скелеты телег и замученные, издыхающие автомобили.

Быть может, эмигранту, обезумевшему от продажи газет среди асфальтовых полей Парижа, вспоминается российский проселок очаровательной подробностью родного пейзажа: в лужице сидит месяц, громко молятся сверчки, и позванивает пустое ведро, подвешенное к мужицкой телеге.

Но месячному свету уже дано новое назначение. Месяц может отлично сиять на гудронных шоссе. Автомобильные сирены и клаксоны заменят симфонический звон крестьянского ведерка. А сверчков можно будет слушать в специальных заповедниках; там будут построены трибуны, и граждане, подготовленные вступительным словом какого-нибудь седого сверчководы, смогут вдоволь насладиться пением любимых насекомых (Т. 2. С. 77).

Но как именно новый мир гудронных шоссе и автомобильных сирен преобразит ветхий мир собственности, оставалось для авторов неясным. Первоначальные планы романа заканчивались упоминанием одной из первых строек пятилетки — Туркестано-Сибирской железной дороги, Турксиба. Когда эти главы составлялись, авторы на Турксибе еще не были и сами не знали, каким образом новая железная дорога поможет им развязать сюжетный узел романа. В мае 1930 г. они поехали на открытие Турксиба, а затем, в романе, отправили на открытие дороги Остапа Бендера. Поездке на Турксиб посвящены пять глав в последней части «Золотого тельца». В литерном поезде, куда проник зайцем Остап, идут споры между корреспондентом свободомыслящей австрийской газеты Гейнрихом и советскими журналистами. Гейнрих рассказывает историю о двух советских молодых людях, Адаме и Еве. Они сорвали ветку с дерева в Парке культуры и отдыха, сторож, подобно ангелу, изгнал их, и они полюбили друг друга. А затем они произведут на свет сыновей — Каина и Авеля, Каин убьет Авеля, и «ничего нового на свете не произойдет. Так что вы напрасно кипятились насчет новой жизни».

Спор о новой жизни приобретает здесь, в спародированном виде, тот космический и всеобъемлющий смысл, какой он имел в «Зависти» Олеши. Новый мир рассматривается как

совершенно новый, противостоящий любви Адама и Евы и злодейству Каина. Но советские журналисты принимают вызов «наемника капитала», как иронически именует себя сам Гейнрих.

— *Все это было бы прекрасно,— сказал Паламидов,— если было бы подкреплено доказательствами...*

— *А у вас есть доказательства, что будет иначе? — воскликнул представитель свободомыслящей газеты.*

— *Есть,— ответил Паламидов,— одно из них вы увидите послезавтра, на смычке Восточной Магистрали.*

— *Ну-у, начинается!— заворчал Гейнрих.— Строительство! Заводы! Пятилетка! Что вы мне тычете в глаза свое железо? Важен дух! (Там же. С. 307).*

Авторы, очевидно, не были согласны с Гейнрихом. Они полагали, что строительство железных дорог имеет некоторое отношение к устройству человеческой жизни и к «духу». Но какое? Само по себе «железо» все-таки действительно ничего не доказывает. Железные дороги строились в России и в годы, когда Воробьянинов был предводителем дворянства и процветали оба черноморских общества «взаимного кредита». И еще какие—Великий Сибирский путь, соединивший Европу с Дальним Востоком! Значит, дело все-таки не в самом факте строительства; важны условия и задачи этого строительства, следовательно, тот «дух», который стоит за ним. Турксиб посрамляет обоих подпольных миллионеров — Корейко и получившего свой миллион Бендера — только в одном отношении. Когда заканчивается торжество по поводу открытия магистрали, они не могут уехать тем литерным поездом, которым прибыл Остап. Место Остапа в купе литерного поезда занял законный владелец, журналист Лев Рубашкин, отставший в Москве от поезда и прилетевший на самолете. На другой поезд сесть нельзя — фактически железная дорога начнет действовать только через два месяца. Специальный рейс самолета также не принимает пассажиров...

Миллионерам приходится отправляться в путь на верблюдах, но эпизод едва ли решает спор между Гейнрихом и Паламидовым. Журналист-халтурщик Лев Рубашкин, попадающий вместо Бендера в литерный поезд, никак не может считаться особо ценным членом общества, противостоящим великому комбинатору; да и вообще железные дороги и самолеты существуют для того, чтобы перевозить любых граждан, а не одних лишь журналистов.

Окончательное посрамление Остапа Бендера происходит в последних главах романа — обретенный миллион не приносит ему ни могущества, ни счастья. Почему? В ходе написания романа авторы долго искали убедительный вариант финала. На одном из листков, содержащих план романа, сохранилась запись, явно относящаяся к его развязке: «Отменят деньги». Исследовательница, обратившая внимание на этот план развязки романа, объясняла такое «размышление об исходе сюжета» тем, что на «рубеже 20-х и 30-х годов, с ликвидацией нэпа, в устах некоторых советских работников прозвучала мысль, что деньги следует отменить. Эта мысль была осуждена, объявлена беспочвенной».¹

Мысль об отмене денег действительно была осуждена и отвергнута в 1934 г.— как раз тогда, когда было объявлено о построении социализма в СССР. Но исходила эта идея вовсе не от «некоторых советских работников». Она была провозглашена еще Энгельсом, заявившим в «Принципах коммунизма», что «когда весь капитал, все производство, весь обмен будет сосредоточен в руках нации, тогда частная собственность отпадет сама собой, деньги станут излишними...».² Включен был соответствующий пункт и в программу Коммунистической партии, принятую на VIII съезде в 1919 г. и сохранявшую силу до 1961 г.: «Пункт 15... Опираясь на национализацию банков, РКП стремится к проведению ряда мер, расширяющих область безденежного расчета и подготовляющих уничтожение денег». Разъясняя этот пункт партийной программы, В. И. Ленин писал, что «РКП будет стремиться к возможно более быстрому проведению самых радикальных мер, подготавливающих уничтожение денег, в первую очередь замену их сберегательными книжками, чеками, краткосрочными билетами на право получения общественных продуктов и т. д...».³ Поскольку в 1929 г. было заявлено именно о начавшемся строительстве социализма, реализация пункта 15 прямо ставилась на повестку дня. Разговоры об отмене денег в самое ближайшее время («через два месяца») можно найти у Ильфа и Петрова в рассказе 1929 г. «Московские ассамблеи» (Т. 2. С. 480).

Насколько это представление было в то время общепринятым, видно из повести М.Зощенко «Возвращенная молодость», где старый профессор Волосатое, готовый принять новую жизнь, не может понять только идею отмены денег:

Он никак не может отрешиться от понятия денег и никак не может понять жизни, в которой деньги не будут играть той роли, какая им предназначена... Он за социализм с деньгами...

¹ Яновская Л. М. Почему вы пишете смешно? М., 1969. С. 84.

² Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. М., / 955. Т. 4. С. 33|.

³ Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 38. С. 100 и 122.

*Это мелочи! — смеется над ним его партийная дочь. — Ведь деньги — это вопрос привычки. Сознание изменит эту привычку. Или ты действительно думаешь с деньгами въехать в социализм?..*⁴

Но отмена денег не состоялась, и в романе, опубликованном в 1931 г., речь, естественно, шла о реальной обстановке тех лет. В этой обстановке миллион рублей, лежавший в чемодане у Остапа Бендера, действительно не мог обеспечить его владельцу признания и могущества. Прежде всего, это были тайные деньги — владеть такими суммами легально советский гражданин уже не мог. Именно поэтому единственная попытка Остапа Бендера поразить собеседников своим богатством оканчивается плачевно. Повторяя сцену из «Графа Монте-Кристо», в которой герой показывает банкиру Данглару миллион и этим потрясает его,⁵ Остап раскрывает чемодан с миллионом перед студентами, едущими с ним в купе международного вагона. Студенты, которым Остап сперва понравился своей общительностью и остроумием, немеют от изумления и спешат покинуть миллионера (с этим, кстати, связаны, по-видимому, слова Остапа в финале: «Графа Монте-Кристо из меня не вышло...»). Эпизод с миллионом часто трактуется как пример посрамления «анархического индивидуалиста» — советские люди не желают иметь с ним ничего общего. В романе сцена эта вовсе не воспринимается как торжество добродетели над пороком. Студенты, очевидно, считают, что перед ними аферист или шпион, во всяком случае, подозрительная личность. Но они не задают естественных в данном случае вопросов, не разоблачают Остапа. Они просто пугаются и ретируются. Их реакция — действительно нормальная реакция советских граждан: нежелание ввязываться в неприятную историю.

Что же именно доказали Ильф и Петров сюжетом «Золотого тельца» в обоих его вариантах?

Последние главы «Золотого тельца» доказывают лишь то, что в обстановке начала 1930-х гг. большое количество советских денег (вопроса о валюте Ильф и Петров не касались — это была особая проблема в те годы) не обеспечивало их владельцу немедленного получения важнейших жизненных благ. Но, прежде всего, если деньги не принесли великому комбинатору (как и его бывшему сподвижнику Шуре Балаганову, получившему от Остапа пятьдесят тысяч) счастья, то это не значит, что они потеряли всякую ценность. И костюм «Европа-А»

⁴ Зоценко М. Возвращенная молодость. Л., 1933. С. 56; ср. с. 49 и 59.

⁵ «Граф Монте-Кристо». Ч. III, гл. VIII «Неограниченный кредит» (ср.: Дюма А. Граф Монте-Кристо. Курск, 1955. Кн. 2. С. 556).

в мельчайшую калейдоскопическую клетку, и бриллиантовый перстень, и лаковые туфли, и роскошные обеды — все это Бендер получил за деньги. Ими же можно было оплатить и путешествие в международном вагоне, и обед в ресторане, и номер в «Гранд-отеле». Правда, здесь уже обнаруживались трудности: номеров в гостинице обычно не оказывалось. Пришлось прибегать к дополнительным мерам, знакомым великому комбинатору по его прежней деятельности: выдавать себя за другого, заранее извещая телеграммами о приезде ответственного лица. В таких случаях номера в гостиницах и места в ресторанах находились, а оплачивать их Остап мог уже наличными.

Роль наличных денег оказывалась, таким образом, ограниченной, но ограничивало ее не отсутствие хороших номеров в гостиницах или мест в ресторанах, а распределение этих или подобных благ безналичным путем. «Получается, следовательно, что деньги потеряли и теряют у нас смысл и значение не потому, что взамен их созданы или создаются какие-то иные мерила и коэффициенты человеческого счастья и удовлетворенности, а единственно в силу специфических условий нашего рынка и нашей обстановки», — ехидно замечал в связи с этим наиболее строгий критик «Золотого тельца» А. Зорич. Зорич, как мы уже знаем, считал книгу Ильфа и Петрова пустым «анекдотом», предвещая ей полное забвение; он был твердо убежден также, что и ситуация, нарисованная в «Золотом тельце», временна и потеряет всякий смысл, когда номеров в гостинице и товаров в магазинах будет сколько угодно, «как это обещает наш завтрашний день».⁶ Как видим,

критик пытался быть не только литературным, но и социальным пророком, а мы и в этом случае можем проверить, сбылось ли его предсказание полвека спустя.

Но в одном отношении А. Зорич был прав. В «Золотом теленке» действительно торжествовали не новые «мерила и коэффициенты человеческого счастья», а лишь специфические условия «рынка» и «обстановки», установившейся с 1930-х гг. Среди предварительных записей к «Золотому теленку» есть и такая: «Ввиду сходных условий с 20-м годом человек заготовил буржуйки, деревянную обувь, саночки, бензиновые и масляные светильники и т.д. Прогорел».⁷ Прогорел, очевидно, потому, что условия не оказались сходными. В 1920 г. бедность была более или менее всеобщей, в стране свирепствовала разруха. В 1929-1930 гг. разрухи не было — нормально ходили поезда с международными вагонами разных классов, сохранялись

⁶ Зорин А. Холостой залп: Заметки читателя // Прожектор. 1933. № 7—8. С. 24.

⁷ Ср.: Яновская Л. М. Почему вы пишете смешно? С. 86.

дорогие гостиницы и рестораны. Но доставались эти блага не всем, а лишь «людям дела», по выражению Зорича. Хорошо, если этими людьми оказывались дирижер симфонического оркестра или ученые-почвоведы: можно согласиться, что они действительно были полезнее для общества, чем миллионер-одиночка. Но чаще всего это были другие — участники многочисленных заседаний и конференций, в необходимости которых авторы явно не были уверены, и командированные представители администрации.

Но если это так, то и финал романа приобретал совсем иной смысл, чем тот, который в нем усматривают обычно и который, видимо, хотели создать авторы.

Как и Павел Иванович Чичиков, главный герой «Золотого теленка» должен был потерпеть крах в своих попытках грандиозного, но не вполне нравственного обогащения. Чичиковские черты Остапа отражаются в одном из двух прозвищ, под которым он постоянно выступает в романе, — «великий комбинатор» (хотя само это выражение взято, очевидно, из популярной в те годы шахматной терминологии). Но Остап явно привлекательнее гладенького Павла Ивановича: он оригинален, остроумен, даже интеллигентен — ни одной из этих черт гоголевский герой не обладал. О своеобразно романтических чертах характера Остапа свидетельствует другое наименование, также многократно встречающееся в «Золотом теленке», — «командор». Термин этот связан прежде всего с автопробегом, к которому пристроилась «Антилопа» подвидом головной машины. «Командором пробега назначаю себя», — заявляет Остап в начале (Т. 2. С. 44), и дальше в романе несколько раз упоминаются «командор пробега», «командорская машина», «командорское место» (Там же. С. 75, 78, 201). Однако в романе есть и еще одна мотивировка этого прозвища, связанного с фразой из предпраздничных военных приказов: «командовать парадом буду я», которую несколько раз произносит (и даже включает в телеграмму, посланную Корейко) Остап Бендер (Там же. С. 74, 116, 233, 246, 347). Не вполне однозначно мотивированное в тексте, слово «командор» тем не менее хорошо гармонировало с образом героя и вызывало у читателя дополнительные, куда более возвышенные ассоциации с «Каменным гостем» и его блоковской версией — «Шагами командора»:

*Пролетает, брызнув в ночь огнями,
Черный, тихий, как сова, мотор,
Тихими, тяжелыми шагами
В дом вступает командор...*

Сцена летящего во тьме ярко освещенного автомобиля (уже у Блока несколько неожиданная для темы «Дон Жуана») появится, как мы увидим, и в «Золотом теленке» (Там же. С. 88-89), но Остап выступает в этой сцене уже не как командор пробега (настоящий командор — в машине), а как его поверженный соперник. И это обстоятельство побуждает читателя ассоциировать героя «Золотого теленка» не столько с командором Дон Альваром, сколько с его дерзким антагонистом. В каком-то смысле Остап может восприниматься как сниженный и пародированный Дон Жуан («Его любили домашние хозяйки, домашние работницы, вдовы и даже одна женщина — зубной техник»).

Подобно пушкинскому Дон Гуану, претендент на роль командора обречен в «Золотом теленке» на поражение. Но само это поражение описывалось и мотивировалось в двух редакциях романа по-разному: в одном случае Остап просто признавал свою неудачу и капитулировал, в другом — решал бежать за границу.

Кто же побеждал великого комбинатора? Сравнивая между собою две версии, исследователи обычно утверждают, что замена более или менее счастливого конца (отказ от миллиона и женитьба на Зосе) явным поражением героя сделана для того, чтобы разоблачить его до конца: «Остап может сделать такой жест — оставить чемодан с миллионом на четверть часа или даже отправить его наркому финансов. Он склонен к картинным поступкам... Но отправить деньги всерьез, отказаться всерьез от миллиона — для него невозможно... Верный рыцарь золотого тельца, он не так скоро примирится с крушением своих иллюзий...»⁸

Так ли это? Вспомним, что происходит в последних главах романа — после того как Остап, разочаровавшийся в сокровище, решает отправить свой миллион народному комиссару финансов. Он встречается с Зосей и вместе с нею наблюдает различные сцены из жизни Черноморска (в первом варианте — в машине Козлевича, во втором — идя по улице). При этом он узнает, что созданное им Черноморское отделение Арбатовской конторы по заготовке рогов и копыт «свернуло на правильный путь»:

Остап быстро посмотрел наискось, в сторону, где летом помещалась учрежденная им контора, и издал тихий возглас. Через все здание тянулась широкая вывеска:

ГОСОБЪЕДИНЕНИЕ РОГА И КОПЫТА

Во всех окнах были видны пишущие машинки и портреты государственных деятелей.

— А меня оттерли, Зося. Слышите, меня оттерли,— говорит Остап.

⁸ Яновская Л. М. Почему вы пишете смешно? С. 102—103.

Далее следует сцена объяснения с Зосей: в первом варианте счастливая, во втором — кончающаяся разрывом.

Окончательная редакция романа завершается тем, что Зося выходит замуж за «секретаря изоколлектива железнодорожных художников» Фемиди и отправляется с мужем в «Учебно-показательный комбинат ФЗУ при Черноморской Государственной академии пространственных искусств», где Остапу не дают обеда, ибо он не член профсоюза.

— Представитель коллектива Фемиди увел у одиночника-миллионера...

И тут с потрясающей ясностью и чистотой Бендер вспомнил, что никакого миллиона у него не имеется (Т. 2. С. 375—376, 378).

Вот кто победил великого комбинатора и побудил его к возвращению назад отправленной было посылки и новой отчаянной попытке реализовать свое сокровище. Силой, одолевшей Бендера, была не «Воронья слободка»: ее он презирал, и, когда один из ее обитателей попробовал «сделать Остапу какое-то въедливое замечание... великий комбинатор молча толкнул его в грудь» (Там же. С. 172). Справился Остап и с единственным в романе подлинным представителем уголовного мира и стяжателем, не вызывающим у читателя, как и у авторов, никакого снисхождения, — подпольным миллионером Корейко. Но «Гособъединение Рога и Копыта» и «Учебно-показательный комбинат» оказались действительно сильнее великого комбинатора, и не одни они. Через весь роман проходит образ другого, столь же безликого, но и могучего учреждения — это «Геркулес», где служит Корейко и с которым приходится близко познакомиться и Остапу.

Тема бюрократии может считаться, пожалуй, одной из важнейших, если не самой важной темой творчества Ильфа и Петрова. Она возникает уже в «Двенадцати стульях», где описывается огромный Дом народов, сосредоточивший в себе множество ведомств и изданий (Дворец Труда на Солянке, где помещались ВЦСПС и газета «Гудок», названная в романе «Станком»). Специально этой теме был посвящен цикл «1001 день, или Новая Шехерезада», ряд рассказов и фельетонов, написанных в самые различные годы.

В чем же сущность проблемы бюрократии у Ильфа и Петрова? Начиная с 1920-х гг. слово «бюрократия» пережило в русском языке любопытную эволюцию. По своему смыслу это франко-греческое словообразование аналогично другим терминам того же типа: «аристократия» — власть знатных, «плутократия» — власть богатых, «бюрократия» — власть «бюро», канцелярии, чиновников. Так его толковали русские словари вплоть до 1930-х гг. — времени появления «Золотого тельца». «Бюрократия» в словаре Ушакова (1933) — это, прежде всего, «система управления, в которой власть принадлежит чиновникам (бюрократам) без всякого соображения с реальными интересами масс», и

лишь в последнюю очередь — «забота о формальностях... в ущерб сущности дела». После 1930-х гг. словари перестраиваются. В них появляется та диалектика, которая помогает справиться и с многими другими трудными словами. Одно дело бюрократия в «буржуазных государствах» и «классовом обществе» — там это «система управления чиновничьей администрации», «привилегированный слой господствующего класса эксплуататоров», и совсем иное у нас: здесь существует не бюрократия, а «бюрократизм», «формальное отношение к служебному делу», «Пренебрежение к существу дела ради соблюдения формальностей».⁹

Ильф и Петров были свидетелями этих семантических сдвигов и стоявших за ними событий. Накануне Октября Ленин объявлял уничтожение старой государственной машины главной задачей революции; в своих последних статьях он признавал, что советский аппарат «в наибольшей степени представляет собой пережиток старого», что дела здесь «печальны, чтобы не сказать отвратительны», и что советское государство есть государство рабочее, но с бюрократическими извращениями. Задуманные Лениным органы контроля сверху явно не достигали цели; при отсутствии подлинной гласности и выборности приходилось прибегать к таким формам «непосредственной демократии», как чистка партии и советского аппарата. Чистки эти должны были происходить открыто, с тем чтобы каждый мог уличить проверяемого чиновника не только в том, что у него «родители не в порядке», но и в том, что он бюрократ, бездельник или мошенник. Что из этого выходило, лучше всего показали Ильф и Петров в небольшом фельетоне «Душа вон», опубликованном под псевдонимом Коперник.¹⁰ Они сравнивали поведение публики при чистке с поведением толпы, наблюдающей уличную Драку.

⁹ См., например: Словарь современного русского языка. М.; Л., 1948. Т. 1; Словарь русского языка С. И. Ожегова (1952 и 1972-1975); Словарь иностранных слов. М., 1979.

¹⁰ Чудак. 1929. № 43.

То, что вы отмежевались от своих родителей, мне известно,— говорит председатель комиссии,— и это не так важно. Расскажите нам, как вы работаете...

— Что же вы молчите, товарищи? — кричит председатель, обращаясь к толпе.— Разве вы не знаете, что это бюрократ?

Толпа отлично знает. Но молчит. На всякий случай. Мало-помалу все расходятся. Бюрократ остается на службе...

По первоначальному варианту вторая часть «Золотого тельца» должна была начинаться с того, что Бендер и Балаганов «попадают на чистку. Чистится ангельский гражданин. Оказывается — Корейко...».¹¹ И действительно. Корейко едва ли мог бояться чистки. В его социальном происхождении не было явных дефектов — он не был сыном графа или служителя культа. А о скрытых делах Александра Ивановича не стали бы говорить ни его высокопоставленные контрагенты — глава «Геркулеса» Полыхаев и Скумбриевич, ни напуганный бухгалтер Берлага. В последних главах «Золотого тельца» вновь появляется тема чистки: Скумбриевича разоблачают как бывшего совладельца торгового дома «Скумбриевич и сын». Но о мошеннических делах его и Полыхаева нет и речи, и нет никаких оснований верить, что в самой системе деятельности «Геркулеса» что-нибудь изменится.

Чем более монолитной становилась политическая власть, тем менее реальным оказывался контроль снизу — борьба со всевластием чиновников. Слишком резкие выступления против «проклятых бюрократов» вызвали подозрение в сочувствии недавно разгромленной левой оппозиции, считавшей именно «аппаратчиков» главными врагами революции. Когда Маяковский опубликовал пьесу «Баня», рапповскому критику В. Ермилову сразу же послышалась в ней «очень фальшивая "левая" нота, уже знакомая нам — не по художественной литературе». «Нестерпимо фальшивым» представлялось Ермилову то обстоятельство, что крупный начальник Победоносиков, человек «с боевым большевистским прошлым», оказывался у Маяковского «хамом», «мерзавцем» и мог даже провоцировать «жену на самоубийство».¹² Ответить Ермилову Маяковский не смог (стихотворная листовка против Ермилова, которую Маяковский предполагал выпустить во время постановки пьесы в театре Мейерхольда, не была разрешена), и история эта произвела на поэта столь сильное впечатление, что он не забыл о ней в последние

¹¹ Яновская Л. М. Почему вы пишете смешно? С. 79.

¹² Ермилов В. О настроениях мелкобуржуазной «левизны» в художественной литературе // На лит. посту. 1930. № 4. С. 10.

минуты жизни, выразив в своей предсмертной записке сожаление, что не смог «доругаться» с Ермиловым.¹³

Серьезные разговоры о бюрократии как об опасной общественной силе сменялись в печатных органах, где работали Ильф и Петров, дидактическими поучениями и «юморесками» против «бюрократизма», против неких комических фигур, украшенных торчащими из карманов авторучками и пренебрегающих «интересами дела». На первый взгляд, может показаться, что и в «Золотом теленке» речь идет о «бюрократизме» в новом, установившемся с 1930-х гг. смысле этого слова: о плохой работе учреждений, медлительности, волоките, отдельных злоупотреблениях. Действительно, Полыхаев и Скумбриевич принадлежат к тому виду ответственных работников, которых невозможно застать на месте: «они только что здесь были» и «минуту назад вышли»; немецкий специалист, выписанный из-за границы, изнемогает от отсутствия работы и не может поймать Полыхаева. «Бюрократизмус! — кричал немец, в ажитации переходя на трудный русский язык...»

Это и вправду русский язык, русское понимание международного термина, установившееся в те годы. Слово «бюрократизм» так же обрусело, как до него другое иностранное по происхождению слово — интеллигенция. Ильф и Петров отлично понимали и специфический смысл такой трактовки бюрократизма, и подлинную ценность тех мер, которые предлагались для борьбы с ним:

Остап молча взял европейского гостя за руку, подвел его к висевшему на стене ящичку для жалоб и сказал, как глухому:

— Сюда! Понимаете? В ящик. Шрайбен, шриб, геширибен. Писать. Понимаете? Я пишу, ты пишешь, он пишет, она, оно пишет. Понимаете? Мы, вы, они, оне пишут жалобы и кладут в сей ящик. Класть! Глагол класть. Мы, вы, они, оне кладут жалобы... И никто их не вынимает. Вынимать! Я не вынимаю, ты не вынимаешь... (Т. 2. С. 215).

— Что за банальный, опротивевший всем бюрократизм! — говорит Остап, противопоставляя «Геркулесу» собственное учреждение. — В нашем Черноморском отделении есть свои слабые стороны... но такого, как в «Геркулесе»... (Там же. С. 211).

Ну, а если бы бюрократизм Полыхаева не был «банальным»? Если бы он исправно посещал свой рабочий кабинет? Ильф и Петров дали ответ на этот вопрос. Они предусмотрели вариант, при котором Полыхаев мог отбиться от «категории работников, которые

¹³ См.: Маяковский В. Поли. собр. соч.: В 13 т. М., 1958. Т. 11. С. 350; 1961. Т. 13. С. 138.

"только что вышли", и примкнуть к влиятельной группе "затворников", которые обычно проникают в свои кабинеты рано утром, выключают телефон и, отгородившись таким образом от всего мира, сочиняют разнообразнейшие доклады» (Там же. С. 219). Читатель отлично понимает, что и при таком варианте работа Полыхаева и всего возглавляемого им учреждения не принесла бы ни малейшей пользы остальному миру. Реальное производство, куда в конце концов Полыхаев отправляет жаждущего работы немецкого специалиста (немец с изумлением пишет невесте, что в «Геркулесе» это считается наказанием и называется «sagnat w butilku!»), как и темные дела Полыхаева и Скумбриевича, — это только индивидуальные и случайные дополнения к основной деятельности «Геркулеса». Подлинное его дело — борьба за занимаемое помещение и обеспечение жизненных благ для своих ответственных, полуответственных и мелких сотрудников. От конторы «Рога и Копыта», созданной Остапом для легализации собственной деятельности, «Геркулес» отличается только «банальным» бюрократизмом и размерами, такими, которые впоследствии приобретет преобразенное «детище Остапа» — «Гособъединение Рога и Копыта».

Тема бюрократии у Ильфа и Петрова — это не тема «бюрократизма», плохой работы отдельных бюрократов в ущерб «интересам дела», а тема «власти бюро», бесконечных и бесполезных учреждений. Уже в фельетоне «Гелиотроп» из «Новой Шехерезады», переизданном потом авторами в сборнике рассказов, фигурирует «представительство тяжелой цветочной промышленности» в Москве, двум сотрудникам которого абсолютно нечего делать. Но так как они оба дорожат этой привольной службой, то симулируют друг перед другом старательность, засиживаясь до ночи и даже до утра. В какой-то момент они не выдерживают, признаются друг другу во всем и договариваются отныне, «не кривя душой, играть на службе в шахматы, обмениваясь последними анекдотами». Но, вернувшись домой, каждый из них решает, что его коллега обременен специальными полномочиями и

играет с ним «адскую игру». Они возвращаются на работу и «до сих пор продолжают симулировать за своими желтыми шведскими бюро».¹⁴

Вскоре был написан и другой рассказ, «На волосок от смерти», — о двух журналистах, посланных для сочинения художественного очерка в сумасшедший дом.

¹⁴ Ильф И., Петров Е. Как создавался Робинзон. 3-е изд., доп. М., 1935 С. 155-157.

В заведении, куда они приходят, царит тяжелая атмосфера. «Новый-то — буен!.. Одно слово — псих... — говорит швейцар сиделке. — Все пишет. Каракули свои выводит». «Он из меня все жилы вытянул, — рассказывает один больной другому. — И такая меня охватывает тоска, так хочется подальше из этого сумасшедшего дома...» «Против меня плетутся интриги... И каждое утро я слышу, как в коридоре повторяют мою фамилию...» — говорит другой (Т. 2. С. 424-426). Выйдя на улицу, журналисты обнаруживают, что попали не в сумасшедший дом, а в обыкновенное учреждение — трест «Силостан», но за недостатком времени описывают все увиденное в очерке «В мире душевнобольных», вызываяшем одобрительный отзыв профессора-психиатра Титанушкина».¹⁵

Такое же изображение советского учреждения и всего мира бюрократии как царства абсурда и в сочинениях М. Булгакова: в «Дьяволиаде», оказавшей, возможно, влияние на «Двенадцать стульев»,¹⁶ а затем и в «Мастере и Маргарите», начатом, как и «Золотой теленок», в 1929 г. Само собой разумеется, что такое произведение, как «Мастер и Маргарита», может рассматриваться с разных точек зрения. Нас интересует здесь лишь одна тема «Мастера и Маргариты», сближающая эту книгу с «Золотым теленком», — сатирическая. В изображении бюрократии Булгаков так же близок Ильфу и Петрову, как и в изображении «Вороньей слободки». В «Мастере и Маргарите» есть свои «Геркулесы» и «Учебно-показательные комбинаты» — Акустическая комиссия, Зрелищная комиссия, МАССОЛИТ. Столь же далекие от какого бы то ни было реального дела, они совершенно идентичны учреждениям Ильфа и Петрова. Если у Булгакова пустой костюм временно унесенного нечистой силой председателя Зрелищной комиссии Прохора Петровича налагает резолюции, которые затем вернувшийся на свое место председатель полностью одобряет, то у Ильфа и Петрова «резиновый Полыхаев» — набор резиновых факсимиле, которые в отсутствие начальника пускает в ход его секретарша Серна Михайловна (состоящая, кстати, со своим патроном

¹⁵ В журнале «Огонек» (1930. № 20), где этот рассказ был впервые напечатан под названием «Я вас не укушу», к нему была присоединена смягчающая смысл концовка: «Автор со своей стороны присоединяется к мнению проф. Титанушкина, так как хорошо знает, что в "Силостане" не было чистки». Однако при первом же переиздании (в сборнике «Как создавался Робинзон») авторы эту явно чужеродную концовку убрали.

¹⁶ Ср.: Чудакова М. О. Архив М. А. Булгакова: Материалы для творческой биографии писателя // Зап. Отдела рукописей Гос. б-ки СССР им. В. И. Ленина. М., 1976. Вып. 37. С. 46-47.

в таких же отношениях, как и секретарша Прохора Петровича Алиса Ричардовна), — вполне заменяет настоящего. Егор Скумбриевич использует «взаимный и всесторонний обман, который незаметно прижился в "Геркулесе" и почему-то носил название общественной нагрузки» (эта тема отражена в рассказе Ильфа и Петрова «Здесь нагружают корабль», — Т. 3. С. 7—12). Тем же делом занимается в «Мастере и Маргарите» заведующий городским филиалом Зрелищной комиссии.

В «Мастере и Маргарите» изображена главным образом одна категория бюрократии — бюрократы, ведающие искусством: в МАССОЛИТе легко угадывается РАПП (а может быть, и другая аналогичная писательская организация, в том числе и созданный после 1932 г. единый Союз советских писателей). Тема сращения искусства и бюрократии, появления писателей канцеляристов и бюрократов была столь же близка Ильфу и Петрову, как и Булгакову. Деятели литературы, подобные Ухудшанскому или «писателю в детской курточке», вдохновляющемуся мыслью, что «раз бумага существует, то должен же на ней кто-то писать», фигурируют не только в «Золотом теленке». В фельетоне «Пьеса в пять минут» изображено ударничество и социалистическое соревнование среди драматургов — кто быстрее напишет пьесу (Т. 2. С. 492—495). Еще резче и острее выражена тема писателя-бюрократа, способного творить только после соответствующей резолюции и только в жанре протокола, в рассказе «Великий канцелярский шлях» (Т. 3. С. 137—143). Впоследствии фельетоны на эту тему были объединены писателями (в книге «Как создавался Робинзон») в циклах «Под сенью изящной словесности» и «Искусство для Главискусства».

Заслуживает внимания и еще одно обстоятельство: Булгакова, как и Ильфа и Петрова, интересовала не только бюрократия всех видов сама по себе, но и ее социальная функция, те блага, которые достаются этому общественному слою. К теме этой мы еще обратимся, а пока отметим, что литераторы из «Мастера и Маргариты» недаром так льнут к своему МАССОЛИТу: с ним неразрывно связаны «Дом Грибоедова» с его роскошным рестораном (за которым стоит реальный Дом Герцена) и дачи в Перельгине (Переделкине), заселяющемся в те годы. И именно это обстоятельство возвращает нас к вопросу, поставленному в начале главы: кто победил Остапа Бендера? Номера в гостинице (и связанные с ними места в ресторане), которые так трудно было получить Остапу Бендеру и другим обыкновенным людям, исправно бронировались для Полыхаева и Скумбриевича, ездивших в Москву по своим служебным делам, или для служащих литераторов и деятелей «искусства для Главискусства». Общество, не желавшее, чтобы Бендер или Паниковский жили за его счет, позволяет это Полыхаеву, Скумбриевичу и другим. Но если это так, то должно ли поражение великого комбинатора в финале «Золотого тельника» по-настоящему радовать читателей романа?

Мы уже отмечали одну парадоксальную особенность построения «Золотого тельника»: сюжет романа как будто ведет к краху «анархического индивидуума»; а между тем этот «анархический индивидуум» — самая привлекательная фигура в романе и едва ли не во всей советской литературе за многие годы.

Сюжетно Остап обречен даже после победы над своим соперником, Александром Ивановичем Корейко:

...теперь я команду парадом! Чувствую себя отлично,— хвастается Остап Шуре Балаганову после получения миллиона. Последние слова он произнес нетвердо.

Парад, надо сказать правду, не ладился, и великий комбинатор лгал, утверждая, что чувствует себя отлично (Т. 2. С. 347).

Неудача на том пути, по которому Остап следовал за Корейко, могла бы считаться заслуженной и вызвать у читателя что-то вроде злорадства. Но этого не происходит. Поражение, понесенное персонажем в ходе сюжета, далеко не всегда предопределяет наше читательское отношение к нему. Дон Гуан у Пушкина терпит заслуженное наказание за свой дерзкий и кощунственный вызов статуе, и все же мы испытываем непреодолимую симпатию к герою. Нечто подобное происходит и с Остапом Бендером. Он не только протагонист сюжета; он еще и образ, вызывающий симпатии. Почему? Прежде всего потому, что он — веселый и умный человек, вместе с нами наблюдающий общество, сложившееся в начале 1930-х гг., и вместе с нами смеющийся над этим обществом.

Такой образ Остапа Бендера сложился у Ильфа и Петрова не сразу. Остап в «Двенадцати стульях» еще не такой, как в «Золотом тельнике»: он грубее и примитивнее, это авантюрист по преимуществу, во многом схожий с Аметистовым из «Зойкиной квартиры» Булгакова.¹⁷ Подобная эволюция в образе центрального персонажа — нередкое явление в мировой литературе: вспомним, например, как постепенно изменялись Пиквик и Самуэль Уэллер в диккенсовском романе, Гек Финн в романах Марка Твена.

¹⁷ Ср.: Рудницкий К.-Л. Михаил Булгаков // Вопросы театра. М., 1966. С. 135; Лихачёв Д. С. Литературный дед Остапа Бендера // Страницы истории русской литературы. К 80-летию чл.-кор. АН СССР Н.Ф.Бельчикова. М., 1971. С. 245-248.

Уже первые критики «Золотого тельника» обратили внимание на привлекательность образа великого комбинатора, но это казалось им недостатком романа, фальшивым «художественным приемом», следствием «интеллигентского гуманизма» авторов. Этот упрек повторялся и после возрождения «Золотого тельника» в 1956 г. «Некоторое увлечение великим комбинатором... стало причиной многих недостатков романа», — заметил А. Вулис, и это высказывание приводит на память предложенную Ильфом формулу рецензии на Библию: «Наряду с блестящими местами есть идеологические срывы, например, автор призывает читателя верить в Бога» (Т. 5. С. 214). Увы, всякий поклонник «Золотого тельника» любит и командора, и эта привязанность еще опаснее, чем вера в Бога или любовь ильфовского «блудного сына» к своему отцу-раввину.

Первым, кто обратил внимание на органичность образа Остапа в «Золотом тельнике», был критик В.Саппак, писавший в 1960-х гг. «Бескорыстно» борясь с Корейко за миллион, сам командор поразительно широк, не умеет и не любит считать деньги и, попав наконец в поезд, идущий на

Восточную магистраль, не задумывается прыгнуть с отходящего вагона для того, чтобы отдать покинувшим его «антилоповцам» последние рубли. Он не только благороднее и привлекательнее своих компаньонов по путешествию или жильцов «Вороньей слободки», он куда умнее и писателей из литерного поезда, и своих спутников по международному вагону — студентов-практикантов.

Именно ирония Остапа скрашивает для читателей «Золотого тельца» неприглядную картину нарисованного в романе мира. В этом смысле его функции аналогичны функциям того единственного «честного лица», присутствие которого в «Ревизоре» отстаивал Гоголь: «Да, было одно честное, благородное лицо, действовавшее в ней во все продолжение ее. Это честное, благородное лицо был — смех. Смех значительнее и глубже, чем думают».¹⁸ Но в пьесе Гоголя (как и в «Мертвых душах») смех не был введен внутрь сюжета, он существовал вне его; Хлестаков невольно помогал осмеянию чиновников уездного города, но сам не способен был по-настоящему понять случившееся. У Ильфа и Петрова гоголевский смех персонифицирован, он воплощен в Остапе Бендере. Присущая командору «способность видеть реальную цену вещей», «молниеносно реагировать на пошлость», его «абсолютная реакция на халтурщиков и бюрократов, собственников и идиотов, вот эта способность к критике

¹⁸ Гоголь Н.В. Поли. собр. соч.: В 14 т. М., 1949. Т. 5. С. 169.

делом и словом, вот этот, не побоимся сказать, талант высмеивания, вышучивания, пародирования всего, что действительно достойно быть высмеянным, и составляет тот огромный положительный заряд, который несет Остап Бендер», — справедливо замечал В.Саппак. Именно в этом смысле, как нам представляется, критик и называл Остапа «отрицательным героем, выполняющим положительные функции».¹⁹

— Так кто ж ты, наконец?

— Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.

Эти слова Мефистофеля у Гёте служат эпиграфом к «Мастеру и Маргарите». Образ Остапа Бендера, как мы знаем, однажды уже сопоставлялся с персонажами булгаковского романа — в книге Олега Михайлова. Но Михайлов делал это с единственной целью противопоставить «денационализированных» одесситов Булгакову. А между тем сопоставление это может быть сделано и всерьез. В романе Булгакова действуют персонажи — и притом весьма важные, функции которых аналогичны функциям командора в «Золотом тельце». Это Воланд него свита. Остап, правда, не так всесилен (и не так беспощаден), как «черный маг» и его помощники, но отношение его к Корейко и Полыхаеву такое же, как отношение воландовской свиты к Лиходееву и Семплеярову. «...Лично мне вы больше не нужны. Вот государство, оно, вероятно, скоро вами заинтересуется», — с великолепным презрением заявляет Остап разоблаченному Полыхаеву (Т. 2. С. 224). Конечно, великий комбинатор — не потустороннее существо, а человек нашего мира, но некоторое мрачное величие (чуть пародийное) присуще и ему. Вот каким он представляется Шуре Балаганову во время первой беседы в ресторанном саду: «Перед ним сидел атлет с точеным, словно выбитым на монете лицом. Смуглое горло перерезал хрупкий белый шрам. Глаза сверкали грозным весельем» (Там же. С. 29). Здесь вспоминается даже не могущественный гаер Коровьев, а сам Воланд.

Таким образом, под внешним сюжетом в «Золотом тельце» обнаруживается другой, построенный на реальной оценке действующих лиц. История Остапа Бендера не имеет подлинного конца — такого, который казался бы читателю естественным и гармоничным. Справедливо ли, что Бендер, с его «талантом высмеивания, вышучивания всего того, что должно быть высмеянным», «переквалифицировался

¹⁹ Саппак В. Не надо оваций! // Вопросы театра. М., 1965. С. 122-123.

в управдомы», получая должность Никанора Ивановича из «Мастера и Маргариты», а деятели типа Полыхаева или Ухудшанского продолжали процветать? Никакой «сермяжной правды» читатель в этом не ощущает.

Если формально в «Золотом тельце» здоровая советская действительность торжествовала над командором, то моральным победителем в романе оказывался скорее Остап Бендер. Именно это обстоятельство постоянно ставилось в упрек авторам «Золотого тельца»; оно же, по всей вероятности, и было главной причиной трудностей, возникших при издании романа. В 1931 г.

«Золотой теленок» был напечатан в журнале «30 дней»; уже во время этой публикации начались разговоры об опасном сочувствии авторов Остапу Бендеру (о том же писал, как мы знаем, и Луначарский). По словам одного из современников, в те дни «Петров ходил мрачный и жаловался, что "великого комбинатора" не понимают, что они не намеревались его поэтизировать».²⁰ В декабре 1931 г. вышел в свет № 12 «30 дней» с окончанием романа; наступила томительная пауза. Что происходило в 1932 г.? Об этом мы узнаем из до сих пор не опубликованного письма А.А.Фадеева. Не получая разрешения на печатание книги, Ильф и Петров обратились к А. А. Фадееву как одному из деятелей РАППа. Тот ответил, что сатира их, несмотря на остроумие, «все-таки поверхностна», что описанные ими явления «характерны главным образом для периода восстановительного» — «по всем этим причинам Главлит не идет на издание ее отдельной книгой».²¹ Спустя два года, на Первом съезде писателей, М.Кольцов напомнил (ссылаясь на присутствовавших свидетелей), что «на одном из последних заседаний покойной РАПП, чуть ли не за месяц до ее ликвидации, мне пришлось при весьма неодобрительных возгласах доказывать право на существование в советской литературе писателей такого рода, как Ильф и Петров, и персонально их...».²² РАПП был ликвидирован в апреле 1932 г., значит, в начале 1932 г. право на существование Ильфа и Петрова еще отрицалось. Действительно, в феврале 1932 г. группа сотрудников журнала «Крокодил», указывая, что «за последние годы, при обострении классовой борьбы, в среде мелкобуржуазных сатириков начался процесс разложения», заявляла, что Ильф и Петров «находятся в процессе блужданий и, не сумев найти правильной ориентировки, работают вхолостую»;

²⁰ Яновская Л. М. Почему вы пишете смешно? С. 101.

²¹ Письмо А.А. Фадеева от 19 февраля 1932 г. (архив А.И.Ильфа).

²² Первый Всесоюзный съезд советских писателей: Стенограф, отч. М., 1934. С. 221.

соавторы противопоставлялись в этом отношении В. Катаеву и М. Зощенко, которые «добросовестно пытаются перестроиться».²³ Ардов вспоминал (со ссылкой на Ильфа), что изданию «Золотого теленка» помог Горький, который, «узнав о затруднениях, обратился к тогдашнему наркому просвещения РСФСР А. С. Бубнову и выразил свое несогласие с гонителями романа. Бубнов, кажется, очень рассердился, но ослушаться не посмел, роман сразу был принят к изданию».²⁴ Следовательно, и Бубнов был против; почему же он не посмел «ослушаться»? Важнейшую роль сыграла здесь, очевидно, ликвидация РАППа, отразившая очередную недолговременную «оттепель» (незадолго до этого в Художественном театре по личному распоряжению Сталина была возобновлена запрещенная в 1930 г. постановка «Дней Турбиных»).

23 августа 1932 г. Ильфу и Петрову было предоставлено место для пародийного интервью на странице «Литературной газеты», специально посвященной обоим писателям (под шапкой «Веселые сочинители»). «Правда ли, что ваш смех это не ваш смех, а их смех?» — спрашивал вымышленный интервьюер. «Не будьте идиотом!» — отвечали авторы цитатой из Бернарда Шоу, но самый вопрос и его опровержение были включены в «интервью» не случайно. В конце года издание «Золотого теленка» было подписано к печати, а в начале 1933 г. роман вышел в свет. Но вышел он как бы условно — с важными оговорками. Само собой разумелось, что история великого комбинатора не окончена. «На авторах лежит большая ответственность», — заявлял Луначарский и предостерегал их против того, чтобы оставить Остапа «плутом и повести его далее по линии разрушительного авантюризма».²⁵ Диалогия (или, как иронически выражались авторы, «двулогия») должна была превратиться в трилогию, благополучно сводящую все концы.

Мы уже неоднократно отмечали сходство в замысле эпопеи о великом комбинаторе с замыслом «Мертвых душ»: и там и здесь в центре талантливый авантюрист, чье путешествие по России дает повод показать всю страну. Можно думать, что и композиционное построение эпопеи должно было быть аналогичным гоголевскому плану — трехчастная эпопея с постепенным углублением темы и созданием, так сказать, дантовского «Рая» для всей трилогии.

²³ Мануильский М., Вельский Я., Доро-Митницкий С. и др. Сатира на социалистической стройке. Слово имеет «Крокодил» // Журналист. 1932. 29февр. №6. С. 10.

²⁴ Воспоминания об Илье Ильфе и Евгении Петрове. М., 1963. С. 209.

²⁵ 30 дней. 1931. №8. С. 66.

Сходной оказалась и судьба обеих эпопей. «Мертвые души», как известно, были разрешены к печати с большими затруднениями: первоначально первый том был запрещен московской цензурой,

и лишь вмешательство Бенкендорфа и царя привело к его выходу в свет (с небольшими купюрами). Такой же была и судьба «Ревизора» (несколькими годами ранее): «избранная публика» увидела в комедии «невозможность, клевету и фарс» и вынуждена была изменить свое отношение лишь тогда, когда убедилась в благосклонности государя к «пьеске». Из всего этого вовсе не следует делать вывод о либерализме Николая I или о том, что художественная литература не подвергалась при нем стеснениям. В те же самые годы не были допущены на сцену «Горе от ума», где Чацкому противостоял московский вельможа Фамусов, и «Борис Годунов», изображающий преступного царя. Но провинциальные чиновники из губернского города N и захолустный городничий официальным иммунитетом не обладали — их можно было высмеивать.

Теми же соображениями определилось, по-видимому, и допущение к печати «Золотого тельенка». «Мы не можем без самокритики. Никак не можем, дорогой Алексей Максимович. Без нее неминуемы застой, загнивание аппарата, рост бюрократизма, подрыв творческого почина рабочего класса», — писал Сталин Горькому в 1930 г.²⁶ В какой степени эти слова были простым лицемерием, и в какой — мистифицированным отражением реальной политики, мы попытаемся ответить в дальнейшем изложении, а пока укажем только, что вождь народов, как и самодержец всероссийский, строго дозировал нормы допущенной самокритики, ограничивая ранг подлежащих осмеянию лиц и объем критических обобщений.

Сатира необходима, но она не должна подрывать основные устои власти и, главное, должна быть оптимистической и жизнеутверждающей. Гоголь был сатириком, но он был также патриотом и навсегда покорила сердца верных сынов отечества тройкой из «Мертвых душ»: «...летит все, что ни есть на земли и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства». Давно уже ехидные люди — до революции В.В.Розанов, а в более позднее время А. Белингов и В. Шукшин — обратили внимание на то, что внутри этой чудной тройки сидит Павел Иванович Чичиков, но это не смущало ее поклонников: пусть Чичиков, лишь бы другие народы «посторанивались». Ильф и Петров не только заимствовали у Гоголя образ дороги; они дали свой вариант гоголевской тройки. Это — автопробег,

²⁶ Сталин И.В. Соч. М., 1949. Т. 12. С. 173.

настоящий автопробег, а не тот, который имитировали жулики — пассажиры «Антилопы»:

Полотнища ослепительного света полоскались на дороге. Машины мягко скрипели, пробегая мимо поверженных антилоповцев. Прах летел из-под колес. Протяжно завывали клаксоны. Ветер метался во все стороны. В минуту все исчезло, и только долго колебался и прыгал в темноте рубли-«новый фонарик последней машины».

Настоящая жизнь пролетела мимо, радостно трубя и сверкая лаковыми крыльями... (Т. 2. С. 88-89).

Сцена автопробега в «Золотом тельенке» не имеет столь прочных шансов на бессмертие, как гоголевская тройка: в ней нет самоутверждения перед «другими народами». Но критики, начиная с Луначарского, ее дружно одобрили — за оптимизм и противопоставление Оста-пу Бендеру «настоящей жизни». Заметим, кстати, что в отличие от Гоголя Ильф и Петров избежали некоторой двусмысленности образа, не поместив своего жулика внутрь прекрасного экипажа, а оставив его снаружи — в пыли.

Однако и этот вариант оптимистической антитезы сатирической теме заключал в себе важный пробел. Кто же все-таки сидит в автомашинах, олицетворяющих «настоящую жизнь»? В «Золотом тельенке» упоминаются имена участников подлинного автопробега, занимающих командорскую машину, — некий Клептунов, профессор Песочников, товарищ Нежинский и писательница Вера Круц (Там же. С. 75). Увы, имена эти ничего не говорят читателю. Фамилия Клептунова напоминает интеллигентным читателям греческий глагол «клепто» (воровать) и хорошо известное слово «клептоман». Вера Круц больше всего напоминает Веру Инбер, землячку авторов, к которой и они, и другие коллеги обычно относились не очень серьезно. А профессор Песочников? Заблуждающийся ли это интеллигент из сочинений Олеси или ученый, прочно занявший место в социалистическом строительстве вроде леоновского Скутаревского (которого читатели непочтительно именовали «Скукаревским»)? Все это оставалось неизвестным.

А между тем именно от этого зависело разрешение сомнений, встававших еще в 1932 г.: что означает смех Ильфа и Петрова — «наш» ли это или «их» смех? Авторы искренне радовались появлению новой техники, но они, видимо, еще не решили, кто правит этой техникой, что стоит за «железом», которое тыкали в глаза свободомыслящему австрийскому корреспонденту пассажиры литерного поезда, идущего на Турксиб. Ответить на этот вопрос — прежде всего для самих себя — они и должны были в последующие годы.

Глава V

«КЛООП» И «ПОДЛЕЦ»

С конца 1932 г. положение Ильфа и Петрова в литературе упрочилось. В 1933 г. вслед за «Золотым теленком» вышел двумя изданиями сборник их рассказов «Как создавался Робинзон» (в 1935 г. он был переиздан еще раз), в том же году они написали водевиль «Сильное чувство» и комедию «Под куполом цирка», поставленную в мюзик-холле, а потом и в кино. Фельетоны соавторов, как мы уже знаем, печатались в эти годы не только в «Литературной газете» и «Крокодиле», но и в «Правде».

Почему их там печатали? Заслуживают внимания соображения по аналогичному вопросу, высказанные И. Ефимовым, обратившимся к материалам советских газет 1970-х гг. и встретившимся со сходным явлением — с весьма острой самокритикой на страницах официальной печати. И. Ефимов сумел отыскать убедительные данные о советской экономике в «Правде», «Литературной газете» и других подобных органах. Почему они были опубликованы? «Любая система пропаганды, для того чтобы действовать успешно, должна иметь, кроме набора догматов и набора лозунгов, еще и набор готовых ответов на те естественные вопросы и недоумения, которые будут возникать в человеческом сознании о расхождении догматов с реальностью», — заметил Ефимов. Он высказал мнение, что критика реальных недостатков — явление новой, послесталинской эпохи, отличающее ее от прошлых времен, когда все недостатки ставились в вину классовым врагам — нэпманам, кулакам, вредителям, диверсантам: вместо врагов и вредителей виновниками хозяйственных неурядиц стали теперь считаться «другие персонажи — отдельный безответственный и неумелый и даже (бывают и такие!) нечестный работник, в худшем случае — отдельное предприятие, учреждение, ведомство».¹ Это справедливо, но отмеченное явление имело куда более давнюю историю, чем это представляется автору. И при Сталине виновниками неурядиц объявлялись не только враги народа и шпионы, но и отдельные нерадивые работники — кампании по разоблачению врагов перемежались кампаниями самокритики.

К 1933 г. раскулачивание в основном закончилось; кампания по борьбе с врагами народа была еще впереди. Однако положение в стране отнюдь не было благополучным: свирепствовал голод, принявший особенно острые формы на Украине, но захвативший и центральную Россию. В городах была установлена (еще с 1930 г.) жесткая и сложная система распределения продовольствия и вновь введены отмененные нэпом карточки (именовавшиеся «заборными книжками»). В этой обстановке необходима была какая-то идеологическая отдушина: в 1932 г., как мы уже знаем, был ликвидирован РАПП и несколько либерализована официальная литературная политика.

В 1934 г. общее положение с продовольствием в стране несколько улучшилось — в конце этого года была отменена карточная система. И хотя условия жизни населения не так уж сильно изменились (колхозники по-прежнему зарабатывали своим трудом скудные «трудодни», а в городах сохранилась сложная сеть «закрытых распределителей», закрытых столовых и литерного питания), новая счастливая эпоха была провозглашена торжественно и всенародно. «...Социалистическая система является теперь единственной и монопольной системой в нашей промышленности... Крестьянство окончательно и бесповоротно стало под красное знамя социализма...» — заявил Сталин в январе 1934 г. XVII съезду партии — так называемому съезду победителей.² В сталинском «Кратком курсе» «победа социализма во всех областях народного хозяйства» была датирована еще более ранним временем — январем 1933 г.³ И постепенно к этому утверждению привыкли и приняли его как бесспорный факт и сами граждане новосозданного общества, него сторонники за рубежом, и даже значительная часть противников системы, хотя и с иной, прямо противоположной оценкой («вот наделали делов эти бандиты Маркс и Энгельс!»).

Социализм был провозглашен, но знаменитая впоследствии теория обострения классовой борьбы при социализме еще не существовала — ей предстояло появиться лишь три года спустя. В этой обстановке усиление дозволенной самокритики, осуждение отдельных лиц, явлений

¹ Ефимов И. Без буржуев. Франкфурт, 1979. С. 20—21.

² Сталин И. В. Вопросы ленинизма. М., 1939. С. 440, 443 и 450.

³ История ВКЩБ): Краткий курс. М., 1938. С. 305.

и учреждений, нарушающих гармонию наилучшего из всех возможных обществ, приобретали особое значение.

Такая задача ставилась перед писателями и на Первом всесоюзном съезде 1934 г., ставшем кульминационным моментом единения творческой интеллигенции с партийным руководством. Именно на этом съезде Олеша заявил, что к нему «вернулась молодость», ибо «люди, которые строили заводы, герои строительства, те, которые коллективизировали деревню, создали государство, социалистическую страну, родину». После этого заявления Юрию Карловичу была оказана высокая честь — поручено огласить приветствие съезда Центральному Комитету партии.⁴ Другой беспартийный деятель литературы, автор еще не законченного, но уже популярного романа «Капитальный ремонт» Л.Соболев, стяжал еще больший успех, заявив: «Партия и правительство дали нашему писателю решительно все. Они отняли у него только одно — право плохо писать...»⁵

Но первый съезд писателей вовсе не был сплошной идиллией. Как раз на этом съезде, в основополагающем докладе Горького, был провозглашен новый, обязательный для советской литературы метод — «социалистический реализм». Сурово осуждались писатели, чуждые советской идеологии. М.Булгаков упоминался исключительно в отрицательном контексте (доклад В. Кирпотина о драматургии, выступление Н. Погодина).⁶

Отнюдь не были фаворитами съезда и Ильф с Петровым. Напомнив о том, как он защищал обоих сатириков от «покойной РАПП», Михаил Кольцов не упустил случая сделать им дружеское внушение: «Книги "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок" имели большой и заслуженный успех в нашей стране и за границей. Но в этих двух романах сатириками отражена почти исключительно потребительская сторона советской жизни. Но Ильф и Петров не проникли еще со своей сатирой в сферу производства, т. е. в ту сферу, где советские люди проводят значительную часть своей жизни...»⁷

Итак, двум сатирикам давалось вполне определенное задание — бичуя порок, рисовать в противовес ему настоящую, светлую жизнь, сосредоточенную в сфере социалистического производства. Но готовы ли они были выполнить это задание?

⁴ Первый Всесоюзный съезд советских писателей: Стенограф, отч М 1934 С. 234-236, 672.

⁵ Там же. С. 203-204.

⁶ Там же. С. 380, 391.

⁷ Там же. С. 222-223.

В отличие от «Миши» — Булгакова, Ильф и Петров были согласны не только на крестьянскую реформу 1861 г., но и на социализм. Однако представление об этой общественной системе, существовавшее у них до конца 1920-х гг., всерьез отличалось от той реальности, которая вложилась в 1933—1934 гг. Как и большинство людей XIX и первой трети XX в., проявлявших интерес к идее социализма, Ильф и Петров подразумевали под этим словом такой строй, при котором не только не будет частной собственности, но вместе с тем «вмешательство государственной власти в общественные отношения становится мало-помалу излишним и само собой засыпает».⁸ Социалистический строй рассматривался как наиболее свободный из всех общественных укладов, известных человечеству; с ним несовместимы такие явления, как цензура («призрачны все свободы, если нет свободы печати...»),⁹ существование денег и материального неравенства, социальные привилегии, уголовные преступления, тюрьмы. Но возможно ли достигнуть таких благ и свободе одной, сравнительно отсталой стране, окруженной враждебным капиталистическим миром?

Именно этот вопрос был важнейшим предметом межпартийных дискуссий 1920-х гг. — споров о возможности построения социализма в одной стране — Советском Союзе — и о путях такого построения. Ильф и Петров, несомненно, были в курсе теоретических дискуссий и внутрипартийной борьбы тех лет. Беспартийные служащие, умоляющие своего партийного начальника «не вдаваться в уклон», — тема, несколько раз возникавшая в их сочинениях в «годы великого перелома».

...История безжалостно ломает всех несогласных с нею... Чувствуешь себя каким-то изгоем. И надо вам сказать всю правду. Вы меня извините, товарищ Избаченков, но нет пророка в своем отечестве, ей-богу, нет пророка... Товарищ Избаченков, не будьте пророком!.. Берегите свою партийную репутацию...¹⁰ — заклиная подчиненные.

История партийных дискуссий тех лет выходит за пределы нашей работы. Отметим только, что до начала 1930-х гг. даже вполне советским интеллигентам была чужда мысль, будто социализм будет

⁸ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. М., 1961 Л. 20. С. 292.

⁹ Там же. Т. 1. С. 69-70.

¹⁰ Этот сюжетный эпизод был первоначально задуман для повести «Летучий голландец» (фрагменты опубликованы посмертно: Молодая гвардия. 1956. № 1. С. 226), а затем использован для цитируемого нами рассказа «Шкуры барабанные» (см.: Ильф И., Петров Е. Как создавался Робинзон. С. 171 — 172; в Собрание сочинений не включен). В рассказе «Шкуры барабанные» коллизия разрешается тем, что начальник Избаченков оказывается беспартийным, и служащие успокаиваются.

построен в СССР в ближайшие несколько лет. У Маяковского в «Клопе» пьяный Присыпкин засыпает и замерзает на 50 лет, а когда его размораживают, он просыпается в новом обществе, совсем не похожем на старое. Что же это за общество? Здесь (как и в другом утопическом мире будущего, вестником которого служит фосфорическая женщина в «Бане») нет уже бюрократизма, пьянства, самоубийств из-за несчастной любви и т.д. Советская власть охватывает все части света, если не весь мир: упоминаются официальные органы печати — «Известия Чикагского совета», «Римская красная газета», «Шанхайская беднота», «Мадридская батрачка», «Кабульский пионер», не говоря уже о «Варшавской комсомольской правде».¹¹ Но Маяковский все-таки не считал, что это — социалистическое общество. «В пьесе — не социализм, а десять пятилеток, а может быть, это будет и через три пятилетки. Конечно, я не показываю социалистическое общество».¹² Сперва мировая революция, а потом уже социализм; такая точка зрения имела на официальном партийном языке того времени вполне определенное название, и В.Ермилов недаром обвинил Маяковского (говоря о другой его пьесе — «Баня») в «очень фальшивой "левой" ноте, уже знакомой нам — не по художественной литературе».

Высказывался и другой взгляд, возобладавший в 1927 г., согласно которому «если абстрагироваться от международной обстановки», то социализм может быть построен и в одном СССР до мировой революции — «полностью, но не окончательно» (без гарантии против возможной внешней интервенции).¹³ Но если в 1927-м такая точка зрения предполагала, что русский рабочий класс, сомкнувшись с трудовым крестьянством, начнет медленное движение к социализму, то в «год великого перелома» «медленное движение» совместно с крестьянами было заменено «революцией сверху» — ссылкой миллионов «кулаков» и «подкулачников», приведшей к быстрой и всеобщей коллективизации. В основу был положен принцип волевого решения всех проблем, целенаправленного энтузиазма: «Нет таких крепостей, которых не могли бы взять большевики».¹⁴

Свое отношение к самой идее такого целенаправленного энтузиазма Ильф и Петров выразили достаточно определенно —

¹¹ Маяковский В. Поли. собр. соч.: В 13 т. М., 1958. Т. 11. С. 248.

¹² Там же. Т. 12. С. 508.

¹³ См.: XV конференция ВКП(б): Стенограф. отч. М.; Л., 1927. С. 441-442, 585-587; ср. с. 521-533.

¹⁴ Сталин И.В. Соч. М., 1949. Т. 11. С. 58; 1951 Л. 13. С. 41.

в рассказе («сказочке») Остапа Бендера «О кошках и тракторах, или О том, как в городе настал рай», предназначенном для «Золотого тельца» («Великого комбинатора»), но не опубликованном при жизни писателей. По типу этот рассказ сходен с теми вставными новеллами, которые рассказывают австрийский корреспондент Гейнрих и сам Остап в ходе споров о социализме в литерном поезде, направляющемся на Турксиб,¹⁵ хотя точное его место в будущем романе определить трудно. В городе, описанном Остапом, «жили, выражаясь вульгарно, идейные граждане. Они неутомимо маршировали в ногу с эпохой. Когда эти идеалисты узнали, что за две тысячи кошек можно купить трактор, они немедленно принялись за работу». Энтузиасты вылавливают всех кошек, но в результате в городе развелись мыши, «этот бич народного хозяйства». В городе появляются плакаты:

*Пятилетка не пустяк,
помогай ей каждый и всяк,*

призывающие ловить мышей. Граждане вылавливают всех мышей и снова меняют шкурки на трактор. Но заканчивается эта история (удивительным образом предвосхитившая известную борьбу с воробьями в другой социалистической стране тридцать лет спустя) тем, что с уничтожением мышей отпадает возможность благовидного объяснения того, почему «к концу хозяйственного года», как и в

прошлые годы, «на складах местной кооперации не хватает продуктов на неисчислимые суммы». Перед идейными гражданами, стремившимися построить «рай» в своем городе, встает задача более сложная и даже более фантастическая, чем отлов всех кошек и мышей,— задача уничтожения воровства в собственном обществе.¹⁶ «Рай» — «социализм» — метафора настолько обычная (да еще с сугубо характерными для годов «великого перелома» понятиями и реалиями — пятилетка, трактора), что если бы авторы включили ее в роман, они дали бы весьма убедительное подтверждение мнения тех критиков, которые считали смех Ильфа и Петрова «не нашим смехом». Но текст этот опубликован не был, и авторы считались в 1932—

¹⁵ У.-М. Церер, единственная исследовательница, ощутившая в этой «сказочке» пародию на пятилетку и строительство коммунизма и «острую сатиру на изображающих идеологическую выдержанность, но в действительности оппортунистических и лживых современников», без колебаний относит этот эпизод к сцене в литерном поезде (*Zehrer U.-M. «Dvenadcať stul'ev» und «Zolotoj telenok» von I.Iľf und E.Petrov. Entstehung, Struktur, Thematik (Banstück zur Geschichte der Literature bei den Slawen. Bd 3). Gießen, 1975. S. 62—63*). Однако обращение Остапа к слушателям — «дорогие девушки и дети» — в этом случае не совсем понятно.

¹⁶ Молодая гвардия. 1956. № 1. С. 230.

1934 гг. подающими надежды советскими писателями, от которых требовалось только одно: не ограничиваться мраком, а искать свет там, «где советские люди проводят значительную часть своей жизни», — на социалистической стройке, заводах или в колхозах.

Творческие командировки, ознакомление с новыми индустриальными гигантами на месте стали традиционным явлением писательского быта тех лет: Валентин Катаев побывал на Магнитострое и написал «Время, вперед!», Днепрострой вдохновил Александра Безыменского на «Трагедийную ночь», Дзорагэс в Армении был отражен Мариэттой Шагинян в «Гидроцентрали».

Ильф и Петров также немало ездили по стране: в апреле 1930 г. они побывали на Турксибе, что, впрочем, как мы уже знаем, мало помогло им в разрешении сюжетного конфликта «Золотого теленка». В августе 1933 г. они с группой писателей совершили поездку по только что построенному Беломорско-Балтийскому каналу. Плодом путешествия стала специальная книга под редакцией Горького, Авербаха и начальника Беломорско-Балтийского исправительно-трудового лагеря Фирина. В написании книги участвовали наряду с Горьким и Авербахом А. Н. Толстой, М. Зощенко, В. Шкловский, В. Катаев, Л. Славин, В. Инбер, Л. Никулин, кинодраматург Е. Габрилович, товарищи Ильфа и Петрова по «Гудку» А. Эрлих и С. Гехт, польский писатель Б. Ясенский и другие.¹⁷ Спустя несколько десятков лет книга эта получила новую известность — как редкое в истории литературы сочинение писателей, всенародно восславивших подневольный труд заключенных. Что можно сказать в объяснение поведения людей, участвовавших в книге о Беломорканале? Для некоторых из них, возможно, самым важным было то, что среди узников канала были не только «кулаки» и «вредители», но и действительные преступники — воры, мошенники, профессиональные уголовники. Проблема перевоспитания таких людей — проблема серьезная и подлинная, и писатели, обращавшиеся к этой теме в 1920-е—начале 1930-х гг. (Г.Белых, Л.Пантелеев, Л.Сейфуллина, А.Макаренко), едва ли заслуживают осуждения. Такой подход к лагерной теме определил, видимо, поведение М.Зощенко, написавшего в «Беломорско-Балтийском канале» особую, совершенно самостоятельную главу «История одной перековки» — литературную обработку подлинного рассказа международного афериста.¹⁸ Но большинство глав книги

¹⁷ Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. История строительства/ Под ред. М.Горького, Л. Авербаха, С. Фирина. М., 1934.

¹⁸ Эта повесть под названием «История одной жизни» перепечатывалась потом в сочинениях Зощенко. См.: Зощенко Мих. Избр. произведения. 1923-1945. Л., 1946. С. 328-361.

посвящено совсем иным сюжетам и написано по-иному. Это «Правда социализма» М.Горького, «Страна и ее враги» (один из авторов — Л. Славин), «ГПУ, инженеры, проект» (в числе авторов — В.Шкловский), «Чекисты» (В.Катаев, В.Шкловский и др.), «Добить классового врага» (К.Зелинский, В. Инбер, Б. Ясенский и др.), «Имени Сталина» (А. Толстой, В. Шкловский и др.) и т.д. «Практика Беломорстроя — одно из свидетельств того, что мы вступили в эпоху построения социалистического общества»,¹⁹ — говорилось в одной из последних глав книги, посвященной XVII съезду партии и украшенной портретами Сталина, Ягоды и чекистов — руководителей строительства.

Тем более заслуживает внимания единственный известный нам пример прямого отказа от участия в написании книги. «Когда группа писателей засела по возвращении за коллективный труд о Беломорканале,— вспоминал Семен Гехт (один из авторов книги о канале),— Ильф с Петровым разумно отказались от участия в этом труде».²⁰ Факт этот (как мы видели и еще увидим, он был не единичным в их биографии) весьма интересен — из рассказа того же Гехта с несомненностью явствует, что и ко всей демонстрации беломорской «перековки» Ильф относился с иронией.²¹

Но не только канал, построенный трудом заключенных, не вдохновлял писателей на обращение к индустриальной тематике. Сама идея скоростного ознакомления со «сферой производства» воспринималась ими скептически. «Это было в то счастливое время, когда поэт Сельвинский, в целях наибольшего приближения к индустриальному пролетариату, занимался автогенной сваркой. Адуев тоже сваривал что-то. Ничего они не наварили. Покойной ночи, как писал Александр Блок, давая понять, что разговор окончен», — заметил Ильф в записных книжках (Т. 5.С. 223).

¹⁹ Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. С. 604.

²⁰ Воспоминания об Илье Ильфе и Евгении Петрове. М., 1963. С. 108.

²¹ С. Гехт рассказывает, как реагировал Ильф на бурное восхищение талантами и деятельностью «чекистов-строителей», которое выражал «перековавшийся» вор и аферист Желтухин:

На одной плотине Желтухин воскликнул:

— Только советская власть смогла осуществить это грандиозное сооружение!..

Как только начальство ушло, Ильф заметил:

— Когда к этому пришли с ордером на арест, он, вероятно, воскликнул: «Только советская власть умеет так хорошо и быстро раскрывать преступления!» (Там же. С. 109).

Любопытно, что тот же Желтухин вызвал восторженное замечание Л.Леонова: «Теперь этот переродившийся герой... может послужить мне темой персонажа нового романа» (Лит. газ. 1933. 24 авг.).

Чаще всего индустриальная тематика была элементарным идеологическим прикрытием любой темы: «Батрачка Ганна кует чего-то железного. Пролетарии говорят чего-то идеологического»,— как писали Ильф и Петров в пародии на киносценарии 1920-х гг. (Т. 2. С. 456, 458). Некоторые авторы, впрочем, ухитрились сделать производственную тематику основой сюжетного конфликта своего сочинения. Примером может служить катаевская повесть «Время, вперед!». Спор здесь идет между инженером-энтузиастом Маргулиесом и его начальником — карьеристом и приспособленцем Налбандовым. Налбандов заявляет, что «строительство — не французская борьба» и что на импортной бетономешалке нельзя делать больше замесов, чем это разрешено в приложенном к ней паспорте. Писателю Георгию Васильевичу (двойнику автора) эта проблема кажется сперва трудно разрешимой:

...таким образом мы быстро износим все наши механизмы... Это новое обстоятельство... Оно в корне меняет дело... Нельзя же, в самом деле, так варварски обращаться с импортным оборудованием...

Но «друг и руководитель» писателя, молодой журналист Винкич разъясняет ему сущность проблемы:

*...что нам важнее: в четыре года кончить пятилетку или сохранить на лишние четыре года механизм? Чем скорее разовьется наша промышленность, тем меньше для нас будет иметь значение амортизация...*²²

²² Катаев В. Собр. соч.: В 5 т. М., 1965. I. 1.С. 308.

Итак, скорость, гонка, «Время, вперед!». Это не оригинальная идея автора, а уже знакомая нам концепция волевого, целенаправленного энтузиазма. Дважды в романе — в начале и снова в конце — Катаев приводит цитату, хорошо знакомую читателям того времени:

...задержать темпы — это значит отстать. А отсталых бьют. Но мы не хотим оказаться битыми. Нет, не хотим! История старой России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы.

Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все — за отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за

*отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную... Вот почему нельзя нам большие отставать...*²³

Эти слова Сталина — из доклада 1931 г. «О задачах хозяйственников» — цитировались тогда во всех докладах, изучались в вузах, в школах их даже учили наизусть. И смысл их был ясен: «отсталых быют» — «либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Кто «сомнет» — известно: «англо-французские империалисты», Антанта. И дата тоже не вызывала сомнения: всеобщий кризис капитализма уже начался, война ожидалась в ближайшие годы. Вот почему можно и нужно было пускать на износ заграничную технику, приобретенную за драгоценную валюту: за четыре года еще можно успеть, а за восемь — «сомнут».

Но увы: судьба этой сюжетной концепции оказалась столь же непрочной, как и судьба положенной в ее основу цитаты. Она быстро устарела. И дело было не только в том, что уже через несколько лет история старой России перестала изображаться в столь черных красках: Россию вовсе не «непрерывно били», а, напротив, она постоянно разбивала своих врагов — Карла XII, Мамая и немецких «псов-рыцарей». Неверными оказались и хронологические расчеты, взятые из доклада 1931 г. и положенные в основу сюжета. Бетономешалку можно было и не амортизировать за четыре года; впереди были даже не восемь, а целых десять лет (не говоря уже о том, что и угроза возникла не так и не оттуда, где ее ждали в 1931 г.). Гнать время вперед, жертвовать качеством ради достижения рекордных сроков далеко не всегда оказывалось полезным. Но если это так, становится сомнительной и сама сюжетная схема «производственного романа», родившаяся у Георгия Васильевича — Валентина Петровича не как плод собственных наблюдений на Урале, а на основе авторитетных, но преходящих высказываний вождя.

История советского производственного романа еще не написана. Но даже самое общее ознакомление с этой литературой обнаруживает одну любопытную закономерность. Еще с 1920-х гг. индустриальный фон присутствовал во множестве произведений официально одобренной литературы; наличие его считалось достоинством, а отсутствие — серьезным недостатком. Но это был только фон или в лучшем случае литературная иллюстрация заранее заданной идеологической схемы, как у Катаева. Однако прошли десятилетия, и в советской литературе появились произведения, авторы которых действительно пришли с производства и всерьез захотели осмыслить происходящие

²³ Катаев В. Собр. соч.: В 5 т. Т. 1. С. 205, 206, 510-511. Ср.: Сталин И.В. Соч. Т. 13. С. 38-39.

там явления. В 1960-х гг. вышли в свет «Большая руда» и «Три минуты молчания» Г. Владимова, «Хочу быть честным» В. Войновича и другие подобные им книги. И тогда оказалось, что произведения эти вовсе не были нужны идейным опекунам литературы — они вызвали у них не радость («наконец-то производственный роман!»), а, напротив, крайнее раздражение.

Ильф и Петров работали совсем в иных условиях, чем их собратья тридцать лет спустя, и исходили, по-видимому, из более оптимистического взгляда на положение страны. Но и они были честными писателями и задачу свою видели не в подгонке материала под заданную схему, а в добросовестном изучении окружающего их мира.

Для такого изучения им вовсе не нужно было «что-то сваривать». Существовала область, которую они отлично знали изнутри. Этой областью была массовая пресса, большая газета, с работы в которой началась их совместная трудовая жизнь, и многочисленные журналы. И первым опытом проникновения в сферу близкого им «производства», задуманным ими еще в 1929 г., должна была быть повесть о газете — «Летучий голландец». В большой профсоюзной газете «Труба» (или «Протокол»), описанной в набросках к «Летучему голландцу», легко узнать «Гудок» — газету, в которой когда-то работали Ильф, Петров, Булгаков, Катаев и Олеша и которая с 1927 г. растеряла всех этих сотрудников.

«Гудок» был органом профсоюза железнодорожников, и, работая в нем, авторы имели возможность познакомиться с деятельностью профсоюзов — организаций, смысл и назначение которых вызывали после Октября немало споров. Нужны ли в рабочем государстве организации для защиты прав и интересов рабочих? Во время дискуссии, проходившей перед самым приездом Ильфа

и Петрова в Москву, столкнулись два противоположных решения этого вопроса: предлагалось «огосударствить», т.е. фактически уничтожить профсоюзы, или, напротив, отдать в их распоряжение большинство обобществленных предприятий. Победила третья точка зрения — профсоюзы были объявлены «школой коммунизма» и «приводными ремнями», но реальная их роль по-прежнему вызывала постоянные недоумения.

Во всяком случае, для Ильфа и Петрова тема профработы неизменно была связана с ощущением бессмыслицы и тягучей скуки. «Школу профучебы» организует в «Геркулесе» полуответственный бездельник Скумбриевич (Т. 2. С. 210); другой такой же симулянт Самецкий из рассказа «Здесь нагружают корабль» организует в своем учреждении жуткую по бессмысленности ночную «скорую помощь пожилому служащему в ликвидации профнеграмотности»: «В ночной профилакторий никто не приходил. Там было холодно и страшно» (Т. 3. С. 11). «Превратим парк в кузницу выполнения решений съезда профсоюзов» — гласит плакат в известном фельетоне о Парке культуры и отдыха «Веселящаяся единица». В парке проектируется веселый аттракцион: шахта глубиной в тридцать метров, куда можно спустить на баде отдыхающего пожилого рабочего, чтобы он получил в «подземном профпрофилактории» «нужные сведения по вопросам профчленства и дифпая» (Т.3.С. 206, 208).

Но в «Трубе» из «Летучего голландца» можно узнать не только профсоюзную, но и любую советскую газету:

Информации абсолютно не придавалось значения. Японское землетрясение опоздало на неделю. Считали, что союзной массе это не интересно... Вообще было принято думать, что союзной массе ничего не интересно... Как выкинули сотрудника, который допустил миниатюрную ошибку в стенограмме речи миниатюрного вождя... Глухая подземная война с грамотностью. В особенности жестоко боролись в ночной редакции под грохот машин... Профавторы с длинными, абсолютно неграмотными статьями требовали, чтобы у них не изменяли ни единого слова.

Рассказывалось в повести (как мы уже упоминали) и о типичном для печати тех лет презрении к интеллигенции — том презрении, которое критики нашего времени стали приписывать самим Ильфу и Петрову.

Газета, описанная в «Летучем голландце», напоминает не только любую газету, но и любое учреждение:

Газета приобретает черты обыкновенного учреждения, а сотрудники становятся чиновниками. До редактора никогда нельзя дорваться. Он запирается в своем кабинете, как в уборной.

Проблема чиновников должна была рассматриваться и в отдельном отступлении «О чиновниках вообще, ничего не знающих». Намечена была и специальная глава:

Черты учреждения.

Самым важным и единственно стоящим считалось заставлять сотрудников приходиться на службу в 9 и уходить в 5. За этим строго следили. Вводили расписные книги, марки в табельных ящиках. Редактор не знал сотрудников в лицо. Он только знал, что их 34. И считал, как ослепленный Циклоп. Если не хватало, он говорил:

— Двух не хватает. Узнайте — кого.²⁴

«Летучий голландец» так и не был завершен — вероятно, задуманный сюжет оказывался слишком пессимистичным для большой повести. Изучением общества через наиболее близкие им сферы деятельности Ильф и Петров продолжали заниматься и в своих фельетонах конца 1932 г. Фельетоны «Их бин с головы до ног» и «Как создавался Робинзон» оба очень смешные, но оба посвящены весьма серьезной теме: свободе творчества. В первом фельетоне говорящую собаку не пускают к работе в цирке из-за идеологической невыдержанности ее репертуара,²⁵ во втором — редактор, заказавший рассказ о советском Робинзоне, требует введения в него «широких масс трудящихся», для чего советует в конце концов превратить необитаемый остров в полуостров и выкинуть «ничем не оправданную фигуру нытика» — Робинзона (Там же. С. 193, 197).

Оба фельетона, как мы видим, вовсе не отвечали поставленной перед авторами задаче позитивной самокритики. Напротив, они были посвящены той проблеме, которая вставала еще при осуждении зарубежных изданий Пильняка,— об ограничении свободы творчества, или, как пренебрежительно выразился в 1929 г. Юрий Олеся, «свободе бляеть» для овец. Ильфу и Петрову эти ограничения, очевидно, не казались таким пустяком. И именно поэтому у читателя обоих рассказов естественно возникает тот же вопрос, который мы уже затрагивали: как эти сочинения могли быть напечатаны («Робинзон» — даже в «Правде»)? Известную роль здесь сыграло то обстоятельство, что ни в том, ни в другом рассказе цензура не была упомянута прямо. Говорящую собаку увольнял художественный совет, а Робинзона уничтожил редактор. Под своим тогдашним официальным наименованием «Главлита» цензура упоминалась авторами лишь однажды — правда, довольно ядовито. В рассказе «Великий канцелярский шлях» писатель Самообложенский, добивавшийся творческого отпуска, чтобы прервать общественную работу и заняться литературным трудом, на всякий случай хочет попросить разрешения в Главлите. Друзья не советуют ему этого делать.

— *Это, правда, тоже не их дело, но они, понимаешь, могут не разрешить. Ты уж лучше в Главлит не подавай* (Там же. С. 139).

Однако цирк, литература — это все-таки искусство, а не «сфера производства». В конце 1932 г. писатели опубликовали рассказ, место действия и предмет изображения которого не могли быть отнесены к какой-либо одной «сфере». Более того — именно вопрос о месте действия и составлял главную загадку рассказа.

²⁴ Молодая гвардия. 1956. № 1. С. 224–229.

²⁵ Ильф И., Петров Е. Как создавался Робинзон. 3-е изд., доп. М., 1935. С. 32–37. В Собрание сочинений не включено.

Вот его содержание. Где-то в Москве находится «Клооп» — «учреждение как учреждение», по словам его сотрудников, ничем не отличающееся от тысячи других. Но внезапно двум случайным прохожим приходится голову мысль выяснить, что, собственно, означает и чем занимается «Клооп». Они обращаются к сотрудникам: сперва к мелким, потом к более ответственным («...У меня свои функции. А Клооп есть что? Клооп есть Клооп») и, наконец, доходят до самого председателя. Председатель Клоопа вовсе не бюрократ «банального» типа вроде редактора в «Летучем голландце» или Пыхаева; он охотно принимает любопытных посетителей, и заданный ими вопрос в конце концов заинтересовывает и его самого:

— *Понимаете, вы меня застигли врасплох. Я здесь человек новый, только сегодня вступил в исполнение обязанностей и еще недостаточно в курсе. В общем я, конечно, знаю, но еще, как бы сказать...*

— *Но все-таки в общих чертах?..*

— *Да и в общих чертах тоже...*

— *Может быть, Клооп заготавливает лес?*

— *Нет, лес нет. Это я наверно знаю.*

— *Молоко?*

— *Что вы! Я сюда с молока и перешел. Нет, здесь не молоко.*

— *Шурупы?*

— *М-м-м... Думаю, что скорее нет. Скорее что-то другое.*

— *Чем же они все-таки здесь занимаются?* — *смуценно шепчет в конце концов прохожий* (Т. 3. С. 24 — 25).

Рассказ «Клооп» иногда сопоставляют с рассказом А. Аверченко «Мурка», написанным уже в эмиграции, но рисовавшим советский быт. Действительно, и у Аверченко в центре — учреждение со странным сокращенным названием, и у него это учреждение занимается неизвестно чем, в основном обеспечивая снабжение своих сотрудников. Однако у Аверченко обстановка гражданской войны, и возникновение «Мурки» тесно связано именно с обстоятельствами той эпохи. «Мурка» — это «Мурашовская комиссия», следственная группа, созданная для расследования хищений на Курском вокзале. Следователь Мурашов был вскоре расстрелян по подозрению в организации покушения на

Володарского, но комиссия продолжает существовать, занимаясь уже не своим первоначальным делом, а самоснабжением.²⁶ Специфичность обстановки, которую описал Аверченко, ограничивает степень обобщения его рассказа. «Мурка» — явление страшное и уродливое,

²⁶ См.: Аверченко А. Осколки разбитого вдребезги. М.; Л., 1926. С. 18—21.

но все же объяснимое: возникновение его вызвано экстраординарными событиями.

Не то «Клооп». Ни происхождение этого учреждения, ни его «вызывающее название» в рассказе так и не разъясняются, и разъяснения не требуют. Название «Клооп», как и название «Мурка», — аббревиатура, сокращение, но само по себе это не является чем-то необычным — аббревиатурами обозначались многие советские учреждения. «Клооп» мог быть любым предприятием — и из сферы потребления, и из столь дорогой М. Кольцову «сферы производства». Недаром в рассказе предполагается возможность того, что он изготавливает лес, а может быть, молоко или шурпы.

Самая поразительная черта «Клоопа» — его обыденность. В отличие от «Мурки» он существует — и давно уже существует — в мирное, относительно благополучное время. Существование его никого решительно не беспокоит: даже один из двух посетителей, пытавшихся узнать назначение «Клоопа», делает это только под влиянием настойчивости своего приятеля-зеваки; первоначально и он не понимает, что так волнует его товарища.

Кафкианская абсурдность «Клоопа» соединяется с кафкианской же обстановкой повседневности — все действуют, как всегда, и никто ничему не удивляется. Если же мы вспомним, что рассказ был опубликован в стране, и само-то название которой обычно обозначалось аббревиатурой, то поймем силу гротеска в «Клоопе» и масштаб сделанного сатириками обобщения.

Так вновь и вновь обнаруживалась коллизия, характерная для позднего творчества Ильфа и Петрова. От писателей ждали разоблачения отдельных отрицательных явлений, создания необходимой светотени для единой прекрасной картины. Они же писали правду — ту правду, которая совсем не нужна была в одноименном печатном органе. А между тем во главе центральной газеты страны стоял человек, вовсе не склонный к либерализму, — Лев Мехлис, бывший секретарь Сталина, которого еще не уничтоженные партийные вольнодумцы именовали прозвищем, полученным на прежней работе: «Мехлис, спичку!» (Это прозвище, как говорили, не раз вспоминал Ильф.) Подобно многим администраторам, выдвинувшимся в те годы, Мехлис был, по-видимому, способным организатором и хотел, чтобы его газета не уступала по литературным качествам другому печатному органу, куда был перемещен прежний редактор «Правды» Бухарин, — «Известиям». Но опасных обобщений он допускать не желал, и напечатание «Клоопа» не сошло авторам так благополучно, как прежние публикации. Позже, в 1960-х гг., А. Эрлих, непосредственно привлечший Ильфа и Петрова к сотрудничеству в «Правде», рассказывал, что после выхода в свет «Клоопа» Мехлис вызвал его к себе и спросил, что за люди Ильф и Петров и можно ли им доверять.

Разобраться в этом деле, по словам Мехлиса, поручил ему после прочтения «Клоопа» сам Сталин. Эрлих утверждал, что он дал тогда своим подопечным благоприятную характеристику, но он все же поспешил дезавуировать опасный рассказ. Эрлих опубликовал статью, в которой указал, что большинство сочинений авторов представляет собой полезную и нужную сатиру, и тут же прибавил: «К сожалению, этого нельзя сказать о фельетоне "Клооп"». Как всегда в таких случаях, критик сослался на то, что «многие читатели не поняли фельетона»: «Ошибка авторов — ошибка литературного приема. Фельетон разработан так, что типическое исключение звучит, как типическое правило. Что это за учреждение "Клооп"? Это не конкретное советское учреждение, а учреждение „вообще“».²⁷ Но если «вообще», то, может быть, все-таки перед нами — правило, а не исключение? Конечно, большинство сотрудников предприятий и учреждений любой сферы знает, что означает название их заведения. Но так ли уж важно для них его название и назначение? «Нужно сначала выяснить принципиальный вопрос, — восклицает председатель "Клоопа" после того, как тайна смысла собственного учреждения начинает волновать и его самого. — Какая это организация? Кооперативная или государственная?» Но уже давно этот «принципиальный вопрос» не имел и не имеет ни малейшего значения: «кооператив» или «колхоз» — такое же казенное учреждение, как и всякое другое. А лозунг «Клооповец, поставь работу на высшую ступень!» может висеть в любом из этих заведений — будь то завод, шахта, колхоз или трест, и всюду он имеет одинаковый смысл и одну и ту же нулевую ценность. «Клооповец» не заинтересован в конечных и реальных результатах своей деятельности — он заинтересован в формальном выполнении плана, одобрении начальства и особенно в том снабжении, которое получает его место службы. Вскоре после того, как посетители

заходят в «Клооп», чтобы понять его назначение, они слышат крик одного из служащих «брынза, брынза!» — и все сотрудники бросаются бежать в одном направлении. «Теперь все ясно, — говорит более ленивый из пришельцев, — можно идти назад. Это какой-то пищевой трест. Разработка вопросов брынзы и других молочнодиетических продуктов». Но через минуту, изучая объявления, вывешенные на стене, оба исследователя читают: «Стой! Получай брынзу в порядке живой очереди под лестницей, в коопсекторе». После этого в кабинете председателя они уже не удивляются, когда туда приносят «лопату без ручки, на которой, как на подносе, лежит зеленый джемпер». Это тоже реализация прочитанного ими объявления: «Стой! Джемпера и лопаты по коммерческим ценам с двадцать

²⁷ Эрлих А. Разгром равнодушных // Художественная литература. 1933. №5. С. 16.

первого у Кати Полотенцевой». «Мурку», занимающуюся самоснабжением, можно было еще считать учреждением исключительным, но «Геркулесы» и «Клоопы», существующие с той же целью, — явление давнее и прочное. И именно поэтому фельетон «Клооп» не только развивает излюбленную Ильфом и Петровым тему бюрократии, но и связывает ее с другой важнейшей проблемой — с вопросом о социальной функции этого общественного слоя, о материальных средствах, которые ему достаются.

В 1930-х гг. эта тема начинает интересовать и М. Булгакова. Прежде вопрос о распределении материальных благ казался ему не только неинтересной, но и вздорной проблемой, выдуманной демагогами, подобными Швондеру из «Собачьего сердца». Привилегии, которыми пользовались не только великий хирург, профессор Преображенский, но и его могущественные пациенты — важные партийцы и противные нэпманы, не вызывали у него особого негодования. Булгакова интересовало одно — преодоление разрухи. Однако в «Мастере и Маргарите» изображена Москва не 1920-х, а середины и конца 1930-х гг.,²⁸ времени относительного материального благополучия столицы. И именно в этот период «победы социалистического уклада» Михаил Булгаков, как и его собраты по «Гудку», стал интересоваться вопросом о материальных благах и путях их распределения. «Люди как люди, любят деньги, но ведь это всегда было. Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота...» — говорит Воланд, изучая москвичей во время сеанса черной магии в Варьете. Конечно, булгаковского Сатану такой интерес к деньгам вовсе не должен был огорчить: как-никак это был тот самый персонаж, который в любимой опере писателя утверждал, что «на земле весь род людской чтит один кумир священный...». Но в сцене скандала в торгсине, когда в ответ на «глупейшую, бестактную и, вероятно, политически вредную» речь Коровьева о «бедном человеке», которому неоткуда взять валюты, «приличнейший тихий старичок, одетый бедно, но чистенько», преображается, кричит «Правда!» и начинает громить торгсиновский прилавок, тема эта уже обретает совсем иное звучание. И, что для нас наиболее существенно, наряду с проблемой наличных денег (накопление которых для персонажей «Мастера и Маргариты» оказывалось столь же неплототворным, как и для героев «Золотого тельца») возникала тема жизненных благ, добываемых путем безналичного распределения. Умеющий и желающий «жить по-человечески» поэт Амвросий предпочитает «порционные судачки о натюрель» в ресторане «Грибоедова».

²⁸ См. ниже, глава VI, примеч. 21.

— Ты хочешь сказать, Фока, что судачки можно встретить и в «Колизее», — поясняет он своему приятелю. — Но в «Колизее» порция судаков стоит тридцать рублей пятьдесят копеек, а у нас — пять пятьдесят. Кроме того, в «Колизее» судачки третьедневочные, и, кроме того, еще у тебя нет гарантии, что ты не получишь в «Колизее» виноградной, кистью по морде от первого попавшегося молодого человека... Представляю себе твою жену, пытающуюся соорудить в кастрюльке на общей кухне дома судачки о натюрель! Ги-ги-ги!..

Если мы вспомним, что подлинный писатель, Мастер, даже после своего чудесного освобождения из сумасшедшего дома может рассчитывать только на нищенскую жизнь в подвале со своей подругой, то согласимся, что мотив этот имеет не только гастрономическое значение.

«...Обыкновенные люди...» — замечает Воланд во время сеанса «черной магии», — в общем, напоминают прежних...»²⁹ И опять-таки для автора, как и для его героя, это наблюдение только

подтверждает его взгляд на мир: Булгаков ведь не ждал грядущего великого Преображения России. Совсем иной смысл оно имело для тех писателей, кто в это Преображение верил. Мы помним, что Юрий Олеша настолько был убежден в скором исчезновении таких человеческих пороков, как зависть, корысть, ревность, честолюбие, что даже жалел об этих, воспетых классической литературой страстях. Несовместимость социализма с институтами старого общества, например с обычным семейным укладом, считалась аксиомой не только в утопиях тех лет, но и в антиутопиях. Семья уничтожена и в обществе, описанном Е.Замятиным в романе «Мы», и в «Прекрасном новом мире» О.Хаксли. Исключение составляет только Дж. Оруэлл, утопические повести которого, по существу, до последнего времени не были по-настоящему поняты и оценены литературной критикой. В мире, нарисованном Оруэллом в романе «1984», существенны не только его отличия от прежнего мира, но и черты сходства, о которых не думали другие писатели. Отношения между людьми в этом мире, в общем, такие же, какие они были всегда, — они только испорчены суровым бытом тоталитарного государства. И семьи остаются такими же, как прежде, только детей, начиная со школы, обучают любить Партию и Государство больше папы и мамы и сообщать об антигосударственных высказываниях и поступках родителей своим наставникам.

Водевиль «Сильное чувство», написанный Ильфом и Петровым в 1933 г., не был ни утопией, ни антиутопией. Но действие в нем

²⁹ Булгаков М. Собр. соч. Т. 5. С. 123; ср. с. 57-58 и 340-341.

происходило в современной авторам обстановке — в обстановке строящегося или даже уже построенного социализма. А между тем картина мира, нарисованная в водевиле, производит поистине гнетущее впечатление. Отчасти это может быть связано с тем, что здесь, в отличие от романов, нет героя, выполняющего функцию Остапа Бендера — несущего ту очищающую силу иронии и смеха, которая позволяла читателю как-то подняться над бытием «Двенадцати стульев» и «Золотого тельца». В водевиле все действующие лица — представители одной и той же среды, той самой, которую когда-то изображал ранний Чехов, а в советской литературе лучше всего рисовал Зощенко. Никаких коренных изменений в чеховском быту мы в Москве 1933 г., изображенной в водевиле, не обнаруживаем. Недаром свадьба, изображенная здесь, показалась критикам ухудшенным вариантом чеховской «Свадьбы», где персонажи условны (в отличие от чеховских), а роль генерала играет иностранец.³⁰ Иностранец в водевиле действительно фигурирует, но этот мотив, уже использованный авторами в рассказе «Отрицательный тип»,³¹ едва ли имеет большое значение для сюжета «Сильного чувства». Американец мистер Пип, которого гости сперва встречают с восторгом и подобострастием, оказывается безработным, приехавшим в СССР искать работу, и гости от него немедленно отворачиваются. Условность этого эпизода, обеспечившего «проходимость» водевиля, очевидна: в Советский Союз в начале 1930-х гг. могли быть приглашены иностранные специалисты для участия в строительстве, здесь жили иногда левые политические эмигранты и коммунистические функционеры, но западные безработные, «не имеющие на жизнь», запросто на поиски работы в СССР не приезжали (в рассказе «Отрицательный тип» приезд американца, безработного Спивака, мотивировался хотя бы тем, что он был выходцем из России и навещал родственников, — в водевиле такой мотивировки не было).

Но гораздо более достоверными, чем «дитя кризиса», и отнюдь не условными выглядят в водевиле советские «обыкновенные люди». Среди них «член горкома писателей» Бернардов — он не писатель, а только обедает в писательской столовой, не железнодорожник, но «числится по Энкапезу» и получает бесплатный проезд по железным дорогам, носит костюм, купленный «в распределителе водников за шестьдесят пять рублей», получает молоко как пожарник и ездит на передней площадке трамвая как член Моссовета. А рядом с этой проблемой ведомственного снабжения фигурирует «квартирный вопрос», сильно

³⁰ Роскин А. Мастера фельетона // Художественная литература. 1935. № 8. С. 7.

³¹ Ильф И., Петров Е. Как создавался Робинзон. С. 212-217.

испортивший, по наблюдениям Воланда, души советских людей. Из-за «квартирного вопроса», собственно, и происходят основные события в «Сильном чувстве»: героиня водевиля красавица Ната, оставив первого мужа, выходит замуж за некоего Стасика. Вот как объясняет почтенная респектабельная мама Наты этот развод своей младшей дочери Рите:

Мама. ...у Стасика большая комната!
Рита. Все равно противно! Менять мужа из-за комнаты!
Мама. Но какая комната! (Т. 3. С. 420).

Обнаруживается в быту граждан нового общества и еще одна, достаточно традиционная черта. В «Золотом теленке» советские журналисты объясняли сионисту мистеру Хираму Бурману, что еврейского вопроса в СССР не существует:

— *У нас такого вопроса уже нет,*— сказал Паламидов.
— *Как же может не быть еврейского вопроса?*— удивился Хирам.

— *Нету. Не существует.*

Мистер Бурман взволновался. Всю жизнь он писал в своей газете статьи по еврейскому вопросу, и расстаться с этим вопросом ему было бы больно.

— *Но ведь в России есть евреи?*— сказал он осторожно.

— *Есть,*— ответил Паламидов.

— *Значит, есть и вопрос?*

— *Нет. Евреи есть, а вопроса нету (Т. 2. С. 294).*

Заметим, однако, что уже в «Золотом теленке» содержался один эпизод, ставивший под сомнение оптимистический тезис Паламидова. В «Вороньей слободке», где проживали Лоханкин и его жена Варвара, жильцы намеревались взломать дверь в комнату полярного летчика, потерпевшего аварию в Арктике.

— *Как вам не стыдно?*— восклицала Варвара Лоханкина.— *Ведь это герой... Вот статья. Видите? «Среди торосов и айсбергов».*

— *Айсберги!*— говорил Митрич насмешливо.— *Это мы понять можем. Десять лет как жизни нет. Всё Айсберги, Вайсберги, Айзенберги, всякие там Рабиновичи (Там же. С. 151).*

Но «Воронья слободка»— это все-таки пережиток прошлого, коммунальная квартира в провинциальном городе. Однако из текста «Сильного чувства» мы узнаем, что злосчастный вопрос продолжал существовать и через три года после написания «Золотого теленка»— в социалистической Москве. Оправдывая развод Наты с первым мужем, мама приводит еще один аргумент. Фамилия первого мужа — Лифшиц:

...Лифшиц почти еврей, Риточка,— караим! (Т. 3. С. 419).

«Караим Лифшиц»— это старая, еще дореволюционная острова, возникшая в связи с тем, что в царской России близкие к евреям по вере караимы не подвергались ограничениям, и несомненные евреи — Лифшицы, Рабиновичи — иногда выдавали себя за караимов. Но из слов Ритиной мамы мы узнаем, что и в 1933 г. «почти еврей» оказывался не совсем желательной партией для московской молодой дамы.

Однако именно таинственный Лифшиц, появляющийся в водевиле только в последнюю минуту, и оказывается единственным героем пьесы. В течение всего действия он стоит за дверью квартиры и непрерывно пинает ее ногами, срывая торжество и мешая гостям. «Сильное чувство», давшее название пьесе,— это чувство ревности, которое испытывает Лифшиц («караимы почти турки, турки почти мавры, а мавры, сами знаете...») и которое в конце концов побеждает:

Ната (решительно). Зовите Лифшица!..

Открывается дверь, наступает триумф Лифшица. Он идет, маленький, хилый, с бледным одухотворенным лицом. Гости выстроились шпалерами (Там же. С. 437).

Итак, побеждает старая добрая ревность, глупая и смешная, но, по крайней мере, бескорыстная и сильная. Здесь явная, хотя и скрытая, полемика с Юрием Олешей— писателем, с

которым Ильф и Петров, как мы уже отмечали, спорили неоднократно. Именно Олеша — и в «Зависти», и в ее драматическом варианте, «Заговоре чувств», и в неоконченной, но очень интересной пьесе «Смерть Занда» — писал о ревности как об отмирающем чувстве. Но в пьесе Ильфа и Петрова рядом с убогим потребительством, погоней за благами, выдаваемыми привилегированным категориям граждан, элементарным бездушием (хозяева изгоняют безработного Пипа и отца Стасика, временно выпущенного из тюрьмы) и «квартирным вопросом» (комната Стасика теряет свои достоинства, когда выясняется, что у него есть отец) единственным «сильным чувством» оказывается ревность.

Значит ли это, что к 1933 г. оба писателя полностью утратили веру в Преображение, присущую их романам 1927—1928 и 1929—1931 гг., и что они сознательно полемизировали с Олешей по этому вопросу? Трудно ответить на этот вопрос. Возможно, что они просто намеревались написать легкий водевиль, не претендовавший на видное место среди их сочинений, и изобразили в нем довольно обычную сценку из жизни московского «среднего класса». Главная их работа, которой от них ждали и которую они еще надеялись осуществить, — третий роман — была еще впереди.

Но кто будет его героем? Опять Остап Бендер? И что же с ним станет? Мы уже упоминали о путешествии Ильфа и Петрова по Беломорканалу, после которого они отказались участвовать в написании коллективного труда о канале. Но совсем избежать какого-либо отклика на эту поездку они все-таки не смогли. В номере «Комсомольской правды» (24 августа 1933 г.) была выделена целая полоса для писателей, посетивших Беломорканал. Своими впечатлениями делились Всеволод Иванов («несомненно, капиталистическая и эмигрантская пресса будет вопить, что ОГПУ под дулом винтовок и в цепях показывало "беспартийным попутчикам" или, вернее, скрывало так называемый "чекистский ад"» и т.д.), Л. Леонов, М. Пришвин и другие. Должны были выступить и Ильф с Петровым. Их заметка была озаглавлена «Наш третий роман».

Нас часто спрашивали о том, что мы собираемся сделать с Остапом Бендером... Мы сами это не знали... — писали авторы.

Останется ли он полубандитом или превратится в полезного члена общества, а если превратится, то поверит ли читатель в такую быструю перестройку?

И пока мы обдумывали этот вопрос, оказалось, что роман уже написан, отделан и опубликован.

Это произошло на Беломорском канале!..

Есть веские основания подозревать, что эта заметка вовсе не отражала реальный творческий замысел авторов, а была лишь удобной формой отказа от решения трудного вопроса на том основании, что «роман уже написан, отделан и опубликован» самой жизнью. Во всяком случае, ни малейших следов работы над такой версией романа не сохранилось. В последней «Записной книжке» Ильфа есть единственная запись, относящаяся к Остапу, — она предусматривает совсем иной вариант:

Остап мог бы и сейчас пройти всю страну, давая концерты граммофонных пластинок. И очень бы хорошо жил, имел бы жену и любовницу. Все это должно кончиться совершенно неожиданно — пожаром граммофона. Небывалый случай. Из граммофона показывается пламя (Т. 5. С. 217).

Но и эта запись — скорее размышление о возможности еще одной (впрочем, довольно невинной) новой комбинации, которую мог бы изобрести герой, чем план реального романа.

План третьего романа, задуманного Ильфом и Петровым еще в 1932 г. и начатого в 1933 г.,³² явно не был связан с Остапом. Сюжет романа, для которого было придумано название «Подлец», лапидарно

³² Яновская Л. М. Почему вы пишете смешно? С. 150—151.

изложен Е. Петровым в неоконченной книге «Мой друг Ильф»: «Человек, который в капиталистическом мире был бы банкиром, делает карьеру в советских условиях».³³

Итак — карьерист. Это, конечно, центральная фигура в том мире, который изображен в «Клоопе». Если главная цель «Клоопа» — самоснабжение, то героем его, естественно, должен был стать человек, способный на Западе накопить деньги, а у нас — сделать карьеру.

Роман «Подлец» не дошел до нас, но отражение этой темы, а может быть, и новеллистическую версию ненаписанного романа мы обнаруживаем в опубликованном в 1935 г.

рассказе «Последняя встреча» — пожалуй, наиболее смелом из рассказов Ильфа и Петрова, написанных после «Клоопа».

Рассказ, называвшийся в рукописи «Человек без профессии», начинался с того, что в фойе театра встречаются два приятеля, не видевшиеся пятнадцать лет. Один из них — военный, а другой говорит о себе:

— Я, Леня, по другой линии.

— Но все-таки?

— Я, Леня, ответственный работник. — Вот как! По какой же линии?..

— Да я тебе и отвечаю — ответственный работник.

— Работник чего?

— Что чего?

— Ну, спрашиваю, какая у тебя специальность?

— При чем тут специальность! Честное слово, как с глухонемым разговариваешь. Я, голубчик, глава целого учреждения.

Учреждение это оказывается строительным трестом, но недоразумение продолжается. Директор строительного треста — по образованию не архитектор, не экономист, ни черта не понимает в строительных материалах.

³³ Журналист. 1967. № 6. С. 62.

— Позволь, ты говорил, что у тебя громадный опыт?

— Колоссальный. Ведь я на моей теперешней работе только полгода. А до этого я был в Краймолоче... Значит, в Краймолоче три месяца, а до молока в Утильсырье, а до этого заведовал музыкальным техникумом, был на профработе, служил в Красном Кресте и Полумесяце, руководил изыскательной партией по олову, заворачивал, брат, целым банком в течение двух месяцев, был в Курупре, в отделении Вукопсилки и в Меланжевом комбинате. И еще по крайней мере на десяти постах. Сейчас просто всего не вспомню...

— Не понимаю, какая у тебя все-таки основная профессия?

— Неужели непонятно? Осуществляю общее руководство.

— Да, да, общее руководство, это я понимаю. Но вот профессия... как бы тебе объяснить... ну вот пятнадцать лет назад, помнишь, я был слесаренком, а ты электромонтерничал... Так вот, какая теперь у тебя профессия?

— Чудак, я же с самого начала говорил. Ответственный работник. Вот Саша Зайцев учился, учился, а я его за это время обскакал... даже карьерку сделал.

— Есть, — сказал командир. — Теперь понятно. Карьерку! (Т. 3. С. 53-55).

Разнообразие должностей, которые занимал специалист по общему руководству, — не индивидуальная черта данного лица. Симпатичный директор «Клоопа» тоже перешел в свое таинственное учреждение из молочного треста; сменял одно учреждение за другим и еще один персонаж из рассказов Ильфа и Петрова — «добродушный Курятников» из одноименного рассказа (основанного, по-видимому, на материалах неосуществленного «Летучего голландца»):³⁴ в роли редактора он развалил «профсоюзную газету», в роли директора — консервный завод, «Комнатный театр», фабрику кроватей-раскладушек и т.д. (Там же. С. 82 — 86). Такова же судьба сходных персонажей в «Мастере и Маргарите». Даже после скандала, вызванного вмешательством нечистой силы, директора Варьете Степу Лиходеева «перебросили в Ростов, где он получил назначение на должность заведующего большим гастрономическим магазином», а заведующего Акустической комиссией Семплеярова «перебросили в Брянск и назначили заведующим грибозаготовительным пунктом».³⁵ Принципиальная «непотопляемость», способность при любых обстоятельствах (кроме самых чрезвычайных) оставаться на поверхности — важнейшая черта того социального типа, который лишь впоследствии получил наименование «номенклатуры».

Так постепенно рождается ответ на вопрос, поставленный еще в «Золотом теленке»: кто же подлинный командор великолепной машины, «настоящей жизни», за бортом которой оставались Остап

³⁴ На эту же тему был написан и рассказ Е.Петрова 1932 г. «Загадочная натура»(Т. 5. С. 439-443).

³⁵ Булгаков М. Собр. соч. Т. 5. С. 378-379.

и его компаньоны? «Ветчинное рыло» — этот страшный образ, возникший у Ильфа еще в ранней «Записной книжке» (Т. 5. С. 181), реализовался в «Золотом теленке» в фигуре Корейко — вора и подпольного миллионера (Т. 2. С. 230). Но Корейко был жалок и уязвим со своим «чемоданишком», который нужно было прятать по вокзальным камерам хранения, поминутно рискуя быть пойманным и разоблаченным. Настоящее «ветчинное рыло» опиралось не на деньги, а на карьеру, оставаясь при этом почти неуязвимым и занимая почетное место в государственной командорской машине.

Хотели этого авторы или нет, но внутри созданного ими роскошного экипажа оказывался новый вариант того же Чичикова, только более современный и удачливый. «Очень сомнительно, чтобы избранный нами герой понравился читателям... А добродетельный человек все же не взят в герои... Потому что... нет писателя, который бы не ездил на нем... Нет, пора, наконец, припрячь и подлеца. Итак, припряжем подлеца!»³⁶ — писал Гоголь в «Мертвых душах». Не отсюда ли и задуманное авторами название романа, в центре которого должен был оказаться не веселый авантюрист Остап Бендер, а человек, который «делает карьеру в советских условиях»?

«Клооп», водевиль «Сильное чувство» и рассказ «Последняя встреча» — таково было отражение в творчестве Ильфа и Петрова «зримых черт» нового общественного строя, установившегося в середине 1930-х гг. Случайно ли почти полное совпадение наименования «Клооп» с названием пьесы Маяковского, изображавшей счастливое общество будущего? Может быть, и случайно, но название это оказалось символическим. У Ильфа и Петрова был рассказ на другую тему — «Рождение ангела» — об обыкновенных киношниках, изготавливающих индустриальный фильм с главным положительным героем. Консультант-вундеркинд, участвующий в создании фильма, больше всего боится, чтобы фильм не походил на картины Чаплина, Довженко, Пудовкина.

— Ты, мальчик, не бойся, — успокаивает его взрослый кинематографист. — Как у Чаплина не выйдет... Не будет, как у Довженко. И как у Пудовкина не будет (Т. 3. С. 150—151).

Такой же убедительный и вместе с тем безнадежный вывод вытекал из картины эпохи, нарисованной Ильфом и Петровым. Не выйдет, как у Фурье, не будет, как в «Принципах коммунизма», и как в мечтах Маяковского не будет. Будет не как в «Клопе», а как в «Клоопе».

³⁶ Гоголь Н.В. Поли. собр. соч.: В 14 т. М., /95/. Т. 6. С. 223.

Но черты нового общества были изображены авторами только в нескольких рассказах и пьесе; роман «Подлец» остался замыслом писателей. В книге «Мой друг Ильф», начатой Е. Петровым через несколько лет после смерти его соавтора с явной целью придать максимальное благообразие их совместной творческой биографии (мы еще вернемся к этой книге), неудача с третьим романом всецело объясняется внутренними творческими причинами: «...писать смешно становилось все труднее. Юмор — очень ценный материал, и наши прииски были уже опустошены».³⁷ Иное объяснение привел Эренбург в книге «Люди, годы, жизнь», написанной тридцать лет спустя с похвальной целью рассказать (хотя бы частично) правду о прошлом. Упомянув споры о третьем романе, происходившие в Париже между соавторами, Эренбург привел слова Ильфа: «Как теперь нам писать?.. "Великие комбинаторы" изъяты из обращения. В газетных фельетонах можно показывать самодуров-бюрократов, воров, подлецов. Если есть фамилия и адрес — это "уродливое явление". А напишешь рассказ — сразу загалдят: "Обобщаете, нетипическое явление, клевета"... А стоит ли вообще писать роман?»³⁸

Свой третий роман Ильф и Петров так никогда и не написали.

³⁷ Журналист. 1967. №6. С. 61.

³⁸ Воспоминания об Илье Ильфе и Евгении Петрове. С. 182.

Глава VI

«ЛЕТИТ КИРПИЧ...»

Положение Ильфа и Петрова в середине 1930-х гг., внешне казавшееся благополучным, было в действительности очень трудным. Мы уже отмечали противоречивость их роли. Стремясь создать идеологическую отдушину, Мехлис (возможно, с благословения своего хозяина) приглашает в свою газету двух популярнейших юмористов страны. Им было разрешено бичевать «уродливые явления», избегая, однако, ненужных обобщений. А они между тем мечтали создать роман о «подлеце», делающем «карьеру в советских условиях», и писали рассказы, способные вызвать у читателя мысль о «типическом правиле».

Опасность этого пути они, конечно, сознавали, тем более что им не забыли напомнить о ней в связи с «Клоопом». Выход, который нашли сатирики, был довольно обычным: затрагивая острые сюжеты, они сопровождали их словесными оговорками, компромиссными формулами, декларациями о лояльности.

Постепенно в фельетонах Ильфа и Петрова все чаще стали появляться оговорки о частном и нетипичном характере изображаемых явлений — оговорки, над которыми сами они не раз смеялись.

Отдельные авторы отдельных книг, в единичных случаях изданных отдельными издательствами... в единичных случаях отдельные заведующие... (Т. 3. С. 131, 165).

Авторы начали сочинять оптимистические концовки и противопоставлять рисуемые ими невеселые картины чему-нибудь светлому и прекрасному. Например, в довольно ехидном фельетоне о собратях по перу «Литературный трамвай»:

Но хорошо, что трамвай движется... и что походная трамвайная дифференциация... готова перейти в большой и нужный спор о методах ведения советского литературного хозяйства (Т. 3. С. 175).

В другом фельетоне:

Ленин, погруженный в работу, громадную, неизмеримую, находил время, чтобы узнать, как живут... люди, которых он видел мельком, несколько лет назад... А у этих пятидесяти человек, которые, конечно, считают себя исправными жителями социалистической страны, не нашлось ни времени, ни желания, чтобы выполнить первейшую обязанность... гражданина Советского Союза — броситься на помощь... (Там же. С. 215).

Еще в одном месте — о людях, пользующихся блатом:

Вырвал из плана, смешал карты, спутал работу, сломал чьи-то чудные начинания, проник микробом в чистый и сильный советский организм (Там же. С. 229).

Наиболее отчетливо эта тенденция была выражена в фельетоне «Любовь должна быть обоюдной», посвященном весьма острой теме — о людях, попавших в литературу случайно, иногда по протекции, но выступающих от ее имени с заверениями о преданности власти.

Что уж там скрывать, товарищи, мы все любим советскую власть. Но любовь к советской власти — это не профессия, — заявляли авторы. — Надо еще работать. Надо не только любить советскую власть, надо сделать так, чтобы и она вас полюбила. Любовь должна быть обоюдной (Там же. С. 291-292).

Несмотря на некоторую неожиданность этого пассажа в данном контексте, он имел существенное значение. Еще несколькими годами раньше Ильф и Петров смеялись над подобными декларациями, сравнивая их с международными дипломатическими признаниями. Теперь же им пришлось письменно декларировать свою любовь к власти. Фельетон был написан в 1934 г., и мы можем сказать, пародируя авторов, что Ильф и Петров признали советскую власть вскоре после Соединенных Штатов.

Уступки выражались не только в отдельных декларациях. Среди поздних рассказов Ильфа и Петрова есть несколько таких, которые резко отличаются от всего написанного ими. Это фельетоны или, скорее, очерки, повествующие не об отрицательных, а о сугубо положительных элементах советской действительности. К числу таких «положительных» фельетонов принадлежат «Черноморский язык» («Хорошо стреляют в Черноморском флоте. То есть, когда стреляют хорошо — это у них считается плохо... Считается хорошо, когда стреляют отлично»)¹ и «М» — восторженный панегирик новому московскому метро (Там же. С. 354—357). Иной, но также вполне официальный характер имел фельетон «Россия-Го» — о белых эмигрантах и, в частности, о Нобелевской премии Бунина. Фельетон не лишен остроумия: описание лихорадочного эмигрантского ликования по поводу награждения Бунина и последовавших за этим «провинциальных парижских будней» (Там же. С. 343), вероятно, в какой-то степени соответствует действительности — оно во многом совпадает с тем, что писали сами эмигранты. Кроме того, Бунин мог бы, если бы захотел, ответить авторам, так что писать о нем было куда приличнее, чем ругать Пильняка. И все-таки полная «дозволенность» и даже желательность подобной сатиры на эмигрантов вызывает неприятное чувство. «...Сатира... бывает честная, но навряд ли найдется в мире хоть один человек, который бы предъявил властям образец сатиры дозволенной», — писал Булгаков в «Жизни господина де Мольера».² То есть предъявить, конечно, предъявляли, и не раз, но чем дозволеннее было предъявляемое, тем меньше оно имело прав называться честной сатирой, да и сатирой вообще.

К счастью, однако, «Черноморский язык», «М» и «Россия-Го» — редкое исключение в творчестве Ильфа и Петрова. Что же было главной темой их рассказов и фельетонов тех лет? Главное место в них занимала тема, давшая имя одному из фельетонов: «Равнодушие». Поводом для написания рассказа было событие, действительно происшедшее с одним из авторов.

Ночью понадобилось срочно отвезти жену в родильный дом, но «ночные такси свою работу уже закончили, а дневные еще не начинали». С трудом найденный автомобиль на половине пути испортился. Герой стал ловить проезжающие машины, которых было немало: «Что же вам сказать, товарищи, друзья и братья? Он остановил больше пятидесяти автомобилей, но никто не согласился ему помочь... Ни один из ехавших в тот час по Арбату не согласился уклониться в сторону на несколько минут, чтобы помочь женщине, рожавшей на улице».

Этот случай дал авторам повод заявить о великом и широко распространенном преступлении — равнодушии. Равнодушие проявила

¹ Ильф И., Петров Е. Как создавался Робинзон. 3-е изд., доп. М., 1935. С. 230.

² Булгаков М. Собр. соч. Т. 4. С. 308.

артель, снабдившая большой московский дом замками, отпирающимися «пером "рондо", и простым пером, и вообще любой пластиночкой», равнодушие проявляет чиновник, украсивший московские трамваи стихотворным плакатом, призывающим пассажиров сдавать шкурки забитых ими свиней (Т. 3. С. 217 — 218). На ту же тему рассказ «Костяная нога» — о московском докторе, женившемся на одесситке и ставшем жертвой восстановленной в 1932—1934 гг. паспортной системы:

Любимую не прописали в доме, потому что у нее не было московского паспорта. А московский паспорт она могла получить только как жена доктора. Женой доктора она была. Но загс мог признать ее женой только по предъявлении московского паспорта. А московский паспорт ей не давали потому, что они не были зарегистрированы в загсе... (Там же. С. 301).

Та же тема — равнодушие — в рассказах «Безмятежная тумба» (Там же. С. 327—333), «Чувство меры» (Там же. С. 376—381). Равнодушие, великое равнодушие отражается в идиотской организации принудительного отдыха («Веселящаяся единица», — Там же. С. 203 — 209), в превращении нового клуба в наглухо закрытое помещение, где никто ничего не делает, но зато развешено множество «политических плакатов» («Для полноты счастья», — Там же. С. 265—270), в изготовлении швейными фабриками безобразных костюмов и платьев с обязательным бантиком, делающим из девушки «фарсовую тещу» («Директивный бантик», — Там же. С. 276-283), в замене нормального обслуживания на вокзалах, в гостиницах и на курортных пляжах оглушительными

концертами обязательных оркестров («У самовара», — Там же. С. 310-315), в отказе государственных учреждений от внутреннего ремонта квартир («На купоросном фронте», — Там же. С. 346—353), в хамстве театральной администрации, аннулирующей уже купленные билеты в момент начала спектакля («Театральная история», — Там же. С. 358—363).

Борьба с равнодушием — вот, пожалуй, основной пафос рассказов и фельетонов, написанных Ильфом и Петровым в последние годы их совместной работы, также, как и большинства произведений Е. Петрова, созданных им после смерти соавтора. В связи с этим особенно удивительным представляется приведенное нами в начале книги утверждение Олега Михайлова о «моральном релятивизме» и отсутствии «ровного нравственного горения» в их сочинениях. «Равнодушие казалось нам преступлением» — эти слова Е. Петрова сделал заголовком статьи³ к 75-ле-

³ Лит. газ. 1978. 6 дек.

тию со дня рождения Петрова его приятель Лев Славин, явно отвечая на обвинения О. Михайлова.

Были ли эти проявления равнодушия «единичными случаями», «отдельными уродливыми явлениями»? Проницательный читатель имел все основания усомниться в этом. Служащий «Клоопа», вечно призываемый «поставить работу на высшую ступень», не может не быть равнодушен к ней и ко всему, не касающемуся его лично. В фельетоне «Человек с гусем» (первоначальное название «Жизнь по благу») исследуется все более распространявшаяся в стране система блага, изображается категория людей, беспрерывно твердящих некое загадочное склонение:

я — тебе, ты — мне, он, она, оно — мне, тебе, ему, мы — вам, они, оне — нам, вам, им.

Насколько широко распространена система блага, авторы видели уже в 1933 г., когда был написан «Человеке гусем»:

И наверно же у нас есть домики, выстроенные по благу, против плана...

У нас есть писатели по благу! (Немного, но есть.)

Композиторы по благу! (Бывают.)

Художники

Поэты

Драматурги

Кинорежиссеры.

(Там же. С. 229-230).

по благу - (Имеется некоторый процент)

Почему же, однако, это явление столь широко распространилось в советском быту? Об этом авторы прямо не говорили, хотя уже сам рассказ «Человек с гусем» начинался с весьма выразительной детали: герой хочет купить стосвечовую электрическую лампочку, в магазинах ее нет, и он, по совету своего старого друга, обращается к благу. Такой же острой необходимостью объясняется и поведение персонажа другого рассказа, некоего Посиделкина, прибегающего к сложнейшей системе знакомств и интриг для того, чтобы достать один-единственный билет в Ейск — «жесткое место для лежания». Казалось бы, проще всего обратиться в кассу, но «там билета не достанешь. Там, говорят, в кассах торгуют уже не билетами, а желчным порошком и игральными картами» («Бронированное место», — Там же. С. 13). Наиболее скептический читатель мог бы подумать и о связи блага со всей системой, при которой привилегии, положенные по чину, становились главной основой преуспевания. Профессиональный «ответственный работник» из рассказа «Последняя встреча», сделавший «карьерку», также, как и герой фельетона «Человек с гусем», гордится своими сокровищами: патефоном с польским танго, радио с динамиком, фотоаппаратом «Лейка» (в 1930-х гг. все это было еще роскошью!) и женой — «есть на что посмотреть». Читатель, сопоставляющий эти два рассказа, ясно понимает, что и там и здесь все получено по благу или «по сверхтвердой цене и со скидкой в тридцать процентов, так что почти ничего платить не пришлось». Это относится и к женам-красавицам:

...чудилось, что даже женились они по протекции, по чьей-то записочке, вне всякой очереди, — такие у них были подруги, отборные, экспортные, лучшие, чем, у других (Т. 3. С. 228).

Но если герой «Последней встречи» (он же, очевидно, и герой ненаписанного «Подлеца») оказывается двойником героя «Человека с гусем», то ясно, что блат — это вовсе не деятельность отдельных «приобретателей» и «идеологических карманников»: это нормальный способ существования людей, делающих «карьеру в советских условиях». «Я — тебе, ты — мне» — это просто форма безличных расчетов между привилегированными лицами.

Однако связь между темами рассказов 1932—1937 гг. нигде не раскрывалась авторами в обобщенном виде. Формально речь шла не о «типическом правиле», а только о «типических исключениях». Предметом обличения писателей стали рядовые граждане: управляемые или управители низшего ранга.

Бичевание пороков внутри собственной среды, строгий моральный самоанализ не раз объявлялись главной задачей писателей-сатириков и вообще мыслителей, пекущихся о человеческом благе. Уже Гоголь в специально сочиненной им «Развязке Ревизора» пояснял, что город, изображенный в пьесе, это «наш же душевный город» и «сидит он у всякого из нас»: «Таким же точно образом, как посмеялись над мерзостью в другом человеке, посмеемся великодушно над мерзостью собственной, какую в себе ни отыщем!»⁴

Стремление улучшить жизнь людей не путем изменения внешних условий существования общества, а в результате работы его членов над самими собой — эту задачу накануне революции ставили «Вехи». Обращение к проблемам нравственности и индивидуальным человеческим судьбам стало популярным и в 1960—1980-х гг. Именно этот моральный пафос сближал большинство диссидентов с наиболее порядочными представителями легальной литературы и печати. Читая последние фельетоны Ильфа и Петрова, мы неожиданно находим в них темы, воскресшие в статьях некоторых публицистов «Литературной газеты» брежневских лет. Защита несправедливо

⁴ Гоголь Н.В. Поли. собр. соч.: В 14 т. М., 1951. Т. 4. С. 130, 132.

обиженных, проповедь уважения к закону — таковы темы фельетонов Ильфа и Петрова «Дело студента Сверановского», «Старики», «В защиту прокурора», «Отец и сын», написанных в 1935 г. Благодаря вмешательству писателей было отменено бессмысленное и безграмотное решение судьи, обвинившего в злостном хулиганстве и осудившего на два года тюрьмы студента Сверановского из-за пустой трамвайной ссоры (Там же. С. 364—368, ср. с. 535). Писатели добились восстановления в институте другого студента, Окуня, которого исключили из вуза за то лишь, что его отец попал под суд (Там же. С. 398—400). Блестящая статья «В защиту прокурора» была посвящена широко распространенному явлению — юридической безграмотности советских администраторов, в одном случае доведших до самоубийства студентку Пронько, объявленную воровкой без всякого судебного расследования, а в другом — травивших молодого учителя, ложно обвиненного в сожительстве со школьницами. Возрождение «дикого, темного самосуда» авторы справедливо объясняли тем, что судебные учреждения, как они сдержанно выразились, «недостаточно популярны» (Там же. С. 389—397). Насколько острым был поднятый Ильфом и Петровым вопрос, видно уже из того, что статья «В защиту прокурора», по воспоминаниям их друзей, вновь вызвала недовольство высшего начальства и побудила Мехлиса сделать второй выговор писателям. Призывы уважать законную процедуру следствия и суда и даже находившуюся в загоне профессию защитников (их еще не разрешалось именовать старым названием «адвокаты») прозвучали несколько неловко во второй половине 1930-х гг., когда прокурорам и следователям были поручены совсем другие функции. Борьба за соблюдение юридических норм не оказалась успешной и в более далекой перспективе — недаром братьям Ильфа и Петрова по перу пришлось вновь вернуться к тем же вопросам почти полвека спустя.

Дух реформаторства, позитивной самокритики ощущается в последней книге писателей — «Одноэтажная Америка». Написанию этой книги предшествовало путешествие по Соединенным Штатам с осени 1935 г. до начала зимы 1936 г. (для Ильфа это была вторая поездка за границу — в 1933—1934 гг. он ездил с Петровым по Европе; для Петрова, ездившего еще в 1928 г., — третья). Нельзя не признать, что критики, обвинившие авторов в отходе от славных традиций обличения капиталистической Америки (традиций Горького и Маяковского), были не так уж неправы. Стремления во что бы то ни стало «казнить ненавистью» Соединенные Штаты в книге не ощущается. Цель ее скорее конструктивная и реформаторская — стремление понять недостатки и достоинства американской жизни и заимствовать кое-какие достижения великой индустриальной державы. Ав-

торы не описывали «страха американцев перед полицейским» (как хотелось бы их критикам) по той простой причине, что им ни разу не встретилось проявление такого страха. Критикуя общественный строй Америки, они в первую очередь обратили внимание не на силу, а на слабость государства, не способного защитить ни знаменитого летчика Линдберга, ни рядовую американку от похищения их детей бандитами.⁵ Совершенно искренне осуждали авторы убожество американской массовой культуры, расизм, широко распространенный среди белого населения. До войны в Советском Союзе совсем не было негров, и в пьесе «Под куполом цирка» Ильф и Петров, которым и в голову не могла прийти мысль о возможности негрофобии на их родине, имели основания противопоставлять в этом отношении советских людей американцам. Но одним из важнейших достоинств американского образа жизни они признали «демократизм в отношениях между людьми», указав, что «нам очень помогло бы изучение американских норм в отношениях между начальниками и подчиненными». Последняя фраза смутила редактора книги уже при ее первой публикации, и ее пришлось сократить, но тема все же осталась.⁶ Особенно привлекали авторов американская точность и деловитость, американский «сервис» — обслуживание любого вида потребителей:

У американского делового человека есть время для делового разговора. Американец сидит в своем офисе, сняв пиджак, и работает. Работает тихо, незаметно, бесшумно. Он никуда не опаздывает, никуда не торопится. Телефон у него один. Его никогда никто не дожидается в приемной, потому что «аппойнтмент» (свидание) назначается обычно с абсолютной точностью и на разговор не уходит ни одной лишней минуты... Когда он заседает — неизвестно. По всей вероятности, заседает он очень редко (Т. 4. С. 440—441).

⁵ Ильф И., Петров Е. Одноэтажная Америка. М., 1937. С. 353 — 354. В 1939 г. история с Линдбергом была выпущена из книги, вероятно, потому, что Линдберг перед войной занял профашистскую позицию (Ильф И., Петров Е. Собр. соч.: В 4 т. М., 1939. Т. 4. С. 368-369; ср.: Т. 5. С. 426-427).

⁶ Слова: «нам очень помогло бы изучение американских норм в отношениях между начальниками и подчиненными» вызвали (как и многие другие) возражения зам. редактора журнала С. Рейзина, и Евгений Петров (больной Ильф в переговорах не участвовал) предложил, прежде чем выкинуть, показать в отделе печати ЦК (об этих переговорах см.: Яновская Л. М. Почему вы пишете смешно? М., 1969. С. 201—202). В изданиях фраза была выпущена (Знамя. 1936. № 11. С. 112; Ильф И., Петров Е. Одноэтажная Америка. С. 366; ср.: Т. 5. С. 441).

Значение этих достоинств было еще раз подчеркнуто в фельетоне «Часы и люди», первоначально задуманном как глава «Одноэтажной Америки», но затем выделенном в особую газетную статью.

Крупный советский хозяйственник, жаждавший использовать американский опыт, пригласил авторов к себе на определенный день и час, но о свидании забыл; на заводе, куда они пришли, не работал не только диспетчерский телефон у главного инженера, но и часы у входа; человека, который должен был показать им завод, они ждали сорок минут в полутемном коридоре; по всему заводу беспрерывно шли люди — «Гулянье было, как на Тверском бульваре в выходной день»; и т. д. и т. д. (Т. 3. С. 401-407).

Но бесхозяйственность и бюрократизм были еще не самым плохим из того, что ждало писателей на родине. Они вернулись в начале 1936 г.; Илье Ильфу, у которого во время путешествия резко обострился туберкулезный процесс, оставался после поездки всего лишь год жизни — до весны 1937 г. И год оказался нелегким во всех отношениях.

Сразу же после возвращения писатели могли убедиться в том, что период некоторых послаблений для интеллигенции, начавшийся в середине 1932 г., кончился. Уже в конце 1936 г. в «Правде» была помещена статья «Сумбур вместо музыки», а в начале февраля 1937 г. — статья «Балетная фальшь»; обе они были направлены против Шостаковича. В марте там же были напечатаны статьи против «формалистов»-художников (В. Лебедева, А. Лентулова и др.). Слово «формализм», замелькавшее во многих статьях, получило теперь совсем иной смысл, чем оно имело в 1920-х гг. Раньше «формалистами» именовали литературоведов, считавших главным предметом своей науки изучение художественной формы произведений искусства (В. Шкловский, Ю. Тынянов), теперь этим именем клеймили самих художников, чьи творения оказывались непонятными народным массам, руководителям и, главное, самому вождю. Под удар критики попал и старый знакомый Ильфа и Петрова Михаил Булгаков. Уже много лет в театрах не ставили его новых пьес — шли только «Дни Турбиных», и только в Художественном театре. В 1936 г. ему как будто

посчастливилось: после долгой и мучительной работы МХАТ показал наконец его новую пьесу «Мольер». Но уже после нескольких представлений пьесы, 9 марта, в «Правде» появилась статья «Внешний блеск и фальшивое содержание», и пьеса была снята со сцены. В газетах продолжали разоблачать вредные явления в искусстве — «формализм» Мейерхольда, новые идейно-порочные сочинения Б. Пильняка. Но дело теперь не ограничивалось только «проработками» в печати или запрещением пьес и книг. В середине августа 1936 г. начался первый из больших процессов тех лет — процесс Зиновьева, Каменева и связанных с ними лиц. Как и на вредительских процессах, подсудимые полностью признавали свою вину, и на этих признаниях строилось обвинение. Но прежде такие признания избавляли жертвы процессов от смертной казни (желанием спасти свою жизнь и объясняли обычно советские граждане эти страшные самооговоры); на этот раз подсудимые были приговорены к расстрелу и казнены.

Затем мрачная тематика газетных статей частично сменилась светлой — в начале декабря 1936 г. была принята сталинская Конституция, обещавшая советским гражданам неприкосновенность личности и демократические свободы, а наиболее активным и сознательным из них — возможность объединяться в Коммунистическую партию (впрочем, конституционные торжества частично совпали с очередным политическим процессом, хотя и не таким крупным, как зиновьевский, — делом о вредителях и диверсантах из Кемерова, закончившимся расстрелом подсудимых). В январе 1937 г. был проведен второй процесс «троцкистско-зиновьевского блока» — на этот раз на скамье подсудимых оказались Пятаков, Серебряков, Сокольников, Радек и другие; вновь все подсудимые признали свою вину, и снова большинство из них было расстреляно. В феврале — марте 1937 г., за месяц до смерти Ильфа, состоялся пленум ЦК, на котором Сталин (в докладе «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников») заявил о неизбежности обострения классовой борьбы и усиления государства в бесклассовом обществе. Пленум исключил из партии Бухарина и Рыкова; на этом же пленуме они были арестованы.

Все это, конечно, касалось не только бывших вождей. Уже в декабре 1934 г., сразу после убийства Кирова, была расстреляна группа лиц, никак не связанных с его делом, но находившихся под следствием по обвинению в терроре; начались массовые высылки из Ленинграда дворян и других социально чуждых лиц. С 1936 г. происходили публичные осуждения и увольнения с работы и из творческих союзов бывших оппозиционеров и других идеологически вредных элементов; за увольнениями почти всегда следовали аресты. Среди исключенных из Союза писателей были прежние критики Ильфа и Петрова — Селивановский, Трошенко.

Впечатления советского гражданина, вернувшегося из-за границы в то время (чуть попозже Ильфа и Петрова), довольно выразительно передал Эренбург в своих мемуарах. Он вернулся из Испании; на вокзале его встретила дочь Ирина:

Мы радовались, смеялись; в такси доехали до Лаврушинского переулка. В лифте я увидел написанное рукой объявление, которое меня поразило: «Запрещается спускать книги в уборную. Виновные будут установлены и наказаны». «Что это значит?» — спросил я Ирину. Покосившись на лифтершу, Ирина ответила: «Я так рада, что вы приехали!..»

Когда мы вошли в квартиру, Ирина наклонилась ко мне и тихо спросила: «Ты что, ничего не знаешь?...»⁷

Имело ли все происходящее прямое отношение к основным темам творчества Ильфа и Петрова, и в частности к теме последнего задуманного ими романа — к теме карьериста, «Подлеца»? Несомненно. Думать, что «великий террор» был порождением злой воли всемогущего тирана, весьма наивно (особенно курьезно было, когда так рассуждали люди, считавшие себя историческими материалистами). Конечно, немало «подлецов» попало в мясорубку тех лет. Вряд ли мог уцелеть в 1937 г. герой «Бани» Победоносиков с его дореволюционным стажем и побегом из царской тюрьмы: такая же участь (по вероятному предположению А. Белинкова) ждала и Андрея Бабичева из «Зависти». Но каждое из мест, освобождавшееся заслуженными «подлецами» 1920-х гг., занимали новые «подлецы» — такие как герой «Последней встречи» («Человек без профессии»), бывший монтер, ставший в 1930-е гг. «главой целого учреждения»; или председатель «Клоопа». Биографии деятелей этого типа поразительно сходны — все они начинали со скромной «карьерки» руководителей небольших предприятий, а в конце 1930-х гг. внезапно взмыли ввысь. Дальнейшая судьба, естественно, складывалась у разных лиц по-разному — некоторые достигли впоследствии почти космических высот, но вполне стихийным считать такой полет нельзя. Осуществить «великий террор» без сигналов снизу было бы невозможно — сигналы же кто-то должен был подавать. И

именно при таких обстоятельствах «подлец» мог широко привлекать для своих целей «Воронью слободку»—ту самую, которую так горячо защищала от Ильфа и Петрова (а заодно, очевидно, и от Зошенко и Булгакова) Н. Я. Мандельштам. Где, как не в недрах коммунальных квартир, создавались самые обильные и разнообразные доносы 1930-х гг.? В «Золотом теленке» рассказывается о кляузах на полярного летчика Севрюгова, которые сочиняли жильцы «Вороньей слободки»,— кляузы эти, по словам авторов, могли бы погубить летчика, будь «у Севрюгова слава хоть чуть поменьше той всемирной, которую он приобрел своими

⁷ Эренбург И. Собр. соч.: В 9 т. М., 1967. Т. 9. С. 182.

замечательными полетами над Арктикой...» (Т. 2. С. 151). Но действие «Золотого теленка» относится к началу 1930-х гг. Что было бы, если бы такая история произошла в конце 1930-х гг.? Ведь всемирная слава у полярного исследователя Р. Самойловича, погибшего во время «ежовщины», была не меньше, чем у ильфопетровского Севрюгова.

Мог ли включиться в такой симбиоз «подлеца» и «Вороньей слободки» также Васисуалий Лоханкин? Конечно, мог. Мы уже отмечали, что никаких черт оппозиционности Лоханкин не обнаруживает; его готовность видеть «великую сермяжную правду» в учиненной над ним экзекуции сближает его скорее с «кающимися интеллигентами» эпохи «великого перелома». А как старательно эти «кающиеся интеллигенты» 1929—1930 гг. клеймили своих заблудших собратьев по перу и требовали осуждения вредителей, мы уже знаем.

В 1936—1937 гг. поддержка лояльной интеллигенцией мудрой политики вождя стала еще более широкой и громогласной, чем прежде. Этому отчасти содействовало то обстоятельство, что «мистика государства» уже начала обретать в конце 1930-х гг. свои традиционные исторические основы: была осуждена концепция М. Н. Покровского, враждебная русской государственности; возобновлена (под названием «Иван Сусанин»)долго не допускавшаяся на сцену опера Глинки «Жизнь за царя»; С.Эйзенштейн готовил патриотический фильм об Александре Невском. Интеллигенция отнюдь не склонна была теперь к «отщепенству от государства». О великом счастье быть современником Сталина писали и говорили по случаю принятия новой Конституции А. Н. Толстой, Л. Никулин, К. Федин, М. Слонимский, В. Каверин.⁸ Откликнулась интеллигенция и на кампанию против формализма. Снова каялся бывший формалист В. Шкловский,⁹ В. Катаев обличал¹⁰ критика Д. Мирского, пропагандировавшего в СССР вредное творчество Д.Джойса; В.Мейерхольд, уже начавший подвергаться нападкам, выступал в Ленинграде с обширным докладом «Мейерхольд против мейерхольдовщины», где солидаризировался, в частности, с осуждением булгаковского «Мольера».¹¹ Не очень удачным оказалось выступление Ю. Олеши. Он признался, что его первым ощущением после прочтения статьи против Д.Шостаковича был протест, но затем он понял невозможность «несогласия со страной» и признал, что «и на отрезке искусства

⁸ Лит. газ. 1936. 26 нояб. и 1 дек.

⁹ Там же. 15 марта.

¹⁰ Там же. 10 марта.

¹¹ Там же. 20 марта.

партия, как и во всем, права».¹² «Раздавить гадину» требовали во время зиновьевского процесса писатели, и среди них Артем Веселый, Н.Огнев, А. Свирский, К. Финн,¹³ К. Федин, В.Вишневский, Б.Пастернак, Л. Сейфуллина, Ф.Панферов, Л.Леонов.¹⁴ Вынесенный подсудимым смертный приговор поддержали Вишневский, Тренев, Леонов, Лахути, Луговской, Киршон, Шагинян, Инбер, Ясенский; с особыми статьями выступили А. Барто, В. Гусев и другие.¹⁵

Не менее блестящая плеяда имен поддержала осуждение Пятакова, Радека и других в январе 1937 г. Резолюция президиума ССП была подписана, наряду с Фадеевым и Сурковым, также Вс. Ивановым, Новиковым-Прибоем, Пильняком, Треневым, Шагинян, Сельвинским, Мирским и другими. Тут же стихи В.Гусева: «Каждая пядь советской земли властно требует их расстрела!», статьи А. Н. Толстого «Сорванный план мировой войны», Н.Тихонова «Ослепленные злобой», К. Фекина «Агенты международной контрреволюции», Ю. Олеши «Фашисты перед судом народа» (концовка: «Все враги... будут уничтожены!»), М. Шагинян «Чудовищные ублюдки», Вс. Вишневского «К стенке!», И.Бабеля «Ложь, предательство, смердяковщина», Л.Леонова «Терроризм», А.Платонова «Предел злодейства», С. Маршака, А. Новикова-Прибоя, В. Шкловского, Л. Славина и многих других.¹⁶ Над многими из требовавших «раздавить гадину» уже занесен был меч, и вполне

вероятно, что их усердие (как и старания остальных участников этого хора) подогревалось страхом за собственную жизнь.

Как же вели себя в этой обстановке Ильф и Петров? Последний год жизни Ильф тяжело болел, много времени провел вне Москвы — в Остафьеве, Кореизе, Малаховке, Форосе. Но, несмотря на это, ни он, ни тем более Е. Петров не были затворниками, они выступали в печати, ходили по Москве, навещали знакомых. Побывали они и у Булгакова. В дневниках Е. С. Булгаковой сохранилась такая запись за 26 ноября: «Вечером у нас: Ильф с женой, Петров с женой и Ермолинские... Ильф и Петров — они не только прекрасные писатели. Но и прекрасные люди. Порядочны, доброжелательны, писательски, да, наверное, и жизненно — честны, умны и остроумны».¹⁷

¹² Там же. 27 марта.

¹³ Там же. 20 авг.

¹⁴ Правда. 1936. 21 авг.

¹⁵ Лит. газ. 1936. 27 авг.

¹⁶ Там же. 1937. 26 янв.

¹⁷ Дневник Елены Булгаковой. М., 1990. С. 126; ср. с. 139.

Ермолинский вспоминал, видимо, иную встречу — с одним Ильфом, незадолго до его смерти:

В шутках их, подчас пронзительно едких, когда они начинали говорить о литературных делах, способных на подлость, было полнейшее единодушие. Ильф был болезнен, издерган, и, странно сказать, Булгаков рядом с ним казался моложе, беззаботнее.

Именно таким я видел Ильфа вскоре после возвращения его из Америки и незадолго до смерти...

Ильф вернулся угрюмым, больным... Булгаков развлекал его, как мог.

— Вы не думайте, мне тоже удалось показать себя на международной арене... Любезный советник из Наркоминдела представил меня некоему краснощекому немцу и исчез. Немец, приятнейше улыбаясь, сказал:

— Здравствуйте, откуда приехали?

Вопрос был, как говорится, ни к селу ни к городу, но немец говорил по-русски, и это упрощало дело.

— Недавно я был в Сухуми, в доме отдыха.

— А потом? — спросил немец, совсем уже очаровательно улыбаясь.

— Потом я поехал на пароходе в Батум...

— А потом?

— Потом мы поехали в Тбилиси...

— А потом? — с той же интонацией повторил немец.

— Потом... вот... я в Москве и никуда не собираюсь.

— А потом? — продолжал немец. Но тут, к счастью, промелькнул советник из Наркоминдела... И потащил меня от немца, который стоял, по-прежнему нежнейше улыбаясь, с застывшим вопросом на губах:

— А потом?

Ильф слушал с коротким смешком, непрерывно следя за рассказчиком, а затем перестал смеяться, опустил голову и произнес хмуро, повторяя интонацию немца, как только что делал это Булгаков:

— А потом! — И, посмотрев на него, добавил другим тоном: — Что все-таки потом, Михаил Афанасьевич?..¹⁸

Помимо дневниковых записей Булгаковой и воспоминаний Ермолинского сохранились и записи, сделанные людьми, уже не заставшими Ильфа и Булгакова, — со слов вдовы писателя. По воспоминаниям этих собеседников, Елена Сергеевна рассказывала, что Булгаков прочел Ильфу и Петрову «Мастера и Маргариту», и они убеждали его

¹⁸ Воспоминания о Михаиле Булгакове. М., 1988. С. 461—463.

убрать «древние главы» — в этом случае они «брались» за напечатание романа или «гарантировали» его.¹⁹ Сомнительность этих воспоминаний 1970-х гг., не подкрепленных дневником, очевидна. При жизни Ильфа соавторы никаким влиянием в издательских кругах не пользовались; только в 1936 г. они стали печататься в «толстом» журнале («Знамя»), да и то с трудом; Ильф в 1937 г. не только не мог ни за что «браться», но сам ждал губительного «кирпича». Одно из двух: либо «брался» напечатать какие-то фрагменты из романа Е. Петров, когда он стал в 1939 г. редактором «Огонька»²⁰ и членом редакции «Литературной газеты», либо оба автора ни за что не «брались», а просто высказывали свое мнение о том, какие главы наверняка не могли быть напечатаны.²¹ Но не менее пессимистически смотрели на напечатание романа и другие слушатели.

Но поздние воспоминания Е.С.Булгаковой, при всей их неточности, оказываются достаточно интересными. Все-таки Ильфу и Петрову Булгаков решился показать свою заветную книгу, которую читал немногим. А ведь он мог бы избрать кого-либо другого, например своих собратьев по коллективу, молодых писателей, привлеченных в 1920-х гг. МХАТом: Леонида Леонова или Всеволода Иванова.

М. Булгаков внимательно следил за газетами тех лет — события, происходившие вокруг, отразились и в последней редакции «Мастера и Маргариты».²² И он мог убедиться, что его собеседники не приняли участия ни в одной из кампаний 1936—1937 гг. — в отличие

¹⁹ Михайлов О. Верность. Родина и литература. М., 1974. С. 174; Шварц А. Жизнь и смерть Михаила Булгакова. Нью-Йорк, 1988. С. 158; Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова. М., 1988. С. 629.

²⁰ В пользу этого предположения свидетельствует та же запись А. Шварца, где приводится совет одного из друзей Булгакова по поводу напечатания: «Разве отрывок в "Огоньке", там Женя Петров, он поймет...»

²¹ В своих поздних воспоминаниях Е.С.Булгакова, дорожившая памятью о Булгакове, а не о его современниках, смешивала одних с другими, приписывая Таирову то, чего он не говорил (ср.: Дневник Елены Булгаковой. С. 304—305; Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова. С. 429—430), и путая Вересаева с Бурденко (Дневник Елены Булгаковой. С. 91 и 312).

²² Официальная советская критика утверждала, что поскольку «замысел» «Мастера и Маргариты» «полностью определился уже в 20-е годы» или в начале 1930-х гг., его не следует связывать с «печально известным 1937 годом» (Метченко А. Современное и вечное (О концепциях реализма) // Эстетика сегодня: (Актуальные проблемы). Сб. 2. М., 1971. С. 225; Утехин Н.П. Исторические грани вечных истин («Мастер и Маргарита» Булгакова) // Современный советский роман. Философские аспекты. Л., 1979. С. 196). В действительности роман (первые варианты которого относятся к 1929—1930 гг.) был начат Булгаковым заново в 1937 г., и работа над ним длилась до 13 февраля 1940 г. (Чудакова М. О. Архив М. А. Булгакова: Материалы для творческой биографии писателя // Зап. Отдела рукописей Гос. б-ки СССР им. В. И. Ленина. М., 1976. Вып. 37. С. 128—140). В романе отражены прямые реалии процессов конца 1930-х гг. На балу у сатаны, среди разных злодеев, появляется «новенький», который велел своему подчиненному, с целью повредить «одному человеку», «обрызгать стены кабинета ядом» (Булгаков М. Собр. соч. Т. 5. С. 262). Речь идет, несомненно, о признании Ягоды на процессе 1938 г. в его попытке отравить именно таким образом Н.И.Ежова. Нам не важно в данном случае, верил ли М.Булгаков в самооговор Ягоды, — важно, что здесь отражается его чтение газет в эти годы.

от большинства своих коллег, они не выступали ни против формализма, ни по поводу новой Конституции, ни, главное, в числе тех, кто требовал «раздавить» врагов народа. Так же поступили они и в 1929—1930 гг., но теперь это имело совсем другое значение, чем в годы «великого перелома».²³ Тогда они считались второстепенными писателями, и их мнения (как и мнения Булгакова) никто не спрашивал; теперь за их плечами были «Золотой теленок», фельетоны в «Правде», поездка в Америку. Выступление или невыступление в ходе кампаний 1936—1937 гг. вовсе не считалось случайным поступком, зависящим от стечения обстоятельств или настроения писателя. Недаром И. Эренбург, написавший и подписавший за свою долгую жизнь немало казенных писем и деклараций, на склоне лет с гордостью вспоминал свое неучастие в кампаниях времен «ежовщины»: «Много раз в редакции мне предлагали написать статью о процессах, о "сталинском наркоте"... Я отвечал, что не могу, — пишу только о том, что хорошо знаю, и не написал ни одной строки».²⁴

Могло ли молчание Ильфа и Петрова в самые острые моменты 1936—1937 гг. остаться незамеченным? Они работали в «Правде», новое редакционное помещение которой Ильф несколько раз изображал (в сугубо сатирических красках) в последней «Записной книжке». Это как будто ставило их в привилегированное положение, но вместе с тем делало их еще более уязвимыми. Бывший секретарь Сталина не только не склонен был защищать своих сотрудников от расправы, но

проявлял по отношению к ним сугубую беспощадность. Об этом сохранились очень яркие воспоминания Михаила Кольцова, записанные его братом Борисом Ефимовым.

²³ Единственное обнаруженное нами довольно общее упоминание о «кулаках» и «вредительстве» в колхозах встречается в очерке Ильфа и Петрова «Аллея побед» // Правда. 1935. 7 июля (т. е. через 5 лет после проведения коллективизации и раскулачивания).

²⁴ Эренбург И. Собр. соч. Т. 9. С. 185.

Откуда-то дует этакий зловеющий ледяной ветерок,— говорил Кольцов брату и на вопрос, в чем это проявляется, отвечал: — Конкретно ни в чем. Но я вижу это по Мехлису... Я вижу, я чувствую это по его улыбочкам, по его безукоризненно вежливому обращению... Кстати, на днях была замечательная сценка. Мехлис зачем-то приехал в «Правду»... Сидим в моем кабинете, и он вдруг говорит: «А знаешь, Миша, надо очень и очень присмотреться к Августу. Это, безусловно, замаскированный враг». Я обомлел. «Что ты, Лев?— говорю.— Август?! Этот честнейший, преданнейший большевик? Старый политкаторжанин?»— «Да, да, Миша,— отвечает Мехлис нетерпеливо и злобно,— именно он, честнейший и преданнейший...» И в это время в кабинет вошел... Август с газетными листами на подпись. Ты бы видел, как мгновенно и жутко переменялось лицо Мехлиса, как ласково и приветливо он заговорил: «А-а! Товарищ Август! Рад вас видеть! Как поживаете, дорогой? Как здоровье?..» А ведь Август, видимо, уже конченный человек... Это вопрос дней... Да-а... Вот как это делается...²⁵

Мы знаем, что Ильф и Петров уже дважды вызывали недовольство Мехлиса — рассказом «Клооп» и статьей «В защиту прокурора». Положение их в конце 1936—начале 1937 г. также не было особенно прочным. В задуманных и частично написанных Евгением Петровым воспоминаниях «Мой друг Ильф» упоминается одно обстоятельство, вовсе не соответствующее общему оптимистическому тону книги. «Одноэтажная Америка», написанная Ильфом и Петровым в 1936 г., была напечатана в журнале «Знамя» в № 10—11; отдельное издание еще не вышло (тираж появился в день смерти Ильфа). Неизвестно, знал ли Ильф о возможных политических обвинениях, которые предвидела и против которых предостерегала²⁵ Е. Петрова редакция «Знамени» (Ильфа, по болезни, оберегали от этих переговоров), но какую-то тревожность атмосферы он ощущал. «Летит кирпич», — так, по воспоминаниям Е. Петрова, характеризовал он обстановку в последние месяцы жизни.²⁶ И не

²⁵ Михаил Кольцов, каким он был: Сб. М., 1965. С. 69—70. Упоминаемый здесь Август Потоцкий до «Правды» работал в «Гудке» и описан в воспоминаниях М. Штиха (Воспоминания об Илье Ильфе и Евгении Петрове: Сб. М., 1963. С. 102—103). Слова Потоцкого (сказанные им ударившему его хулигану): «Ну, я не Христос» приводятся в ранней записной книжке Ильфа (Т. 5. С. 145).

²⁶ Журналист. 1967. № 6. С. 63. До появления рецензии в «Известиях» рецензий на «Одноэтажную Америку» не было: были лишь читательские отклики; но даже в них Л. Никулин, характеризуя книгу как «приятную, умную и веселую», счел необходимым оговориться, что недостатком книги является «чрезмерное увлечение американским «сервисом»» (Книга и пролетарская революция. 1937. №2. С. 121-122.)

ошибся. 21 марта 1937 г. в «Известиях» появилась первая рецензия на книгу под достаточно определенным названием «Развесистые небоскребы». Автором был некий В. Просин — мало известная фигура в публицистике тех лет, молодой журналист, прошедший несколько лет в Америке. «Советский читатель,— писал он,— хочет сравнить свои достижения, результаты побед пролетарской революции с положением своих братьев по классу». Далее упоминалась книга Б. Пильняка — одного из главных объектов газетной травли тех лет, и к ней «подвёрстывалась» «Одноэтажная Америка»:

И в ней, к сожалению, развесистые небоскребы. В стране имеется множество рабочих., живущих на урезанной зарплате... Где описание жизни этой части населения США?.. Почему... не показали жизни негритянского гетто — Харлема?.. Где же описание жизни американского фермера? Где картина фактического рабства и колониальной эксплуатации миллионов издолщников — негров на хлопковых плантациях?..²⁷

Особенно подозрительным показался рецензенту «Известий», как и Н. Атарову двенадцать лет спустя, американский спутник Ильфа и Петрова — мистер Адамс. Рассеянный В. Просин пере-

именовал его в «мистера Смита» и грозно вопрошал: «Да и кто говорит устами мистера Смита?» Самым забавным в этой истории было то, что подлинный прототип «Смита»-Адамса инженер Трон, сопровождавший писателей в путешествии, был убежденным коммунистом, мечтавшим поселиться в Советском Союзе²⁷ (нетрудно представить себе последствия такого переселения в 1937 г.). Казалось бы, авторы легко могли избавиться от многих нареканий критики, если бы рассказали о столь прогрессивных взглядах своего спутника, но они предпочли этого не делать, ограничившись указаниями на свободомыслие м-ра Адамса, его интерес к Лиге Наций и т.д.

²⁷ Статья В. Просина имела несколько двойственный характер: наряду с весьма серьезными упреками политического характера важное место занимали в ней замечания, посвященные сугубо частным вопросам. Создавалось впечатление, что политические упреки в рецензии были заданы, а автору были более дороги его американские воспоминания. Так, Просин доказывал, что в Нью-Йорке существует не одна аптека европейского типа, как утверждали Ильф и Петров, а несколько. Вероятно, имея в виду именно эти замечания Просина, Ильф писал в последней «Записной книжке», что «нельзя относиться к Нью-Йорку так, как это сделал бы санитарный инспектор» (Л. 33).

²⁸ См.: РГАЛИ. Ф. 1821, оп. 1, № 146.

Статья Просина уже не могла оказать влияния на судьбу Ильфа — после напечатания этой статьи ему оставалось жить меньше месяца. Но «Летит кирпич...» — это, очевидно, не только опасение за судьбу «Одноэтажной Америки». Это вообще настроение писателя в последний год его жизни.

Но и в этой обстановке Ильф не переставал работать, печатая на машинке — почти до дня смерти — свою последнюю книгу, совершенно необычную, даже не имеющую жанрового определения. Полностью она так и не была опубликована, а с купюрами была издана несколько раз как последняя «Записная книжка» писателя. Но это не такая записная книжка, какие вел Ильф прежде, рассматривая их как заготовки к будущим рассказам и романам.

Правда, два сюжета, которые могли быть реализованы в беллетристическом произведении (в дополнение к уже упомянутому замечанию об Остапе Бендере с граммофоном), в «Записной книжке» намечены. Ильф думал рассказать о создании советского киногорода и о затеянных в связи с этим путешествиях за границу двух экспедиций в Афины и Голливуд. После ряда достаточно нелепых приключений обе экспедиции, встретившись в Париже (в публичном доме «Сфинкс»), возвращаются на родину: «Они сами вскоре не понимают уже, были ли в Афинах, ходили ли по берегу Тихого океана. Иногда только спросонок один из них заорет: «Тудабл бэд». И это все» (Т. 5. С. 222).

Другой сюжет, разработанный более подробно, отчасти перекликается с «Мастером и Маргаритой»: как в романе Булгакова, здесь в современную жизнь вторгаются сцены, в которых участвуют древние римляне, но сцены эти развиваются не параллельно, как в «Мастере и Маргарите», а в едином действии. Римские легионы завоевывают советскую Одессу (обычно литературоведы говорят в этом случае о нэповской Одессе, но в действительности речь идет о посленэповском времени — после отмены частной торговли, которую восстанавливают римляне) и растворяются в ней (Там же. С. 226—230). Е. Петров отнесся к этому замыслу отрицательно, и Ильф, очевидно, понял его неосуществимость и ограничился набросками. Весь остальной текст «Записной книжки» не может рассматриваться как заготовки будущих сочинений. Не была последняя книга и дневником. Это замечал и сам автор:

«Если это записная книжка, то следовало бы писать подробнее и ставить числа. А если это только "ума холодных наблюдений", тогда, конечно... Начал я записывать в Остафьеве, потом делал записки в Кореизе, теперь в Малаховке» (Там же. С. 232).

От дневника и записной книжки последнюю работу Ильфа отличает и то обстоятельство, что ей предшествовал ряд рукописных записей и что здесь отражены не только события, происходившие во время ее написания, но и более ранние — начиная с февраля 1934 г. (смерть Багрицкого).

Евгений Петров, написавший предисловие к посмертному изданию «Записных книжек», справедливо заметил, что последнее произведение Ильфа «поэтично и грустно». Конечно, в какой-то степени это было связано с болезнью автора — он подводил итоги жизни, думал о приближающемся конце:

Такой грозный ледяной весенний ветер, что холодно и страшно делается на душе. Ужасно как мне не повезло... (Т.5. С.217).

<...> Раньше, перед сном, являлись успокоительные мысли. Например, выход английского флота, кончившийся Ютландской битвой. Я долго рассматривал пустые гавани, и это меня усыпляло... Теперь нет этого. Все несетя в диком беспорядке, я просыпаюсь ежеминутно. Надоело... (Там же. С. 219).

<...> Я сижу в голом кафе «Интуриста» на ялтинской набережной. Лето кончилось. Ни черта больше не будет. Шторм. Вой бесконечный, как в печной трубе. Я хотел бы, чтобы жизнь моя была спокойней, но, кажется, уже не выйдет. Лето кончилось, о чем разговаривать...

<...> Осадок, всегда остается осадок. После разговора, после встречи. Разговор мог быть интересней, встреча могла быть более сердечной. Даже когда приезжаешь к морю, и то кажется, что оно должно быть больше. Просто безумие (Там же. С. 236-237).

И все же дело было не только в собственной судьбе. У него хватало пушкинского гедонизма, чтобы радоваться окружающей «равнодушной природе»:

Когда я приехал в Крым, усталый, испуганный, полузадохшийся в лакированном и пыльном купе вагона, была весна, цвели фиолетовые иудины деревья, сутра до ночи пищали новорожденные птички... (Там же. С. 237).

<...> Севастопольский вокзал, веселый, открытый, теплый, звездный. Тополя стоят у самых вагонов. Ночь, ни шума, ни рева. Поезд отходит в час тридцать. Розы во всех вагонах (Там же. С. 248).

И о другой весне — московской, последней в его жизни:

Прогулка с Сашей в холодный и светлый весенний день. Опрокинутые урны, старые пальто, в тени замерзшие плевки, сыреющая штукатурка на домах. Я всегда любил ледяную красноносую весну (Там же. С. 247).

<...> Сквозь лужи Большой Ордынки, подымая громадный бурун, ехал на велосипеде человек в тулупе. Все дворники весело кричали ему вслед и махали метлами. Это был праздник весны (Там же. С. 266).

Беспросветный пессимизм обнаруживается в последней «Записной книжке» не там, где автор размышляет о неизбежной смерти, а там, где он пишет об окружающей жизни. Даже тема похорон в книжке не личная тема.

«Умирать все равно будем под музыку Дунаевского и слова Лебедева-Кумача...» — записал Ильф (Л. 14). Дунаевский и Лебедев-Кумач — создатели песен к фильму Г.Александрова «Цирк». Постановка «Цирка» касалась писателей и непосредственно: в основу фильма была положена пьеса Ильфа и Петрова «Под куполом цирка». Вернувшись из Америки в 1936 г. и увидев фильм, авторы были настолько возмущены его помпезностью, соответствующей всему духу наступавшей эпохи, и дурным вкусом режиссера, что сняли свои имена с титров фильма; не было даже упомянуто, что фильм снят по их пьесе (ср. в связи с этим запись: «В картине под названием "Гроза" нет имени Островского...», — Л. 14). Имя Григория Александрова («Гришки»), не расшифровывавшееся в изданиях, многократно возникает в последней книге Ильфа. «Варшавский блеск. Огни ночного Ковно. Гришкино счастье», — записал Ильф, имея в виду именно провинциальность вкусов режиссера (Л. 1; ср.: Т. 5. С. 216). Ильф сочинил даже фантастическую новеллу, связанную с популярной в те годы идеей создания «советского Голливуда» в Крыму, за которую ратовал и Александров, восхищенный Голливудом: «...конечно, когда он приехал в Голливуд, ему там все очень понравилось... Всюду продают апельсиновый сок, дороги великолепные...» (Л. 6). В фантазии Ильфа «Гришка» первенствует в киногороде, а затем бежит в «Асканию Нова», «где его по ошибке скрестили с антилопой на предмет получения мясистых гибридов» (Л. 1). Конечно, смысл этих замечаний не столько в досаде на Г. В. Александрова. Значение их в другом.

«Умирать... будем», а не «буду» — речь идет об обоих авторах, об итогах их писательской деятельности. Дунаевский и Лебедев-Кумач — это прежде всего официальные оптимисты тех лет, о которых не раз упоминал в своей книге А. Белинков. Именно ими был провозглашен тезис, которому предстояло «распространиться с быстротой и легучестью песни "У нас героем становится любой"».²⁹ Приведенные Белинковым слова — из марша «Веселых ребят»; оттуда же:

²⁹ Байкал. 1968. №2. С. 107, 111.

*И тот кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадет.*

Для «Цирка» Дунаевский и Лебедев-Кумач создали другой гимн – «Песню о Родине»: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек...»

Когда режиссеру И. Таланкину понадобилось в фильме «Дневные звезды» дать предельно лаконичное и выразительное изображение 1937 г., он ограничился мгновенным показом цоколя ленинградского Большого дома на Литейном и афиш фильма «Цирк».

Очевидно, у умирающего Ильфа творения великих оптимистов уже тогда вызывали сходные ощущения. Ильфа беспокоила будущая оценка их совместной с Е. Петровым писательской деятельности – отождествление их с тем направлением искусства конца 1920-х и 1930-х годов, которое отразилось в фильмах Г. Александрова и его соавторов, музыкального и поэтического.

Если природа вызывала у больного писателя какой-то душевный отклик, то в окружающем обществе он не видел никакого источника утешения. А ведь когда-то было иначе: в прежних записных книжках Ильф весьма оптимистично описывал преобразования в Средней Азии в 1920-х гг., маневры Белорусского военного округа в 1931 г. и т.п. Теперь же он не нашел ни одного доброго слова для описания времени, которое иронически называл «эпохой благоденствия».

О самых страшных событиях, происходивших вокруг, Ильф писал мало – в годы, когда могли быть «разысканы и наказаны» даже люди, спускавшие запретные книги в собственные унитазы, приходилось быть осторожным в личных записях. К главной теме тех лет относится лишь лаконичная фраза: «Композиторы уже ничего не делали, только писали друг на друга доносы на нотной бумаге» (Т. 5. С. 233), да ещё мрачноватый совет сторожа при морге: «Вы мертвых не бойтесь. Они вам ничего не сделают. Вы бойтесь живых» (Там же, С. 236). Упоминаются также характерные фигуры того времени: братья Тур, совмещавшие, как и их соавтор Шейнин, литературную и следственно-чекистскую деятельность: «По улице шли братья Тур, низенькие, прилизанные, похожие на тель-авивских журналистов».³⁰

³⁰ Зап. книжки И.Ильфа Л.10. Эта цитата, приведенная в 1-м издании книги, привлекла внимание М.Каганской и З. Бар-Селла (Каганская М., Бар-Селла З. Мастер Гамбс и Маргарита. Тель-Авив, 1984, С. 131; 181, примеч. 118; ср. с. 5, 39-40). Упоминание о тель-авивских журналистах побудило авторов высказать догадку, что Ильф мог побывать в Палестине на обратном пути из Америки. Это недоразумение. Упоминание палестинских реалий в записных книжках – отражение иронического отношения Ильфа к книге его товарища С.Гехта (Т. 5. С. 260-261; Гехт С. Пароход идет в Яффу и обратно. М., 1936, С. 9., 35).

Зато быт новой эпохи обрисован всесторонне. За последний год своей жизни Ильф ездил в разных видах транспорта и побывал во многих местах; он не раз имел возможность наблюдать жизнь различных слоев общества.

Система Союзтранса. Толчая. Унижение. Высокомерие... (Там же. С. 245).

<...> «За нарушение взимается штраф». Вот, собственно, все сигналы, которые имеются на наших автомобильных дорогах. Впрочем, попадаете и такая надпись: «Пункт по учету движения». Пункт есть, учета, конечно,, нет (Там же. С. 243).

<...> Как только мы водворились на пароходе, обнаружилось, что повар проворовался. Составили акт... Диваны в каюте были обиты светло-коричневой акушерско-гинекологической клеенкой. Было жарко, простыни сползли, и клеенка прилипла к голому телу (Там же. С. 259).

<...> В грязи вокзала, в сумбуре широких и мрачных деревянных скамей, где храпят люди и их громадные мешки. Мешки такие большие, будто в них перевозят трупы... (Там же. С. 243).

<...> Внезапно, на станции Харьков, в купе ворвалась продащица в белом халате, надетом на бобриковое пальто, и хрипло заорала: «А ну, кому ириски? Кому еще ириски? Есть малярные капли!» Капли— это был коньяк (Там же. С. 238).

<...>

— Бога нет!

— А сыр есть? — грустно спросил учитель (Там же. С. 236).

<...> Пошел в Малаховку покупать мисочку. В малаховском продмаге продается «акула соленая, 3 рубля кило». Длинные белые пластины акулы не привлекают малаховскую обществен-

ность. Она настроена агрессивно и покупает водку... Все-таки непонятно, откуда взялась соленая акула. Мисочки не нашел. Еще продается лещ вяленый и копченый (Там же. С. 239—240).

...Еще продаются в продмаге мухи. На маленьком черном куске мяса сидит тысяча мух, цена за кило мух 5 рублей. Недорого, но надо самому наловить (Там же. С. 241).

...Газетный киоск на станции Красково, широкой и стоящей между шеренгами сосен. Газет нет совсем, имеется журнал «На суше и на море» за июнь прошлого года, хотя даже за этот год он не вызвал бы волнения... журнал «Ворошиловский стрелок», книжка на еврейском языке, химические карандаши «Копирка» и детские краски на картонных палитрах. Таким образом, узнать, что делается на суше, на море, на воздухе и на воде нельзя, надо для этого поехать в Москву... Да, еще продаются приборы для очинки карандашей под названием «Канцпром». Все (Т. 5. С. 249—250).

...На мутном стекле белела записочка: «Киоск выходной». Тоска, тоска навеки (Там же. С. 248).

...В пыли, среди нищенских дач, толстозадая лошадка везет задумчивых седоков (Там же. С. 241).

Но дачи встречаются не только нищенские. Упоминаются и другие, роскошные, но сменившие хозяев:

Дачи имели странных владельцев: МСНХ, Бюробин. Бог знает, кто теперь на этих дачах живет. На даче Бюробина еще стоял, некогда привлекательный, торгсиновский запах настоящей олифы, настоящих белил, всего настоящего и недавно еще недостижимого (Зап. книжки И.Ильфа. Л. 23).

«Торгсиновский запах» — это уже прошлое, но новый зажиточный быт в Москве, в дорогих домах творчества и пансионатах — черта именно тех лет, когда девизом стали слова вождя: «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее».

Быт этот нашел отражение в последней книге Ильфа:

Бал эпохи благоденствия. У всех есть дети, у всех есть квартиры, у всех есть жены. Все собираются и веселятся. Джина не пьют. То ли смущает квадратная бутылка, то ли вообще не любят новшества. За стол садятся во втором часу. Расходятся под утро. Тяжело нагруженная вешалка срывается с гвоздей. В следующий раз все происходит точно так же. Джин (не пьют), вешалка (срывается), расходятся только к утру (Т. 5. С. 237).

<... > Приап домов отдыха. Я встретил его зимой. Он был в дорогой шубе и шапке из меха черной пантеры...

Пансионат Интуриста недалеко от Болшево... Бешеное воровство. Сиделка, старая биндюжница и дура. Пансионат пришлось закрыть до срока...

Сухопарый идиот дирижировал детским оркестром. Мальчишки — фантастические дураки... Это были гордые дети маленьких ответственных работников (Зап. книжки И. Ильфа. Л. 33).

<... > В этой редакции очень много ванн и уборных. Но я ведь прихожу туда не купаться, не мочиться, а работать. Между тем работать там уже нельзя (Т. 5. С. 232).³¹

³¹ Зап. книжки И.Ильфа. Л. 11. В издании слова «не мочиться» были выпущены.

Невозможность работать не только в изображенной здесь редакции «Правды», но и во всей «сфере производства», которой непосредственно занимались Ильф и Петров, — еще одна важная тема последней книги:

Это неприятно, но это факт. Великая страна не имеет великой литературы» (Зап. книжки И.Ильфа. Л. 29).

<...> Книжная инфляция, болезнь изнурительная, вроде сахарного мочеизнурения» (Т. 5. С. 223).

<... > Чувство стыда не покидает все время. Пьеса написана так, как будто никогда на свете не было драматургии, не было ни Шекспира, ни Островского. Это похоже на автомобиль,

сделанный с помощью только одного инструмента— топора. Унизительно, примитивно... (Там же. С. 245).

<...> Вся пьеса построена на честном слове. «Если вы мне верите, вы не станете меня спрашивать. Я говорю, что так было. Верьте мне» (Там же. С. 254).

Но недостаточные художественные достоинства произведений искусства с лихвой восполнялись величайшим оптимизмом, присущим всем видам идеологии:

На съезд животноводов приехал восьмидесятилетний пастух из Азербайджана. Он вышел на кафедру, посмотрел вокруг и сказал: «Это какой-то дивный сон» (Там же. С. 233).

Конечно, «все», упомянутые Ильфом, это не вся огромная страна, а достаточно тонкий слой общества. Но жить «лучше» и «веселее» предписывалось и рядовым гражданам, в частности и колхозным «пейзанам»:

«В колхозе огромный подъем. За зиму отпраздновали 100 свадеб. Лучшие женихи достались пятисотницам». Известия. Боже, как все это далеко от того идеала, который рисовал нам Ванька Макарьев! (Зап. книжки И.Ильфа. Л. 6).³²

Речь идет об одном из ведущих рапповских критиков И. С. Макарьеве. Что именно писал Макарьев в 1920-х и начале 1930-х гг. о семье и браке при социализме, неизвестно, но догадаться нетрудно: это были, очевидно, вариации на тему известных рассуждений Энгельса о том, что уничтожение капиталистического производства «устранит

³² В опубликованном тексте «Записных книжек» есть другое отражение этой темы: «Только некультурностью населения можно объяснить то, что в редакции еще не выбиты все стекла. Это после появления заметки о том, что "лучшие женихи достались пятисотницам". Пропаганда пошлости» (Т. 5. С. 254).

все побочные экономические соображения» при заключении брака и «не останется никакого другого мотива, кроме взаимной склонности». Это действительно очень далеко от брака из-за комнаты в «Сильном чувстве» и распределения лучших женихов среди невест с наибольшим количеством трудоней.

Хорошо организованные браки между лучшими женихами и соответствующими невестами, как водится, дополняются неузаконенными любовными связями. Эта тема также широко отразилась в последней «Записной книжке»:

Бесчувственная, ассирийская жажда жизни и наслаждений (Т. 5. С. 263).

<...> «В конце концов я тоже человек,— закричал он, появляясь в окне.— Что это? Дом отдыха или...» Он не закончил, так как сознавал сам, что это давно уже не дом отдыха, а это самое «или» и есть (Там же. С. 219).

<...> Если эти дома нельзя назвать публичными, то все-таки некоторая публичноватость в них есть. Этот дом отдыха славился на всем побережье своей развращенностью и чисто римским падением нравов. Так было из года в год. Уже и врачи махнули на это рукой... (Зап. книжки И.Ильфа. Л. 31).

<...> Дом отдыха в Остафьево, переполненный детьми и половыми психопатками, которые громко читают Баркова, брошенными женами, худыми, некрасивыми, старыми, сошедшими с ума от горя и неудовлетворенной страсти. Они собираются в кучки и вызывающе громко читают вслух Баркова. Есть от чего сойти с ума! Мужчины бледнеют от страха.

Белые, выкрашенные известкой колонны сами светятся. На соломенных креслах деловито отдыхают Саша и Джек. Брошенные жены смотрят на них с благоговением и с надеждой на совокупление. Поэты ломаются, говорят неестественными голосами «умных вещей»... Вечером брошенные жены танцуют в овальном зале с колоннами... Брошенные жены танцуют со страстью, о которой могут только мечтать мексиканки. Но гордые поэты играют в шахматы, и страсть по-прежнему остается неразделенной (Т. 5. С. 234 — 235).³³

<...> *Истощенные беспорядочными половыми сношениями и абортами, смогут ли они что-нибудь написать?* (Там же. С. 233).

<... > *Остафьево. Наконец это совершилось. К обеду она вышла еще более некрасивая и жалкая, чем всегда, но чертовски счастливая. Он же сел за стол с видом человека, выполнившего свой долг. Все это знали, и почтительный шепот наполнил светлое помещение...* (Там же. С. 219).

<...> *На Петровских линиях учрежденческий сторож сдавал комнаты учреждения проституткам. За обыкновенную комнату он брал 3 рубля, а за кабинет начальника 5 рублей. Потом это обнаружилось, пришла милиция и забрала сторожа. Но с тех пор, когда начальник учреждения говорил, что идет к себе поработать, все со смехом отвечали, что знают, как он собирается поработать* (Зап. книжки И.Ильфа. Л. 14).

<...> *Ильина была типичной мещанской Мессалиной, которая обворожила подсудимого массивностью и выпуклостью своих форм* (Т. 5. С. 263).

<... > *История одной жизни. Ее развернул заведующий домом отдыха. Развернул теоретически и подослал молодого человека. И только потом стал с ней жить. Зато никто бы не обвинил его в том, что он воспользовался неопытностью девушки* (Зап. книжки И.Ильфа. Л. 27).

Говоря о временах юности Ильфа, мы уже приводили заметки из последней «Записной книжки», относящиеся к предреволюционному быту. Воспоминания эти идут попеременно с наблюдениями над окружающей автора действительностью, и у читателя естественно возникает мысль, что параллель эта не случайна. Круг замкнулся, и «эпоха благоденствия» 1934—1937 гг. оказалась неожиданно похожей на 1913 г. — «блестящий, пышный» предвоенный год, как назвал его когда-то М.Булгаков.³⁴

Но какое же место занимали в этом мире собратья Ильфа — интеллигенты, те самые, которым присваивалась столь важная роль в предреволюционные и первые послереволюционные годы и которых так усердно защищают от Ильфа и Петрова критики последнего десятилетия?

Как и в предыдущих своих сочинениях, Ильф и в «Записной книжке» ни разу не задевает и даже не упоминает интеллигентов, претендующих на собственное мнение. Интеллигенты, о которых он пишет, — это не оппозиционеры, а прежде всего приспособленцы и стяжатели: именно в этой связи Ильф вспоминал своих братьев по перу, занимавшихся автогенной сваркой ради «наибольшего приближения к индустриальному пролетариату». К этой же теме относятся и следующие записи:

Оскорбленный голос писательницы: «Товарищи, дайте мне доформулировать». Ах, какая беда, не дают доформулировать (Т. 5. С. 220).

³³ Зап. книжки И.Ильфа. Л. 13. В издании название Остафьево, слова «детьми и половыми психопатками, которые громко читают Баркова», и «на совокупление» опущены.

³⁴ Булгаков М. Собр. соч. Т. 4. С. 553.

<...> *На дискуссии он признался не только в формализме, но и бюрократизме, а также в волоките* (Т. 5. С. 224).

<... > *Он обещал на съезде, что родит роман и сына. Роман появился, плохой роман. А где же сын? Или вместо сына произошел аборт?* (Зап. книжки И.Ильфа. Л. 18).

В этой последней записи речь идет о писателе А. Авдеенко, который произнес на VII Съезде советов СССР речь «За что я аплодировал Сталину?», явившуюся одним из этапов в нарастающем культе вождя:

*Я пишу книги, я — писатель, я мечтаю создать незабываемое произведение... Я продолжаю свой род, он будет счастливым — все благодаря тебе, великий воспитатель Сталин... — заявил Авдеенко. — Когда моя любимая женщина родит мне ребенка, первое слово, которому я его выучу, будет: Сталин.*³⁵

<...> *Пишет стихи, словно выбирает почетный президиум. Обязательно упомянет весь состав.*³⁶

Преданность вождю и почетному президиуму не оставалась невознагражденной:

Когда я заглянул в этот список, то сразу увидел, что ничего не выйдет. Это был список на раздачу квартир, а нужен был список людей, умеющих работать. Эти два списка никогда не совпадают. Не было такого случая (Т. 5. С. 262).

<...> «В погоне за длинным рублем попал под автобус писатель Графинский». Заметка из отдела происшествий (Там же. С. 246).

<...> Уже похороны походят на шахматный турнир, а турнир на похороны... Кто Багрицкого хоронит, кто сухой паек несет... (Зап. книжки И.Ильфа. Л. 11).

<...> Художники ходят по главам, навязывают заказы. «Опыт предыдущих лет... По инициативе товарища Беленького...» Деньги дают легко... (Т. 5. С. 233).

<...> Литературная компания, где богатству участников придавалось большое значение... Там был один писатель, которого надо было бы провести в виконты, — он никогда не ездил в третьем классе, не привелось... А занимались они в общем халтурой, дела свои умели делать... (Там же. С. 258 — 259). <...> Он придет ко мне сегодня вечером, и я заранее знаю, что он будет мне рассказывать, что тоже не отстал от века, что у него тоже есть деньги, квартира, жена, известность. Ладно, пусть рассказывает, черт с ним! Он лысый, симпатичный и глупый, как мы все (Там же. С. 237).

³⁵ Правда. 1935. 1 февр.

³⁶ РГАЛИ. Ф. 1821, оп. 1, № 132, л. 15 об.

<...> Я ехал в международном вагоне. Ну, и очень приятно! Он подошел ко мне и извиняющимся голосом сказал, что едет в мягком, потому что не достал билета в международный. Эта сволочь считает, что если едет в мягком вагоне, то я не буду его уважать, что ли? (Там же. С. 232).

Перед нами действительно примечательное происшествие. Собеседник Ильфа, явно такой же интеллигент, как и сам писатель, и вдобавок гражданин уже официально провозглашенного бесклассового общества, был обеспокоен тем, что может потерять уважение своих собратьев, если будет ездить не в том классе, в каком ездят остальные.

И это явно не единичный факт, а некое общественное явление, беспокоившее писателя. В его последней книге появляется характерное и на первый взгляд довольно странное выражение «непуганые идиоты»:

«Край непуганых идиотов». Самое время пугнуть (Там же. С. 239), — записал он.

И в другом месте снова:

В каждом журнале ругают Жарова. Раньше десять лет хвалили, теперь десять лет будут ругать. Ругать будут за то, за что раньше хвалили. Тяжело и нудно среди непуганых идиотов.³⁷

Александр Жаров, автор пионерского гимна «Взвейтесь кострами, синие ночи...», был действительно не в чести в те годы: для критиков он стал как бы классическим примером «мертвящего шаблона» в поэзии. Уже в начале 1936 г. в рецензии на новые сборники стихов А. Жарова и Джека Алтаузена Ю. Севрук писал: «Жаров и Алтаузен далеко отстали от уровня современной поэтической культуры. Жаров и Алтаузен утратили ту спаянность с пролетарским коллективом, которую они имели в первые годы своей литературной работы».³⁸ 6 марта в «Комсомольской правде» появилась редакционная статья (без подписи) «Разговор по душам», прямо направленная против Жарова, Алтаузена и других комсомольских поэтов, которые «так и не поднялись» выше своих ранних произведений: «...читатель значительно вырос, а поэты, о которых идет речь, отстали». В 1936 г. Жарова ругали в «Литературной газете» еще несколько раз (15 марта,

³⁷ Ильф И. Записные книжки. С. 175 (в Собрании сочинений выпущено).

³⁸ Севрук Ю. Все в той же позиции... // Книга и пролетарская революция. 1936. № 1. С. 49-52.

30 июня). В начале 1937 г., во время юбилейного «пушкинского» пленума, обиженные комсомольские поэты предприняли попытку контраступления. Они использовали то обстоятельство,

что первым, кто начал их критиковать, противопоставляя поэтам большой поэтической культуры — Пастернаку, Сельвинскому и Тихонову, был Бухарин (в докладе на съезде писателей в 1934 г.),³⁹ а Бухарин после январского процесса Пятакова и Радека был уже обреченной фигурой. «Как это могло случиться,— вопрошал Джек Алтаузен,— что в течение долгого времени группа людей во главе с Бухариным и его подголосками подсовывали Пастернака советскому народу... дисквалифицируя и оглушая таких поэтов, как Демьян Бедный, Безыменский... Жаров?..»⁴⁰ Но и этот аргумент не возымел действия. Всегда хорошо осведомленная партийная критикесса Е.Усиевич отвергла «подкинутую Бухариным» дилемму — «либо хорошие "аполитичные" стихи, либо "агитки" — либо Б. Пастернак, либо А. Жаров», и заявила: «Чтобы разбить и разоблачить остатки буржуазной вредительской теории, в свое время усиленно пропагандировавшейся "литвождями" из РАПП и снова подsunутой нам на Всесоюзном съезде Бухариным, следует не кидаться от псевдоаполитичного Пастернака к псевдоспециалистам по политической поэзии — А. Жарову и М. Голодному, а бороться за подлинную высокую поэзию, которая всегда будет и подлинно политической поэзией».⁴¹ В этом же духе высказался и Фадеев, все более приближавшийся после смерти Горького к роли литературного вождя. Прочитав стихи Пушкина «Художнику», он заявил: «А что делать, к примеру, если Жаров... пишет все хуже и хуже. Трудно, входя в его мастерскую, сказать: "Гипсу ты мысли даешь, мрамор послушен тебе"... Вот почему, когда я встречаюсь с Жаровым, мы в плане искусства мало что можем сказать друг другу...»⁴²

Ругали Жарова не только литературные вожди и критики; осуждали его и собраты-поэты — Сурков,⁴³ Безыменский,⁴⁴ А. Адалис.⁴⁵ Резко выступая на собрании писателей в Ленинграде против Б. Пастернака, Н. Заболоцкий пояснил в духе Фадеева и Усиевич, что критика Пастернака не означает солидарности «с Уткиным, Жаровым,

³⁹ Первый Всесоюзный съезд советских писателей: Стенограф, отч. М., 1934. С. 492-493.

⁴⁰ Лит. газ. 1937. 26 февр.

⁴¹ Усиевич Е. Кспорам по политической поэзии // Лит. критик. 1937. №5.77-78,102.

⁴² Лит. газ. 1937. 10 марта.

⁴³ Там же. 1935. 31 дек.

⁴⁴ Там же. 1936. 26 янв.

⁴⁵ Там же. 20 марта.

Алтаузенем, которые нас мало удовлетворяют в смысле художественной ценности их произведений».⁴⁶

Отвращение Ильфа к этой антижаровской кампании не свидетельствовало о том, что он был поклонником творчества или приятелем поэта. В одном из рассказов Ильфа и Петрова упоминаются стихи некоего Аркадия Парового «Звонче голос за конский волос» (Т. 3. С. 31); это явная пародия на название одного из стихотворений Жарова — «Голос за силос».⁴⁷ В заметке об Остафьеве в «Записной книжке» как раз упоминаются «Саша» (Жаров) и «Джек» (Алтаузен), которые ломаются перед благоговейно вззирающими на них дамами, «говорят неестественными голосами "умных вещей"» (Т. 5. С. 234). Несомненно, прежние похвалы Жарову были Ильфу не более по душе, чем нынешняя ругань. Горькие слова о «непуганых идиотах» вызваны прежде всего тем, что Жарова раньше хвалили все, а теперь таким же образом ругают все, причем ругают за то, за что раньше хвалили. Поражала Ильфа именно стадность всеобщего мнения.

Не менее выразителен и образ, созданный писателем для обозначения этого единогласия. «Край непуганых идиотов», конечно, пародирует «В краю непуганых птиц» М. Пришвина. Почему Ильф вспомнил эту книгу? В 1934 г. вышло новое издание «В краю непуганых птиц», радикально отличавшееся от первого, написанного еще до революции. Издание 1934 г. было дополнено первой частью, где воспевался только что построенный трудом заключенных Беломорско-Балтийский канал и утверждалось, что «совокупность проблем» «Войны и мира» «в сравнении с тем, что заключено в создании канала, мне кажется не так уж значительной». Часть этих глав автор заполнил статистическими таблицами, «календарем строительства», «рапортом зам. председателя ОГПУ т. Ягоды».⁴⁸ Ильфа поспешная старательность старого писателя поразила тем более, что сам он (вместе с Петровым), как мы уже знаем, отверг предложение участвовать в книге, прославляющей канал.

Но почему же все-таки «идиоты» именуется «непугаными»? Граждан 1937 г. скорее можно было назвать «напуганными». Но одно не противоречило другому. Испуг перед властью парализовал все остальные эмоции; люди почти перестали думать о таких вещах, как справедливость или несправедливость своих слов и дел, о возможных

⁴⁶ Лит. Ленинград. 1936. 26 марта.⁴⁷ Правда. 1930. 31 июля.⁴⁸ Пришвин М. В краю непуганых птиц. Онего-Беломорский край: Очерки. М.; Л., 1934. С. 30-70.

упреках совести, об оценке совершенных ими поступков со стороны современников и потомков.

*Хоть есть охотники поподличать везде,
Но нынче смех страшит и держит стыд в узде...—*

эта формула совсем не действовала в то время. Общество воистину стало монолитным — каждый поступал как все. Интеллигентов начала XX в. упрекали в «народопоклонстве», в эгалитаризме. Теперь с этими недостатками было покончено. Собратьев Ильфа нисколько не смущали пустота в продмаге и газетном киоске, нищета и грязь на вокзалах, железных и автомобильных дорогах, невозможность работать в литературе и искусстве. Они беспокоились о другом: не отстать от века и от других, иметь деньги, иметь квартиру, жену, известность, ездить в подобающем им по рангу вагоне поезда, выступать на писательских собраниях, разоблачая формализм и прочие идеологические пороки и стремясь обязательно «доформулировать» все до конца. Всеобщее единогласие делало это общество как бы «краем непуганых птиц», не боявшихся ни смеха над собой, ни стыда.

Как и в фельетонах «эпохи благоденствия», Ильф и в последней «Записной книжке» постоянно обращался к теме всеобщего равнодушия, но в книге, не предназначенной для печати, ему не нужно уже было делать вид, что эти факты — лишь «типические исключения»:

Бесконечные коридоры новой редакции. Не слышно шума боевого, нет суеты. Честное слово, самая обыкновенная суета в редакции лучше этого мертвящего спокойствия. Аппарат громадный, торопиться, следовательно, незачем, и так не хватает работы. И вот все потихоньку привыкли к безделью... (Т. 5. С. 231).

<...> Шестилетняя девочка 22 дня блуждала по лесу, ела веточки и цветы. После первых дней ее перестали искать. Мир не видел таких сволочей. Что значит не нашли? Умерла? Но тело найти надо? Почему не привели розыскную собаку? Она нашла бы за несколько часов.

...Все время передавали какую-то чушь. «Детская художественная олимпиада в Улан-Удэ», «Женский автомобильный пробег в честь запрещения аборт», а о том, что всех интересовало, о перелете, ни слова, как будто и не было никакого перелета... (Там же. С. 262).⁴⁹

⁴⁹ Речь идет, по всей видимости, о перелете С. Леваневского из США в СССР через Тихий океан летом 1936 г. (в следующем году другой полет Леваневского, через Северный полюс, кончился катастрофой, но это было уже после смерти Ильфа). Вылет Леваневского подробно освещался до 15 августа, когда начался процесс Зиновьева, но затем сообщения о перелете (в самый трудный его момент) прервались (до середины сентября).

Писатель, написавший когда-то две самые веселые книги в русской литературе, уходил из жизни, отказавшись от прежних надежд и иллюзий: во всяком случае, в его последнем произведении их нет. Он был мужественным человеком и старался подавить отчаяние — пытался даже шутить по поводу собственной близкой смерти: «За несколько дней до смерти, сидя в ресторане, он взял в руки бокал и грустно сострил: "Шампанское марки "Ich sterbe"».⁵⁰

Это почти цитата из воспоминаний О. Л. Книппер о смерти Чехова: «Пришел доктор, велел дать шампанского. Антон Павлович сел и как-то значительно, громко сказал доктору по-немецки: "Ich sterbe"».

Потом взял бокал, повернул ко мне лицо, улыбнулся своей удивительной улыбкой, сказал: "Давно я не пил шампанского...", покойно выпил все до дна, тихо лег на левый бок и скоро умолкнул навсегда...»⁵¹

Но сама смерть Ильфа так же не походила на смерть Чехова, как и обстановка, в которой умирали оба писателя. Всегда писавший о «хмурых людях», Чехов умер накануне тех лет, когда его герои увидели если не «небо в алмазах», то хотя бы манифест 17 октября. Последняя вещь Чехова — веселая, почти оптимистическая «Невеста».

Ильф умирал совсем в другое время. В его записной книжке 1931 г. есть такая заметка: «Я умру на пороге счастья, как раз за день до того, когда будут раздавать конфеты» (Там же. С. 186). Едва ли он мог предвидеть всю дьявольскую иронию этих слов. Он действительно умер «на пороге». Конечно, репрессии 1937 г. не представляли собой чего-либо совершенно нового в жизни страны, но до этого времени они лишь изредка затрагивали писателей и касались кругов, от которых Ильф и Петров были далеки. Весенний пленум 1937 г. и арест Бухарина и Рыкова предвещали новую волну арестов, превосходившую все предшествующие.

Евгений Петров вспоминал последние минуты Ильфа, когда отчаявшиеся врачи с торопливой готовностью согласились позвать еще одного консультанта — знаменитого профессора:

И знаменитый профессор приехал, и уже в передней, не снимая галош, сморщился, потому что услышал стоны агонизирующего человека. Он спросил, где можно вымыть руки. Никто ему не ответил. И когда он вошел в комнату, где умирал Ильф, его уже никто ни о чем не спрашивал, да и сам он не задавал вопросов. Наверно, он чувствовал себя неловко, как гость, который пришел не вовремя.

И вот наступил конец. Ильф лежал на своей тахте, вытянув руки по швам, с закрытыми глазами и очень спокойным лицом, которое вдруг, в одну минуту, стало белым. Комната была ярко освещена. Был поздний вечер... За окном было темно и звездно (Т. 5. С. 523).

⁶⁰ Воспоминания об Илье Ильфе и Евгении Петрове. С. 210 (В. Ардов). Ср. у Е.Петрова (Мой друг Ильф//Журналист. 1967. № 6. С. 63).

⁵¹ А.П.Чехов в воспоминаниях современников. М., 1960.С. 702.

ГЛАВА VII

ПЕТРОВ БЕЗ ИЛЬФА

«Записные книжки» Ильфа были опубликованы (с купюрами, как и в последующих изданиях) в 1939 г. Текст был подготовлен не Петровым, а вдовой писателя М. Н. Ильф-Файнзильберг и Г. Н. Мунблитом, но одну из вступительных статей написал Евгений Петров. Эта статья («Из воспоминаний об Ильфе») и другая под тем же названием, напечатанная к пятилетию со дня смерти соавтора, должны были, по мысли Е. Петрова, стать частями книги «Мой друг Ильф». Фрагменты из будущей книги (полностью она так и не была написана) — лучшее из того, что создал Петров после 1937 г. Его воспоминания — важнейший источник, из которого мы узнаем о работе и незавершенных планах соавторов. Но вместе с тем фрагменты эти отражали черты того времени, когда они писались. Мемуары Петрова должны были закрепить уже намечавшийся в некоторых благожелательных статьях (а также и в некрологах Ильфа) образ позитивных сатириков Ильфа и Петрова, бичевавших пережитки прошлого и славивших новое общество, — образ, который потом будет не раз возрождаться в официальных историях литературы.

«Для нас, беспартийных, никогда не было выбора — с партией или без нее. Мы всегда шли с ней. И нас всегда возмущали и смешили писатели, выяснявшие свое отношение к советской власти. И с этими писателями возились»,¹ — писал Е. Петров. Здесь, очевидно, он вспоминает уже известную нам формулу о писателях,

¹ Журналист. /967. № 6. С. 64.

«признавших советскую власть» позже одних держав и раньше других. Но достаточно раскрыть предисловие к «Золотому теленку», чтобы убедиться в том, что Евгений Петров совершенно изменил первоначальный смысл этой формулы. В изображении Петрова они с Ильфом выглядят явно ортодоксальнее и «партийнее» смешных попутчиков, «выяснявших свое отношение к советской власти». Но в «Золотом теленке» «некий строгий гражданин из числа тех, кто признали советскую власть несколько позже Англии и чуть раньше Греции», выступает как раз в роли крайнего ортодокса, осуждает авторов за «смешки в реконструктивный период», испытывает желание молиться, глядя на новую жизнь, и ведет описывать в шеститомном романе «А паразиты никогда!» героя, которого считает «стопроцентным пролетарием» (Т. 2. С. 7-8).² И несомненно, что именно такой путь торжественного и недвусмысленного выражения лояльности постепенно стал обязательным для беспартийных писателей, к числу которых принадлежали Ильф и Петров, — недаром в 1934 г. и им самим, как мы знаем, пришлось последовать примеру «строгого гражданина» — декларативно объяснить в любви советской власти. В воспоминаниях Е. Петров особо подчеркивал советский патриотизм Ильфа:

Это был настоящий советский человек, а следовательно, патриот своей родины. Когда я думаю о сущности советского человека, то есть человека совершенно новой формации, я всегда вспоминаю Ильфа... он смело и гордо взял на себя тяжелый и часто неблагодарный труд сатирика, расчищающего путь к нашему святому и блестящему коммунистическому будущему... (Т. 5. С. 524).

² Прообразом «строгого гражданина» в предисловии к «Золотому теленку» можно, очевидно, считать Вл. Лидина, о котором Ильф писал в одной из записных книжек: «Шел Лидин и вел с собой пролетария описывать» (РГАЛИ. Ф. 1821, № 125, л. 76). Лидин начал свою писательскую деятельность еще до революции; после революции печатался в одном из последних независимых журналов «Вестник литературы» (статья «Почему молчат писатели» — 1921. № 12). Но уже с 1920-х гг. его стали включать в одну из групп «попутчиков» — вместе с Л. Леоновым, Пильняком и Фединым (*Горбачёв Г. Современная русская литература. 1928. С. 122 — 123*). В 1928 г. Лидин сообщил, что по-настоящему писать он научился только под влиянием революции (см.: Читатель и писатель. 1928. № 44-45. С. 2), а в 1931 г. он заявил: «Когда наступила эпоха реконструкции, многие из нас оказались с отяжеленным багажом прошлого и по привычке продолжали нести его... Быть пассивным соглядатаем эпохи становится невозможным. Мир разделен на два лагеря... Были и такие попутчики, которые определяли свое творчество как борьбу с мешанством, не замечая, что сами они становятся именно писателями для мешан...» (Лит. газ. 1931. 5 авг.).

Младший соавтор специально указывал, что слова о любви к советской власти в фельетоне «Любовь должна быть обоюдной» принадлежали именно Ильфу (Там же). А в набросках книги, вспоминая начало творческого пути, Петров писал:

*...презрение к нэпманам и непонимание нэпа. Только любовь к Ленину, абсолютное доверие к нему помогло примириться с нэпом — «Партия все знает, надо идти вместе с ней».*³

Можно поверить в то, что Ильф в годы нэпа сочувствовал строительству нового общества; несомненно, он не любил нэпманов — у них как-то вообще не было тогда поклонников. Но «Партия все знает, надо идти вместе с ней» — до чего ж не подходит эта великолепная фраза к сдержанному и ироническому стилю Ильфа!

В те же самые годы, когда Петров сочинял план и отдельные фрагменты книги «Мой друг Ильф», он готовил к печати также первое четырехтомное собрание сочинений, написанных вместе с Ильфом, и вынужден был редактировать его, выбрасывая все сомнительные пассажи и целые произведения.⁴ Таким же образом он как бы редактировал в книге «Мой друг Ильф» и биографию — соавтора и свою.

³ Журналист. 1967. № 6. С. 64. Характерна еще запись: «Работа в "Правде". Как писались фельетоны. Мехлис» (С. 61). Смысл этой записи раскрывается из устного рассказа Е. Петрова, приведенного А. Б. Раскиным: редактору (Мехлису) указали, что один из фельетонов Ильфа и Петрова «может читаться двояко и что печатать его не нужно было», но он «не стал каяться и причитать», а предложил им, чтобы они «завтра же» написали «хороший фельетон» (Воспоминания об Илье Ильфе и Евгении Петрове: Сб. М., 1963. С. 259). Речь идет, очевидно, о «Клоопе». Но при жизни Ильфа авторы вовсе не считали «Клооп» неудачей и даже переиздавали его — только в 1939-1940 гг. Е. Петров отказался от включения «Клоопа» в Собрании сочинений. О Мехлисе см. выше, с. 163.

⁴ Так, из заявления Остапа румынским пограничникам — «Я старый профессор, бежавший из полуподвалов московской Чека!» — выпущено слово «полуподвалов»: несмотря на иронический контекст, эта деталь придавала фразе опасную реальность; не включен, как мы уже отмечали, наиболее острый фельетон писателей «Клооп»; как и во всех изданиях тех лет, выпущены имена незадолго до того репрессированных лиц и т.д. (Ильф И., Петров Е. Собр. соч.: В 4 т. М., 1938. Т. 2. С. 326; М., 1939. Т. 3. С. 202 и 268; М., 1939. Т. 4. С. 41—42; ср.: Лурье Я- К выходу в свет собрания сочинений И. Ильфа и Е. Петрова // Русск. лит. 1962. № 3. С. 239).

Настроения Ильфа в конце его жизни, как мы знаем, вовсе не соответствовали той идиллической картине, которую нарисовал Петров. В последние месяцы жизни Ильф жил в ожидании «летающего кирпича», и 23 марта «кирич» материализовался в разносной статье В. Просина. Следующий сигнал опасности прозвучал уже после смерти писателя. 13 апреля Ильф умер; на следующий день «Правда» сообщила о его смерти, а 17 апреля в той же газете было опубликовано заявление Евгения Петрова: «Ответ фашистским клеветникам». Он писал:

Фашистская газета «Ангрифф» сообщила, что Илья Ильф покончил жизнь самоубийством. Газета далее объясняет и причину: оказывается, Ильф участвовал на состоявшемся недавно общемосковском собрании писателей и в ответ на свое выступление подвергся, будто бы, резкой критике со стороны советского правительства. Мы вместе с Ильфом выступили, как известно, с обычной деловой речью, и стенографический отчет этой речи полностью опубликован в советской прессе. В противовес нынешним порядкам в Германии в нашей стране никто не подвергается гонениям за критику, как бы смела и резка она ни была... Считаю нужным сказать, что до последнего вздоха мой друг Ильф... ненавидел фашизм.

Последние слова, несомненно, соответствовали истине — Ильф ненавидел фашизм. Верно также, что он умер от туберкулеза, а не покончил самоубийством. Но, утверждая, что «в нашей стране никто не подвергается гонениям за критику, как бы смела и резка она ни была», Евгений Петров, конечно, кривил душой. Безнаказанной могла оставаться критика отдельных «уродливых явлений» — таких как мошенники или учрежденческие бюрократы. Однако критиковать систему, вождя или высокопоставленных лиц в 1937 г. на родине Ильфа и Петрова было столь же невозможно и самоубийственно, как в гитлеровской Германии. Люди, позволявшие себе подобную критику десятью годами раньше, исчезали один за другим.

Речь, совместно составленная писателями и оглашенная Е. Петровым на заседании 3 апреля, посвященном мартовскому пленуму ЦК, опубликована; она называется «Писатель должен писать». Ее отличает обычная для авторов сдержанная и достойная манера. Ильф и Петров специально оговаривали свое нежелание называть конкретные фамилии: «Здесь не бой быков, чтобы колоть писателей направо и налево». Они вновь возвращались к старой теме «первых учеников»:

У нас в литературе создана школьная обстановка. Писателям беспрерывно ставят отметки. Пленумы носят характер экзаменов, где руководители Союза перечисляют фамилии успевающих и неуспевающих... Успевающим деткам выдаются награды... Неуспевающие плачут и ученическими голосами обещают, что больше не будут (Т. 3. С. 413).

Как реагировали вышестоящие инстанции на эту речь, мы не знаем, но какие-то слухи о литературных неприятностях, ожидавших или даже постигших авторов перед самой смертью Ильфа,⁵ очевидно, дошли до немецкого корреспондента и послужили поводом к созданию версии о самоубийстве Ильфа.

Ожидали ли соавторы той же участи, которая уже постигла многих и предстояла еще бесчисленному количеству людей? Близкие к ним люди (и среди них вдова Ильфа Мария Николаевна) подтверждали, что они об этом думали, как и большинство их собратьев. «Наша жизнь в то время была диковинной...— писал Эренбург в уже приведенных нами воспоминаниях.— В кругу моих знакомых никто не был уверен в завтрашнем дне; у многих были наготове чемоданчики с двумя сменами теплого белья. Некоторые жильцы дома в Лаврушинском переулке попросили на ночь закрывать лифт, говорили, что он мешает спать: по ночам дом прислушивался к шумливым лифтам».⁶ А Ильф и Петров жили в том же самом доме в Лаврушинском — только вход к ним был не с улицы, как к Эренбургу, а со двора, и лифт другой. Но так же, как и все, они не могли быть уверены, что лифт как-нибудь ночью не остановится у их квартир.

Как подобные ожидания отражались на работе писателей? Нам известно, что для себя, «в стол», Ильф писал в это время поразительную по силе отрицания книгу об «эпохе благоденствия», оформленную как его записная книжка. Но в произведениях, предназначенных для печати,— и это мы тоже знаем,— соавторам приходилось идти на компромиссы и самоцензуру. Интересно в связи с этим сравнить несколько сюжетов, намеченных в последней книжке Ильфа, с фельетонами и рассказами обоих авторов, написанными на те же самые сюжеты.

Вспомним, например, с каким омерзением воспринял Ильф заметку «Известий» о том, что «лучшие женихи достались

⁵ Евгений Петров, по-видимому, помимо общего с Ильфом выступления 3 апреля выступал и один — в марте на общем собрании московских писателей. В этом случае, в отличие от 3 апреля, он называл и конкретные имена: он критиковал И.Гронского, литературного деятеля, связанного с Горьким, бывшего редактора «Нового мира», впоследствии арестованного (Лит. газ. 1937. 3 марта).

⁶ *Эренбург И.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1967. Т. 9. С. 185.

пятисотницам». Он вспомнил об идеалах, которые провозглашал когда-то «Ванька Макарьев», возмущался тем, что до сих пор в редакции газеты не побиты стекла.⁷ Но в сочиненной в те же годы вместе с Е.Петровым и В.Катаевым комедии «Богатая невеста» тема эта обретает совсем иное — легкое и пародийное осмысление. Жениться на невесте с наибольшим количеством трудодней стремится бездарный кооператор и беглый алиментщик Гусаков, его обманывают, подсовывая ему вместо невесты переодетого краснофлотца, и т.д. Перед нами — классическая комедия ошибок, почти водевиль, который, вероятно, был бы достаточно смешным на сцене и на экране.⁸ «Богатая невеста» Ильфа, Петрова и Катаева выгодно отличается от одноименной комедии, поставленной И.Пырьевым по сценарию Е. Помещикова: там оценка качества невест по количеству трудодней рассматривается в духе «Известий» — как вполне правильная (женихи-стахановцы даже отказываются на время от своих избранниц, когда тех обвиняют в низких производственных показателях).⁹ Однако светлый, оптимистический дух, столь чуждый последней «Записной книжке», в равной степени свойствен обоим «Богатым невестам»: «Деревня! Колхозники! Это же богатые люди!» — восклицает сообщник Русакова авантюрист Суслик.

⁷ См. выше, с. 171.

⁸ *Ильф И., Петров Е., Катаев В.* Богатая невеста // Театр и драматургия. 1936. № 1.

⁹ *Помещиков Е.И.* Богатая невеста // Книга сценариев. М., 1938.

По-разному трактовалась в «Записной книжке» Ильфа и в совместном творчестве писателей также тема челюскинцев. Когда ледокол «Челюскин», отправленный в 1934 г. для открытия постоянной навигации по Северному морскому пути, потерпел аварию к северу от Чукотки и

пассажиры его вынуждены были высадиться на лед, большинство советских граждан искренне сочувствовало жертвам катастрофы; когда челюскинцы были спасены, все, естественно, радовались. Но стремление официальной печати и радио извлечь из этого события максимальный пропагандистский эффект вызывало несколько ироническое отношение скептических читателей и слушателей. Легчики, спасшие челюскинцев, получили специально введенные в связи с этим звания Героев Советского Союза — это было понятно; но за что были объявлены героями, возможными только в социалистическом обществе, и награждены орденами сами челюскинцы? На эту тему ходил анекдот:

— Скажите, Рабинович, что бы вы сделали, если бы плыли на пароходе, потерпевшем крушение во льдах?

— Вылез бы на лед.

— А что дальше?

— Ну, стал бы слать радиogramмы, ждать помощи...

— Рабинович, так вы же герой!

У Ильфа в «Записных книжках» именно такое, ироническое восприятие этой темы:

История челюскинца. Он был несколько поврежден умственно, и врачи посоветовали ему путешествие. Он не только совершил его, но и получил орден (Зап. книжки И.Ильфа. Л. 31).

Однако написанный вместе с Петровым рассказ о челюскинцах «Чудесные гости» проникнут совсем иными настроениями.

Действующие лица рассказа — гости из Арктики и их гостеприимные хозяева, москвичи из разнообразных учреждений и организаций — все освещены нежным, розовым светом. Редакторы двух газет — «Однажды вечером» и «За рыбную ловлю» — переманивают пришедших на банкет челюскинцев, даже грозят друг другу Комиссией партийного контроля, но все это не всерьез и кончается мирно — соперники решают обмениваться гостями: «И долго еще эти два трогательных добряка производили свои вычисления и обмены. А обмен давно уже устроили без них. Героев водили снизу вверх и сверху вниз, и вообще уже нельзя было разобрать, где какая редакция» (Т. 3. С. 40).

Ту же своеобразную метаморфозу пережил и сюжет рассказа «Тоня». В «Записной книжке» он был изложен так:

Тоня, девушка, которая очень скучала в Нью-Йорке, потому что ее «не охватили». Она сама это сказала. «Неохват» выразился в том, что танцам она не обучается и английскому языку тоже. И вообще редко выходит на улицу. У нее ребенок (Т. 5. С. 232).

Как видим, никакого обличения американской действительности здесь нет; если что-то в этой истории и вызывает насмешку, то это представления самой героини о «неохвате»; казалось бы, в стране английского языка его можно было бы усвоить в нормальном общении с окружающими людьми, но эта возможность почему-то перед Тоней не возникает. Написанный на эту тему последний совместный рассказ соавторов, опубликованный после смерти Ильфа, излагает историю Тони совершенно иначе. Проблемы английского языка здесь нет: Тоня выучивается говорить по-английски, и даже довольно свободно, хотя единственной американкой, с которой ей приходится общаться, оказывается мисс Джефи, машинистка в советском посольстве. Тема поставлена более широко и обобщенно — описывается тоска, которую испытывает простая советская женщина, попавшая в капиталистическую Америку. «Тоня» — наиболее идеологически выдержанное сочинение Ильфа и Петрова; недаром в 1949 г., когда творчество этих писателей было осуждено, исключение делалось только для этого рассказа. Сочинение написано *a la these* — по твердо заданному сюжету.

Тонин муж, дипломат, решает вырезать гланды, и его почти разоряет доктор-частник, представивший чудовищный счет за операцию; Тоня должна рожать, и это опять оказывается проблемой: «Почему в Москве все происходило как-то просто, даже думать об этом не надо было? Приходит время — и рождаешь» (Т. 4. С. 475).

Авторы как будто забыли, что к теме «роды в Москве» они уже обращались («Равнодушие» и «Костяная нога») и тогда эта проблема не казалась им столь простой. В записи Ильфа дело происходило в Нью-Йорке, в рассказе действие перенесено в Вашингтон, благодаря чему возникает еще одна проблема — отсутствие в американской столице театров, к которым Тоня так привыкла в Москве. Даже американка Джефи признает, что «Америка очень скучная страна», но ей ехать некуда — это ее родина. В рассказе почти полностью отсутствует юмор: для «утепления» дана только сцена, когда советские инженеры отправляются в Гарлем «разлагаться», но на улице, где они ожидают встретить проститутку, бандитов и убийц, навстречу им неожиданно идут почтенная негритянская семья и старуха с корзиной, да еще Костя время от времени восклицает: «Тут уж я ничего не могу сказать!» В общем, можно понять запись Е.Петрова в книге «Мой друг Ильф»: «"Тоня". Рассказ в этом новом для нас жанре писался с мучительным трудом. Мы сидели на подоконнике и смотрели вниз, на Нащокинский переулок».¹⁰

«Я не лучше других и не хуже», — писал Ильф в своей последней книжке. И через несколько строчек снова: «Нет, я не лучше других и не хуже» (Т. 5. С. 250). Слова эти останутся верными, даже если под «другими» понимать самых больших и самых честных писателей той эпохи. Можно утверждать, что начиная с середины 1930-х гг. и кончая 1950-ми гг. в Советском Союзе не было ни одного писателя или деятеля искусств, который, стремясь опубликовать свои сочинения, не шел бы на подобные уступки и компромиссы. Противопоставляя «сдавшегося и погибшего» Олешу и «освиставших интеллигенцию» Ильфа и Петрова иным, несломленным художникам, Аркадий Белинков называет имена Пастернака, Мандельштама, Ахматовой,

¹⁰ Журналист. /1967. № 6. С. 61.

Бабеля, Платонова, Замятина, Булгакова.¹¹ Замятина оставим в стороне — он получил возможность эмигрировать из Советского Союза в начале 1930-х гг. Поговорим об остальных. В предыдущей главе мы уже упоминали отклик Пастернака и статьи Бабеля и Платонова о процессах 1936—1937 гг. И не только в публицистике Бабель шел на компромиссы: вопреки утверждению А. Белинкова, который ставил и пример Олеше «замолчавшего Бабеля»,¹² автор «Конармии», не имея возможности писать так, как он хотел, публиковал иногда и вполне дозволенные и «проходные» сочинения (такие, например, как рассказ «Нефть» — о новом быте и социалистическом строительстве в Москве). Со стихами о Сталине выступал Пастернак:

*И смех у завалин,
И мысль от сохи,
И Ленин и Сталин,
И эти стихи...*¹³

Позже их писала и Ахматова:

*И благодарного народа
Он слышит голос: «Мы пришли
Сказать: где Сталин, там свобода,
Мир и величие земли...»*¹⁴

Но Пастернака, Ахматову, Бабеля хоть изредка печатали. Любопытно, однако, что на компромиссы шли даже Мандельштам и Булгаков, которых в печать не пропускали, — шли из одной только надежды, что им удастся таким образом выйти из писательского небытия. Незадолго до второго ареста и гибели Мандельштам создал несколько вариантов оды о Сталине:

*Глазами Сталина раздвинута гора
И вдаль прищурилась равнина...
Правдивей правды нет, чем искренность бойца:
Для чести и любви, для доблести и стали.
Есть имя славное для сжатых губ чтеца —
Его мы слышали и мы его застали...*¹⁵

¹¹ *Белинков А.* Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша / Подг. к печ. Н. Белинкова. Мадрид, 1976. С. 572; ср. с. 611.

¹² Там же. С. 613-614.

¹³ Известия. 1936. 1 янв.

¹⁴ Огонек. 1950. № 14. С. 20.

¹⁵ *Мандельштам О.* Собр. соч. Paris, 1981. Т. 4 (доп.). С. 23-26. Ср.: *Мандельштам Н. Я.* Воспоминания. Нью-Йорк, 1970. С. 319.

Он пытался также сочинить стихи о Беломорско-Балтийском канале. А Булгаков, после долгих уговоров доброжелателей, написал в 1939 г пьесу «Батум» — о молодом Сталине.

Значит ли это, что «все кошки серы» — все советские писатели пошли в 1930-х гг. на капитуляцию и незачем искать различий в их гражданской позиции? Нет, совсем не значит. Как ни беспощаден был Аркадий Белинков к подцензурной советской литературе, и он признавал, что «даже истинный художник под ударами тягчайших, трагических, катастрофических обстоятельств» может «в иной кровью залитый час» цедить «сквозь зубы» казенные фразы (Белинков передавал такие фразы формулой «Собирайте металлолом!»).¹⁶ Пьесе Булгакова о Сталине противостоит все его творчество, да и сама она была написана так, что герой ее не дал согласия на постановку. И причиной этого, вопреки утверждениям советских критиков и поверивших им эмигрантских авторов,¹⁷ была вовсе не скромность великого человека, а, напротив, несоответствие довольно сдержанно (хотя и бледно) нарисованного образа молодого революционера уже сложившемуся к тому времени культу.¹⁸ Мандельштам вымучивал из себя «Стансы» и оду Сталину, но им же было написано другое стихотворение о Сталине — обрекшее его на многие годы ссылки и смерть в лагере. Известны и обстоятельства, побудившие Ахматову — уже после исключения из Союза писателей в 1948 г. — написать стихи о Сталине: в лагере находился ее сын и она надеялась таким образом помочь ему. «Не каждый человек может стать протестантом и подняться на эшафот, но каждый человек обязан быть порядочным и не помогать злодеям в их деле...»¹⁹ — писал Белинков. Строгий судья может сказать, что Бабель, Платонов и Пастернак, печатно поддерживав процессы 1930-х гг., «помогли злодеям в их деле». Но и здесь не следует спешить с осуждением. Пастернак имел возможность впоследствии рассказать о том, как была поставлена его подпись под одним из коллективных писем, осуждавших жертвы 1937—1938 гг. Несмотря на нажим официальных органов и уговоры напуганной семьи, он категорически отказался подписать письмо, а наутро увидел свою подпись

¹⁶ *Белинков А.* Сдача и гибель советского интеллигента. С. 561.

¹⁷ См.: *Петелин В. М.* А. Булгаков и «Дни Турбиных» // Огонек. 1969. № 11. Март. С. 27; *Гуль Р.* Я унес Россию // Новый журнал. 1980. Кн. 138. С. 10.

¹⁸ *Серман И.* Последняя драма Булгакова // Russia. 1987. № 5. С. 147—156; *Чудакова М.* Первая и последняя попытка // Современная драматургия. 1988. Т. 5. С. 204-220; *Смелянский А.* Уход // Театр. 1988. № 12. С. 88-115; *Панов А.* Загадка «Батума» // Театр. 1991. № 7.

¹⁹ *Белинков А.* Сдача и гибель советского интеллигента. С. 561.

под ним в «Правде». Что он мог сделать? Написать заявление с протестом? Куда? Выйти на площадь и кричать? В то время никто бы даже не узнал об этом акте самоубийства. «Несчастлива та страна, которая нуждается в героях», — говорит Галилей в пьесе Бертольда Брехта.

При жизни Ильфа ни он, ни его соавтор не помогли «злодеям в их деле» даже в той мере, в какой это сделали Бабель и Платонов. Они не поддерживали своими подписями ни один из политических процессов тех лет — ни в 1929-1930 гг., ни в 1936-1937 гг. Они не обличали ни кулаков, ни вредителей, не участвовали, вопреки позднейшим легендам, в травле неконформистской интеллигенции. Как и все их собратья, они шли подчас на «внутреннюю редактуру» своих предназначенных для печати работ, но отнюдь не принадлежали к той, весьма влиятельной группе, которая подчинила «социальному заказу» свое основное творчество.

Но Ильф умер «на пороге», а не в самый разгар «великого террора». Уже после смерти Ильфа были репрессированы А. Зорич, читавший писателям выговор за «Золотого тельца», В. Просин, бросивший в Ильфа последний «кирпич», Владимир Нарбут, поэт и директор ЗИФа, где печатались оба романа, критики И. Макарьев, А. Селивановский, Д. Мирский, писатели Б. Пильняк, Н. Заболоцкий, В. Киришон, Б. Ясенский, М. Кольцов, И. Бабель, друг и лучший иллюстратор Ильфа и Петрова К. Ротов, жена Э. Багрицкого — Л. Багрицкая. Арестованы были почти все дипломаты, с которыми Ильф

встречался в Остафьеве; арестованы миллионы других — не писателей, не художников, не дипломатов, а обыкновенных граждан.

Пережить все эти исчезновения и связанные с ними страхи и ожидания пришлось уже одному Петрову — без Ильфа. И Петров не выдержал.

Переломным моментом его биографии можно считать 1938 год, когда был устроен третий и самый страшный из «больших процессов» — процесс Бухарина, Рыкова, Ягоды и других. На этот процесс опять откликались писатели, и среди них не только А. Толстой, А. Фадеев, П. Павленко, Л. Леонов, Л. Соболев и т. п., но и Всеволод Иванов, Юрий Тынянов, Евгений Шварц, Перец Маркиш, Давид Бергельсон, иностранцы И.-Р. Бехер, Х. Лакснеси другие. А Евгений Петров? Он удостоился особой чести: получил возможность присутствовать на самом процессе. Он видел, как подсудимый Крестинский, дипломат и предшественник Сталина на посту генерального секретаря партии, отрекся на процессе от прежних показаний, а на вопрос Вышинского, почему же он оговаривал себя на следствии, ответил: «Вы знаете, почему я сознавался»; он слышал, как на новом судебном

заседании Крестинский отказался от первого заявления и вновь признал свою вину. Для Евгения Петрова процесс Бухарина имел особое значение — ведь главный подсудимый был именно тем человеком, чье благосклонное внимание к «Двенадцати стульям» заставило критиков прервать длительное молчание о книге и заметить ее существование. «Я видел лица, покрытые смертельной бледностью, слышал слова, жалкие слова, которые, кстати сказать, даже в этот последний момент иногда вызывали у публики иронический смех...» — писал Е. Петров в «Литературной газете», и таковы были, вероятно, его действительные впечатления. Но далее: «Какое счастье, что этот тяжелый кошмар, наконец, кончился, что талантливейшему, честнейшему товарищу Ежову, которому, работая днем и ночью, задыхаясь в испарениях яда, приготовленного бухаринскими и ягодами, удалось схватить за горло скользкую гадину, сжать это подлое горло, швырнуть гадину на скамью подсудимых!»²⁰

Свою книгу об Олеше А. Белинков озаглавил «Сдача и гибель советского интеллигента». В какой-то степени сдача Евгения Петрова и его гибель как писателя определялась личными свойствами, отличавшими младшего соавтора от старшего. О различных характерах Ильфа и Петрова и спорах между ними рассказывал и Эренбург:

В воспоминаниях сливаются два имени: был «ИльфПетров». А они не походили друг на друга. Илья Арнольдович был застенчивым, молчаливым, шутил редко, но зло, и как многие писатели, смешившие миллионы людей — от Гоголя до Зощенко, — был скорее печальным... А Петров любил уют; он легко сходил с разными людьми; на собраниях выступал и за себя и за Ильфа... Он был, кажется, самым оптимистическим человеком из всех, кого я в жизни встретил: ему очень хотелось, чтобы все было лучше, чем на самом деле...

Как-то в Париже Ильф и Петров обсуждали, о чем написать третий роман. Ильф вдруг помрачнел:

— А стоит ли вообще писать роман? Женя, вы, как всегда, хотите доказать, что Всеволод Иванов ошибался и что в Сибири растут пальмы...»²¹

Такие же упреки Ильфа приводятся и в воспоминаниях самого Петрова: «Женя, вы оптимист собачий».²² А в «Одноэтажной

²⁰ Лит. газ. 1938. 15 марта.

²¹ Воспоминания об Илье Ильфе и Евгении Петрове. С. 180-

²² Журналист. 1967. № 6. С. 62.

Америке» Петров даже описал ссору со своим соавтором (не указав, однако, повода, вызвавшего ее) — «с криками, ругательствами и страшными обвинениями» (Т. 5. С. 503). Константин Ротов (отбывший два лагерных срока и доживший до 1959 г.) вспоминал о разногласиях между соавторами определеннее: по его словам, оптимизм одного из авторов и пессимизм другого проявлялся и в политических взглядах. Ильф, например, не верил в правдивость показаний подсудимых на вредительских процессах.

Склонность к самообману становится одним из самых опасных человеческих свойств в трудные времена. С весны 1937 г. Евгений Петров, как и другие советские писатели, оказался под таким давлением, которого не испытывали их собратья прежде, даже в годы «великого перелома». И Петров не остановился на обязательных формулах, произнесенных «сквозь зубы», но пошел дальше

по пути капитуляции. После смерти Ильфа он совсем отошел от прежних литературных жанров, перестал писать рассказы и фельетоны и выступал главным образом как очеркист. Летом 1937 г. он ездил на Дальний Восток и на Колыму;²³ осенью 1939 г. был военным корреспондентом на только что занятой Западной Украине и написал очерки «Как польские офицеры сожгли два села» и «Подлинная демократия» (о выборах в Верховный Совет от новоприсоединенных земель), в начале следующего года он отправился в той же роли на финский фронт (очерк «Подвиг орденоносной дивизии»). Уже в начале 1939 г. Сталин решил приободрить писателей, избежавших уничтожения в предшествующие годы и с тревогой ждавших дальнейших репрессий. 31 января группа «успевающих» писателей была награждена орденами; Евгений Петров попал в число получивших высшую

²³ В очерке Н. Козлова, опубликованном в последний год правления Хрущёва, после появления «Одного дня Ивана Денисовича» А. И. Солженицына, говорится о встрече Е. Петрова в 1937 г. с первым начальником «Дальстрога», уполномоченным НКВД СССР по «Дальстрою» Э. Берзиным, вскоре после этого репрессированным, и с заключенными, о создании писателем «недописанной, неизданной, неизвестной книги "Остров Колыма"». Многие годы пройдут, и будут лежать где-то ее листки, тянущиеся к свету...» (Козлов Н. Сердцем писателя // Лит. Россия. 1964. 29 мая. № 22. С. 16-17). К сожалению, другими источниками этот рассказ не подтверждается, и сам очерк имеет явные черты вымысла. Е. Петров изображен гигантом с «мощными бицепсами»; он читает свою книгу заключенным в бараке, и они всю ночь слушают «как зачарованные»: «И те, кто сейчас слушал, узнавали себя в других людях — себя и нелегкие свои судьбы...» «Видно, из политических», — решает в рассказе один из заключенных, «присматриваясь к человеку с недостиженным кончиком седых бакен на худой, бледной щеке, с тонкими губами и нервным носом...».

награду — орден Ленина.²⁴ Вступление в партию открыло ему путь к дальнейшему продвижению.²⁵ Он стал редактором журнала «Огонек», вошел в редакционную коллегию «Литературной газеты» и «Крокодила». Постепенно он стал ощущать себя официальным журналистом — подобием своего предшественника по «Огоньку» и бывшего покровителя Михаила Кольцова.

В какой степени сам Евгений Петров ощущал происшедшую с ним метаморфозу? Люди, вспоминая о его редакторской и журналистской деятельности в 1937—1942 гг., пишут о нем с большой теплотой: став редактором, он не превратился в вельможу, а, напротив, старался на этом посту принести как можно больше пользы, помогал молодым юмористам (например, А. Раскину и М. Слободскому), с прежним пылом бичевал равнодушие, глупость, бюрократизм. Ничего экстраординарного он, очевидно, не ощущал и в своих корреспонденциях с Западной Украины и с финского фронта: ведь то, что он писал и говорил, говорили и писали все, во всяком случае все, кто мог говорить и писать в Советском Союзе.

Дважды Е. Петров пытался вернуться к сатирическому жанру. Если в его музыкальных сценариях, увидевших свет экрана («Музыкальная история», «Антон Иванович сердится»), фигурировали лишь второстепенные сатирические персонажи (шофер Альфред

²⁴ С награждением Е. Петрова орденом связан эпизод, о котором много говорили тогда в литературных кругах. Юрий Олеша был обойден наградой в 1939 г. За несколько лет до этого был снят с постановки фильм «Строгий юноша», написанный по его сценарию; писатель много пил, болезненно переживал падение своей славы. «Философ из шашлычной. Раньше зависть его кормила, теперь она его гложет» — эти слова своей знакомой внес И. Ильф в последнюю «Записную книжку» (Л. 2; ср. сокращенный текст: Т. 5. С. 218). Вскоре после награждения Петрова пьяный Олеша подсел к нему в ресторане и потребовал, чтобы тот угостил его. Раздраженный Петров спросил, не стыдно ли Олеше угощаться за чужой счет. «Я угощаюсь за чужой счет, а ты носишь чужой орден», — ответил Олеша. Едва ли можно воспринимать это обвинение всерьез. Отход Петрова от прежних литературных жанров вовсе не доказывает, что «главным» в писательском коллективе был его соавтор; мы не знаем, смог ли бы и Ильф писать без Петрова сюжетную сатирическую прозу. Но на Петрова это обвинение, несомненно, произвело большое впечатление; в статье об Ильфе, написанной в 1942 г., он специально опровергал предположение, будто «все, что мы написали до сих пор вместе, сочинил Ильф, а я... был лишь техническим помощником» (Т. 5. С. 520; ср. с. 506).

²⁵ Дата вступления Е. П. Петрова в партию в источниках расходится: в КЛЭ (Т. 3. С. 105) назван 1939 г.; в книге Т. Н. Синцовой «И. Ильф и Е. Петров. Материалы для библиографии» — 1940 г. (С. 12).

Тараканов, композитор Керосинов), то в сценарии «Беспокойный человек», написанном, как и два предыдущих, вместе с Г. Н. Мунблитом, но не поставленном, сатирическая тема занимала едва ли не центральное место. Действие «Беспокойного человека» развивается в обычном клубе, подобном

тому, который описывался прежде Ильфом и Петровым в фельетоне «Для полноты счастья» (Т. 3. С. 265-270).

Клуб новый, недавно выстроенный, но на его парадной двери приколочена надпись «Ход со двора».

Клуб, как водится, украшен плакатами: «Уважайте труд уборщиц!», «Больше внимания разным вопросам!», «Поднимем клубную работу на высшую ступень!», «Ударим по срывщикам клубной работы!». Во главе клуба стоит некий Гусаков, буфетчицей работает его жена; всеми делами заправляет жулик и вор, комендант Дранкин. Попытки новой директорши клуба, молодой выпускницы философского факультета Наташи Касаткиной, изменить положение наталкиваются на хорошо организованное сопротивление всей этой компании. Когда она предлагает снять глупые лозунги, Гусаков многозначительно возражает («после зловещей паузы»): «Надпись-то политическая». Не ограничиваясь этим, Гусаков выдвигает против Касаткиной обвинения — политические и уголовные (мотив этот стал возможным после падения Ежова, когда в печати стали обличать «клеветников и перестраховщиков»): «Гусаков, по обыкновению в подтяжках и кепке, высунув язык, сочиняет донос. Делается это при помощи на редкость невинных орудий — тоненькой школьной ручки и чернильницы-невыливайки».

Сцена писания доноса — пожалуй, самая яркая в сценарии. В основном же он представляется довольно бледным отражением фельетонов середины 1930-х гг., и прежде всего близкого по теме фельетона «Для полноты счастья». Но в фельетонах Ильф и Петров, выступая против равнодушия и глупости, высказывали свои авторские эмоции, но отнюдь не изображали зло уже поверженным и побежденным; в сценарии же добродетель наглядно и решительно торжествовала над пороком.

То, что в фельетонах было только благими пожеланиями авторов, превратилось в сценарии в реальную программу Наташи Касаткиной, проводимую в жизнь под молчаливым, но внимательным руководством секретаря райкома. Горькая ильфовская фраза «Не надо бороться за чистоту. Надо подметать» в устах Касаткиной звучала лишь как осуждение глупого и обреченного на поражение Гусакова: «Он не работал, прикрывая свое безделье криками о том, что нужно работать». Говоря о снятых ею лозунгах, Наташа объясняла: «Все это я сделала сознательно и по соображениям действительно политическим. Потому что нет ничего вреднее для пропаганды коммунизма, как опошление этой пропаганды». Русакова с позором снимали, и «опошление» тем самым прекращалось. Программа «беспокойного человека» (как именуется в сценарии Касаткина) — это, по выражению самой героини, «философия малых дел», но такие «малые дела» и решают «вопрос о том, построим ли мы коммунизм. Сделать самолет — это была половина работы. Нужно еще научить людей летать на нем». Обученная «самой высокой из наук» — философии (главными адептами которой были в то время Мишин и Юдин, а главным корифеем — Сталин), героиня не хочет ждать, пока великолепный новый базис породит столь же великолепную надстройку, а стремится «бороться с людьми, которые портят нам жизнь и мешают двигаться вперед». И преуспевает в этом — если судить по сценарию.²⁶

Второй раз Евгений Петров вернулся к сатире в пьесе-памфлете «Остров мира» — об английском коммерсанте-пацифисте, решившем покинуть Европу, стремительно приближавшуюся к войне, и обосноваться с семьей и слугами на необитаемом «острове мира». Дальнейший сюжет пьесы определяется тем, что на острове обнаруживается нефть и из острова мира он превращается в предмет соперничества и войны великих держав. «Мы не можем уйти от войны, а если мы уходим, мы уносим ее с собой потому, что хотим мы этого или не хотим, а она заключена в нас самих», — произносит под занавес друг Джекобса, английский полковник, прибывающий на военном корабле (Т. 5. С. 597). Пьеса сценична, в ней есть несколько ролей, интересных для актеров, но в целом она опять заставляет вспомнить булгаковские слова о неосуществимости «дозволенной сатиры». Предметы обличения Е.Петрова находятся далеко за рубежом; о собственной стране он даже не упоминает. Впрочем, учитывая условия написания пьесы, это умолчание можно даже одобрить: если бы автор закончил пьесу темой международной пролетарской солидарности, его сочинение стало бы совсем уже убогой агиткой — вроде той, которую пародировал в 1920-х гг. Булгаков в «Багровом острове» (эту пьесу Булгакова, наверное, вспоминал Петров, когда сочинял «Остров мира»). Е. Петров как бы абстрагировался от существования Советского Союза, беря традиционный

²⁶ Петров Е., Мунблит Г. Беспокойный человек. (Кинокомедия) // Новый мир. 1965. №2. С. 107-150.

капиталистический мир в чистом виде. При этом он исходил из концепции, которую, в общем, разделяло в те годы большинство советской интеллигенции: война — порождение конкуренции капиталистических держав, продолжение их обычной политики иными средствами.

Но можно ли, в свете всего опыта XX в., принять это построение без оговорок? Действительно, условия Версальского мира опровергли декларации о защите отечества как главной и единственной цели Антанты. Мир был переделен победителями — грубо и цинично. Но если экономические потребности великих держав определяли их политику после победы, то значит ли это, что и начата была война с прямо осознанной целью получить земли, нефть и другие богатства? Опыт мировых войн говорит о том, что такие страны, как Англия, Франция и Соединенные Штаты, развязать большую войну едва ли способны — этому серьезно препятствуют демократические институты и необходимость считаться с общественным мнением. Обе мировые войны XX в. были начаты авторитарными и тоталитарными державами. А между тем в «Острове мира» фигурирует только одна такая держава — Япония. В пьесе не упоминается не только Советский Союз, но также и Германия и Италия — страны, которые обнаружили свои агрессивные намерения еще в середине 1930-х гг., а в 1939 г. начали войну. Причину такого умолчания легко понять: пьеса написана после августа—сентября 1939 г., после соглашения с Германией и начала войны в Европе. Именно в это время В. М. Молотов докладывал на сессии Верховного Совета о заключенном с Германией договоре о дружбе и границе, осуждал Англию и Францию за их воинственность и нежелание принять мирные условия Гитлера, завоевавшего Польшу (речь на 5-й сессии Верховного Совета 31 декабря 1939 г.). Философско-сатирическая пьеса оказывалась, в сущности, злободневным политическим памфлетом официального характера.

В тот же период и под влиянием тех же политических установок была начата Е.Петровым него большая книга, которая так и осталась незаконченной. Это роман о будущем — «Путешествие в страну коммунизма». При жизни Ильфа писатели утопий не сочиняли. Напротив, как мы видели, их произведения, написанные со времени официального провозглашения социализма в 1933—1934 гг., оказались своеобразным ответом на утопические (или антиутопические) чаяния предшествующих лет. Но «Путешествие в страну коммунизма» — это типичная утопия, роман о будущем.

Время действия романа указано точно — 1963 год (эта дата была даже одним из вариантов названия книги). В прошлом — Вторая мировая война. Ныне Советский Союз — коммунистическая страна, хотя, вопреки Маяковскому, социалистическая революция в других частях света не произошла и в Америке все еще хозяйничают капиталисты — весьма отвратительные. Повествование ведется устами прогрессивного американца, вновь приехавшего в Советский Союз (в первый раз он посетил его в 1939 г.) в 1963 г. Американца зовут Юджин Питере — тем самым он оказывается заокеанским двойником Евгения Петрова.

Советский Союз построил коммунизм, несмотря на мировую войну и капиталистическое окружение. Как ему это удалось? Прежде всего благодаря мудрой внешней политике правительства. Она, как признает в романе старый американский дипломат, «совершенно нова и оригинальна»: «В любом дипломатическом действии всегда заложены две мысли — одна явная и другая тайная... Советские дипломаты... всегда говорят, что думают, и делают то, что говорят...» «Великолепная» внешняя политика Советского Союза не встретила, однако, поддержки со стороны стран, отказывающихся «выполнять взятые на себя обязательства...». «Но Советский Союз хотел мира для своей страны, и он решил получить его без чьей-либо помощи». Как именно получил — не сказано, но одна фраза того же американского дипломата ведет нас прямо к обстановке конца 1939 г.: «Как было бы хорошо, если бы никто не мешал людям жить так, как им хочется, если бы никто не пытался их благодетельствовать... Христиане... в желании вернуть на праведный путь заблуждающихся, истребляли альбигойцев и устроили Варфоломеевскую ночь...» Это не абстрактные философские рассуждения 1963 г., а прямая реминисценция из уже упомянутой речи Молотова о советско-германском договоре о дружбе. Осуждая Англию и Францию за выраженное ими стремление «уничтожить гитлеризм», Молотов заявил, что эти страны объявили Германии «что-то вроде "идеологической войны", напоминающей старые религиозные войны».

Действительно, в свое время войны против еретиков и иноверцев были в моде. Они, как известно, привели к тягчайшим для народных масс последствиям... Ничего другого эти войны не могли дать...».²⁷ Далее в романе упоминается о том, что, не вступая в войну в 1939 г., «за один только год Советское правительство воздвигло на своих западных границах, от Балтийского до Черного моря, тройную линию таких сильных укреплений, перед которыми линия Мажино казалась детской

игрушкой... Защищенные превосходной армией и совершенными подъездными путями линии обороны были абсолютно неприступны... Следующим действием Советского правительства

²⁷ Правда. 1939. 1 нояб.

(шла война с Японией, Вы знаете, что эта короткая и стремительная война совершенно освободила от японцев азиатский материк, а уже в 1942 году Советский Союз мог всецело отдалиться своим внутренним делам. Знаете вы и то, что, остановившись перед великой стеной на востоке, европейский фашизм обратил свои алчные взоры на Южную Америку и Азию...». Остальные детали второй мировой войны в построении Е. Петрова не вполне ясны, но можно понять, что фашизм, успевший вначале покорить всю Европу, вторгся и на американский материк (упоминается «канадский фронт», морская битва, в ходе которой погиб весь «англо-германский флот и почти весь американский»), однако в конце концов был уничтожен. Что случилось после этого с Германией и Францией, неизвестно; по-видимому (фрагменты романа изданы не полностью), там победила революция.²⁸

Что касается внутренних свойств страны, увиденной Юджином Питерсом, то они, в общем, соответствуют уже сложившемуся к 1939—1940 гг. представлению о высшей фазе коммунистического общества. Деньги, которые не прекратили своего существования в 1930-х гг., теперь наконец отменены и товары раздаются бесплатно. В первое время это приводило к каким-то недоразумениям, но потом все привыкли. Любые вещи доставляются из магазинов по письменным и телефонным заявкам; заявка по прејскуранту «выполняется в течение часа, как бы сложен заказ не был». Исчезли преступления; «элементы государства... не мешают людям жить на свете»: «Из института подавления государство превратилось в институт защиты общества». Так примерно рисовали будущее общество и старые утописты, но в одном отношении автор учел их ошибки, обнаружившиеся в 1930-х гг., — никакой революции в семейном укладе он не предвидел: «Мы говорили, что большевики уничтожат семью, а они создали семью. Мы говорим, что они уничтожат индивидуальность, а они создали ее...»

Роман о будущем — опасный жанр: люди, которым удается дожить до времени, описанного пророками, имеют возможность сопоставить их предсказания с действительностью. Такая проверка может иногда засвидетельствовать поразительную прозорливость писателя: так, Оруэлл еще в 1949 г. в романе «1984» предсказал будущую вражду между двумя социалистическими державами — Евразией и Истазией, — вражду, которая тогда казалась невероятной. Но в иных

²⁸ Петров Е. Неоконченный роман «Путешествие в страну коммунизма» // Из творческого наследия советских писателей. М., 1965. С. 582—585, 591, 609. (Лит.наслед.; Т. 74).

случаях проверка практикой может поставить писателя-утописта в неловкое положение.

Знакомые Евгения Петрова вспоминают: «Он очень любил делать прогнозы. И совершенно по-детски радовался, когда они сбывались. Усмехаясь, он сам называл себя "пикейным жилетом" и по временам действительно напоминал своими пророчествами тех старичков, которых они с Ильфом некогда изобразили в "Золотом тельке". Лучшим способом подшутить над ним в этих случаях было сделать вид, что не помнишь о его прогнозе, который сбылся. Страшно волнуясь, он начинал... упрасивать... отнестись к разговору серьезней...»²⁹

Да, «пикейный жилет» в этом случае попал в самую точку. Особенно впечатляет одна деталь романа — в Советском Союзе, избежавшем войны благодаря мудрости своего правительства, никто и не вспоминает о ней в 1963 г., между тем как американцы даже двадцать лет спустя не могут забыть о вражеском нашествии: «Я не знаю семьи, где б не было покойника... Итак, разговор снова шел о войне. Положительно, мы, американцы, ни о чем другом не могли говорить. Мы носили с собой тему войны, как раненый таскает свой костыль. Неужели наше несчастное поколение обречено жить войной до конца своей жизни?»³⁰ Интересно также читать о всеобщем изобилии бесплатных товаров и вытекающей отсюда всеобщей честности. «Восемь правил коммуниста», в которых выражена этика коммунистического общества, начинаются словами: «1) Никогда не лги ни людям, ни самому себе. 2) Помни, что ты слуга общества...» и т.д. «Любопытно, что тут совершенно отсутствовали библейские заповеди, как, например, "не кради", или "не убивай", или "не пожелай чужого", — замечает Юджин Питере. — Общество было построено так, что кража (или убийство с корыстной целью) была бы совершенно бессмысленна, а потому понятия эти умерли».³¹ Время действия романа — 1963 г.; глядя из будущего, мы можем вспомнить, что ровно за год до этого, в 1962 г., в

Москве состоялось судебное дело «великого комбинатора» Рокотова («Яна Косого») и после двукратного и срочного изменения законодательства был введен несколько необычный для европейского государства XX в. закон о смертной казни за незаконные валютные операции (по этому закону, принятому задним числом, Рокотов и Файбишенко были расстреляны).

²⁹ Воспоминания об Илье Ильфе и Евгении Петрове. С. 235.

³⁰ Петров Е. Неоконченный роман... С. 591.

³¹ Там же. С. 625.

Проверить, как сбился первый и главный из его прогнозов, Евгений Петров смог 22 июня 1941 г. Укрепления, «перед которыми линия Мажино была детской игрушкой», не оказались столь неприступными, как предвещал писатель; не более месяца понадобилось гитлеровской армии для того, чтобы занять все территории, присоединенные к Советскому Союзу в результате советско-германского пакта; немцы шли к Ленинграду и Москве. После начала войны Е. Петров объявил о превращении «Огонька» в еженедельник (прежде он выходил 3 раза в месяц), и на обложке каждого номера появились надписи: «1-я неделя священной Отечественной войны», «2-я неделя...» и т.д. Идея была не очень счастливой — недели шли за неделями, и год спустя (после смерти Е. Петрова) надписи с обложки «Огонька» сняли.

Стиль и тон статей «Огонька» отражал те изменения, которые происходили во время войны в официальной идеологии. В летних номерах 1941 г. печатались статьи немецких антифашистов, была помещена сказка Е.Шварца «Чем все это кончится». В сказке, в соответствии с воззрениями, обычными до войны, резко разграничивались немецкий народ и фашисты:

Жили-были три чудовища... В жилах их текла немецкая кровь, но она была холодна, как лед... А народ, среди которого зародились чудовища, был добрый, честный, аккуратный, умный. Одно только проклятье тяготело над ним: умел этот народ слушаться... Когда выросшие на крови чудовища заорали на народ страшными голосами, лишился народ покоя на многие годы... И вот исчезли под масками живые разумные лица.

А в конце происходит метаморфоза, еще более резкая, чем в финале «Дракона»:

*...стояли миллионы людей. Они срывали маски. Гневные лица, суровые лица, усталые лица, человеческие живые лица смотрели неумолимо на трех чудовищ... Раздался залп, и три чудовища, мертвые, грянулись на камни площади...— А теперь подумаем, как мы будем жить, сказал народ сурово...*³²

Но уже вскоре трактовка немецкой темы изменилась. В конце августа была уничтожена Автономная ССР Немцев Поволжья — советские немцы, жившие далеко от линии фронта, были обвинены в том, что они прятали в своей среде большое количество гитлеровских диверсантов, и высланы в Сибирь и Среднюю Азию. Появилось слово «фриц» — кличка, обозначающая не фашиста,

³² Огонек. 1941. №25. С. 14.

а немца вообще. «Немец — это ученый зверь. Это зверь, который любит пофилософствовать...» — писал давний приятель Ильфа и Петрова Илья Эренбург: вся Германия превратилась «в скотский двор, в случной пункт».³³ Уже было многое известно о преступлениях гитлеровцев в завоеванных европейских странах. Но правда казалась недостаточно эффектной, ее стремились дополнить деталями поживописнее. Появились известия о «случных пунктах», куда немцы вызывают повестками для случки, — приводились даже их письма мужьям, якобы посланные на фронт и захваченные в качестве трофеев. «На случных пунктах размножают СС — они должны заселить Россию...»³⁴ — писал Эренбург в другой статье. «Они говорят, что они чтут мораль. Это развратники, мужеложцы, скотоложцы. Они устроили у себя случные пункты. Это их скотское дело...»³⁵

Тот же образ немца появляется и в «Огоньке». В одном из октябрьских номеров журнала был напечатан рассказ В. Катаева «Их было двое», где фигурируют два персонажа — советский легчик Вергелис (зять Катаева, один из немногих еврейских писателей, избежавших уничтожения в 1949-1953 гг.; впоследствии редактор официального журнала на идиш — «Советише Хеймланд») и сбитый

им немецкий летчик Вилли Ренер. Немец соответствует новым установившимся в советской прессе стандартам: у него «тупое, жадное лицо выроodka... алкоголика, садиста, психопата»; даже после катастрофы и пленения он сохраняет пьяное состояние и продолжает хвастаться своими злодеяниями. «Что я мог сказать Вилли Ренеру, этой свинье, до головокружения вонявшей водкой?» — спрашивает герой.³⁶ Примерно так же выглядит немец и в очерке Евгения Петрова «Военная карьера Альфонса Шоля» — «существо в ефрейторской шинели, с мозгом овцы и мордочкой хорька» (Т. 5. С. 644).

А в одном из декабрьских номеров «Огонька» был помещен своеобразный литературный монтаж. Редакция обратилась к первому роману Ремарка «На западном фронте без перемен».

³³ Эренбург И. Война. Июнь 1941 г.-апрель 1942 г. М., 1942. С. 21, 130.

³⁴ Эренбург И. Фашистские мракобесы. Красноярск, 1942. С. 35.

³⁵ Эренбург И. Они ответят. Улан-Удэ, 1942. С. 88 (24 октября 1941 г.). Любопытно, что в сборнике Эренбурга, вышедшем в июне 1942 г., слова: «Они устроили у себя случайные пункты. Это их скотское дело», содержащиеся в газетных публикациях, оказались выпущенными (Эренбург И. Война. Июнь 1941 г.-апрель 1942 г. С. 308). Но осенью 1941 г. тема «случайных пунктов» была в советских газетах весьма популярной. С середины 1942 г. тема эта незаметно испарилась, и после войны при обличении фашистских преступлений об этом не вспоминали.

³⁶ Огонек. 1941.5 окт.

Те, кто любит эту книгу, несомненно, помнят, как описаны там сцены затишья между боями, когда всеобщее человекоубийство сменяется покоем, возможностью раздобыть пищу получше и удовлетворить самые простые человеческие потребности. Эти сцены — едва ли не лучшее, что есть в романе, но, конечно, такие грубые эпизоды не могут удовлетворить блюстителей общественных приличий, подобных тем, которые были когда-то описаны Ильфом и Петровым в фельетоне «Сованарыло». Редакция «Огонька» использовала эти сцены так. Тексту предшествовало введение, где говорилось: «Иногда спрашивают, как могло случиться, что немцы, которые когда-то считались культурными людьми, могли за восемь лет пребывания в гитлеровском свинарнике дойти до состояния скотов, поражающих весь цивилизованный мир своими омерзительными и гнусными преступлениями, своей дикостью, похабным обжорством, типичными чертами варваров? При этом забывают одно очень важное обстоятельство: германская армия всегда была зловонным рассадником бескультурия и подлости. Мы приводим ниже отрывки из романа германского писателя Ремарка "На западном фронте без перемен". Ремарк хорошо знал германскую армию, и набросанный им почти десять лет назад портрет немецкого солдата времен мировой войны удивительнейшим образом похож на гитлеровских молодчиков». Далее следовали две сцены из Ремарка и краткая концовка курсивом: «Поистине: скоты! Скотами были, скотами и остались».³⁷

Когда-то Ильф и Петров гордились тем, что «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» попали в список книг, которые гитлеровцы сжигали в кострах.³⁸ Одним из первых в этом списке сожженных книг был роман Ремарка «На западном фронте без перемен». Знал ли редактор «Огонька» о том надругательстве над этим романом, которое было совершено в журнале? Хотелось бы думать, что это делалось без его ведома — в декабре 1941 г., как и почти во все время с начала войны, он находился на фронте.

В этой главе мы говорили о метаморфозе, происшедшей с Евгением Петровым после смерти его соавтора. Мы не имеем достаточных данных, чтобы сказать, в какой степени он сам ощущал эту метаморфозу. Но ход войны летом и осенью 1941 г. (а потом, после зимнего затишья, также весной и летом 1942 г.) должен был заставить задуматься даже «оптимиста собачьего», как именовал Петрова его соавтор. Приняв и одоблив «великолепную» внешнюю

³⁷ Огонек. 1941. №36-37.

³⁸ Ср.: Воспоминания об Илье Ильфе и Евгении Петрове. С. 53.

политику 1939 г., он, как мы знаем, построил на этой основе целую утопию. Конечно, незаконченный роман «Путешествие в страну коммунизма» мало кому был известен, но сам-то автор о нем помнил и должен был задуматься над тем, что он написал. Какую-то долю ответственности за свалившиеся на страну беды Евгений Петров, очевидно, принимал на себя: «Я всегда был честным мальчиком», — писал Петров, рассказывая о своей юности, о трудной и опасной работе в уголовном розыске.³⁹ По всей видимости, младший Катаев действительно отличался в этом отношении от старшего: Евгений был идеалистом и энтузиастом, Валентин рос циником. Вспоминая на склоне лет

юность брата, В. Катаев склонен усматривать даже нечто роковое в его судьбе. Упомянув о том, как Евгений чуть было не утонул в детстве, он пишет: «С этого дня он был обречен. Ему страшно не везло. Смерть ходила за ним по пятам... Во время финской войны снаряд попал в угол дома, где он ночевал. Под Москвой он попал под минометный огонь немцев... Наконец, самолет, на котором он летел из осажденного Севастополя, уходя от "мессершмиттов", врезался в курган где-то посреди бескрайней донской степи, и он навсегда остался лежать в этой сухой, чуждой ему земле».⁴⁰

Действительно, младшему брату не везло — он погиб в возрасте сорока лет (подобно своему соавтору), между тем как старший брат, перевалив за восемьдесят, был здоров, бодр и продолжал писать — пожалуй, даже лучше, чем в 1930—1950-е гг., когда он стал лауреатом и ведущим деятелем литературы. Одна из поздних книг В. Катаева, «Алмазный мой венец», посвящена наиболее замечательным из его современников-писателей, и в числе их — Ильфу, Петрову, Булгакову, Бабелю, Мандельштаму, Пастернаку. Все они фигурируют под прозвищами — друг, брат, синеглазый, конармеец, шелкунчик, мулат, которые пишутся почему-то со строчной буквы. Только Маяковский, получивший прозвище Остапа Бендера из «Золотого тельца», удостоился прописной буквы — «Командор». Книга вызвала многочисленные протесты из-за фамильярности автора, его склонности к сплетням и недоброжелательству. Однако главная черта ее — не фамильярность и злоречие, но другое чувство, некогда воспетое Юрием Олешей (Олеша, кстати, тоже фигурирует в «Алмазном венце» — под кличкой ключик), а потом немало мучившее того же автора. Зависть! Зависть к «другу», который «через несколько лет в соавторстве с моим братишкой снискал мировую известность», ко всем остальным. Валентин Катаев отлично понимал, что нарисованные им персонажи, жизнь которых по большей части сложилась несчастливо, навсегда останутся в русской литературе, что они бессмертны. А сам Катаев? Он всячески уверял себя и читателя, что и он — один из них, что в галерее скульптур, изваянных неким фантастическим скульптором из фантастического материала, будет находиться и его изображение.⁴¹ Но верил ли он в это? Валентин Катаев обрел все земные блага, о которых мечтал: высокое положение и звание, известность, богатство, заграничные путешествия, недоступные простым смертным, но и он и читатели понимали, что его место — в первых рядах Союза писателей, а не среди бессмертных.

Да, Евгению Петрову не повезло. Обстоятельства его гибели были еще трагичнее, чем описывает Катаев. Из осажденного и обреченного Севастополя он возвращался в июне 1942 г. не на самолете, а на том же корабле «Ташкент», на котором прорвался в Севастополь. Адмирал И. С. Исаков, рассказывая об этой поездке Петрова, упоминает о потоплении шедшего впереди «Ташкента» эсминца «Безупречный»: «В озерах мазута, среди деревянных обломков плавали немногие уцелевшие моряки и армейцы. Естественное стремление остановиться, спустить шлюпки и попытаться спасти товарищей с "Безупречного" сразу же было парализовано новыми атаками "юнкеров"... Оставаться на месте — значило спасти десять — двадцать товарищей, но почти наверняка погубить корабль, на котором было полторы тысячи человек... Маневрировать на полных ходах и крутых циркуляциях... значило своими же винтами рубить тех, кто еще держался на воде. Но как бросить погибающих и уйти?... И все же Ерошенко (командир «Ташкента». — Я.Л.), с болью в сердце, выходит из мазутного пятна...»⁴² Устные воспоминания И. С. Исакова включали детали, отсутствовавшие в письменных. Потрясенный всем увиденным, Е. Петров, вернувшись в Краснодар, повел себя довольно необычным образом — несколько дней он пил. Только после этого он вылетел на самолете в Москву. Люди, летевшие вместе с ним, были в таком же отчаянном настроении, как и писатель. Согласно рассказам нескольких пассажиров, уцелевших после гибели «Дугласа», они летели низко, чтобы зенитная артиллерия не приняла их за немцев и не обстреляла. Тень от самолета падала на землю, и пасшийся там скот с испугом отбегал от этой движущейся тени.

Летчика это позабавило, и он стал нарочно пугать коров. Тут-то он и врезался в курган.

А. Белинков говорил, что застрелившийся Маяковский «сразу перестает быть автором "Стихов не про дрянь, а про дрянцо" и вновь становится автором "Облака в штанах"».⁴³ Вместе с обломками «Дугласа» в донской степи остался лежать не сочинитель недописанного убогого романа «Путешествие в страну коммунизма» и бодрых очерков, а соавтор «Двенадцати стульев», «Золотого тельца» и «Клопа».

Земная жизнь последнего из двух членов содружества «Ильф и Петров» окончилась. Начиналось бессмертие — на книжной полке, рядом с Диккенсом и Марком Твенем, Гоголем и Булгаковым.

³⁹ Журналист. 1967. №6. С. 61.

⁴⁰ Катаев В. Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона. М., 1973. С. 85.

⁴¹ Катаев В. Алмазный мой венец. М., 1979. С. 138-141, 151—168. 215—222.

⁴² Воспоминания об Илье Ильфе и Евгении Петрове. С. 317-318.

⁴³ *Белинков А.* Сдача и гибель советского интеллигента. С. 582.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О дальнейшей судьбе книг Ильфа и Петрова мы уже отчасти знаем — из Вступления к этой книге.

9 февраля 1949 г. в «Литературной газете» была помещена статья «Серьезные ошибки издательства "Советский писатель"». Упомянув лучшие книги, изданные за последние годы («Белая береза» Бубеннова, «Кавалер золотой звезды» Бабаевского, сочинения Грибачева, Симонова), авторы статьи специально остановились на других, включение которых в юбилейную серию («Библиотека избранных произведений советской литературы. 1917—1947») «вызвало у читателей законное недоумение». Главное место в этом черном списке занимали «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок»: «В центре обоих произведений — образ Остапа Бендера, "великого комбинатора", как называют его авторы, ловкого жулика, стяжателя. Тогдашняя идейная незрелость молодых писателей сказалась в том, что они любят "героем", пытаются сделать его интеллектуально выше окружающих. С этой целью они принизили, оглупили советских людей». Статья была неподписанной, следовательно, официальной и не подлежащей дискуссии. Последовали уже известные нам отклики: покаяние Б.Горбатова, признавшего переиздание обоих романов «грубой нашей ошибкой», выступления Н.Атарова и П. Павленко, добавивших к двум осужденным книгам «Одноэтажную Америку». Для широкого читателя Ильф и Петров перестали существовать по крайней мере на семь лет — до 1956 г.

Они разделили судьбу Ахматовой и Зощенко, торжественно и всенародно осужденных в ждановском докладе и исключенных из Союза писателей в 1946 г., участь Андрея Платонова, послевоенный рассказ которого в том же году был объявлен «клеветническим» (статья В. В. Ермилова). Вновь были обвинены в формализме Д. Шостакович и С. Прокофьев. В той же статье, где осуждалось переиздание Ильфа и Петрова, выражалось негодование и по поводу включения в юбилейную серию «Смерти Вазир-Мухтара» Ю.Тынянова — книги, заключающей в себе «антипатриотические заявления кабинетного эстета и формалиста, которым был тогда Ю.Тынянов». Имел ли этот остракизм какие-нибудь серьезные причины? Конечно, послевоенная «ждановщина» многими чертами напоминала довоенную «ежовщину»: с 1949 г. она переросла в массовую кампанию по разоблачению и последующему изъятию «безродных космополитов» (чаще всего евреев, но и других лиц, заподозренных в недостатке русского советского патриотизма); жертвами этой кампании часто оказывались, как и прежде, вполне лояльные советские граждане. Но Ильф и Петров, как и Ахматова, Зощенко и Платонов, вряд ли могут считаться случайными жертвами. Рассказ «Приключение обезьяны», за который осудили Зощенко, очень сильно и страшно изображал современное писателю общество, данное через восприятие нормального животного — обезьяны. Зоосад, где обитала обезьяна, разрушен вражескими бомбами, и зверек бежит из города: «Ну — обезьяна. Не человек... Не видит смысла оставаться в этом городе...» Она попадает в другой город, но и там не может достать еды в магазине. «Тем более денег у нее нет. Скидки нет. Продуктовых карточек она не имеет. Кошмар». Не спросив, «почем стоит кило морковки», обезьяна просто хватает ее: «Ну — обезьяна. Не понимает, что к чему. Не видит смысла оставаться без продовольствия». Дома она хватает конфету у старушки: «Ну — обезьяна. Не человек. Тот если возьмет что, так не на глазах же у бабушки».¹

Анну Ахматову не изжившие либерализма благодусшные граждане 1940-х гг. могли считать лириком, не имевшим никакого отношения к политике, но в руках у руководителей, несомненно, были более убедительные материалы, доказывавшие, что бывшая акмеистка и вдова расстрелянного заговорщика не разоружилась, не осознала по-настоящему преимуществ советского строя и поддерживает отношения бог весть с кем — даже с просочившимися в Советский Союз иностранцами. А Андрей Платонов был автором ряда неизданных сочинений — читатели об этом не знали, но органы, несомненно, имели сведения.

Не внушали полного доверия и сочинения Ильфа и Петрова. Да, они написали политически выдержанную «Тоню», от Евгения Петрова остались ценные (хотя уже утратившие актуальность) военные очерки.

¹ Зощенко М. Избр. произведения. 1923-1945. Л., 1946. С. 206-207, 209.

Но читатели помнили не их, а подозрительного «свободного художника и холодного философа» Остапа Бендера, не желавшего строить социализм и попытавшегося даже бежать за

границу. А бегство за границу (да еще с отягощающей вину политической мотивировкой, цинично провозглашенной «великим комбинатором»: «Ну что ж, адье, великая страна. Я не хочу быть первым учеником... Меня как-то мало интересует проблема социалистической перedelки человека в ангела и вкладчика сберкасс...») уже с 1934 г. каралось высшей мерой уголовного наказания — расстрелом с конфискацией имущества.² Правда, в 1930 г., к которому относится действие «Золотого тельца», то же преступление наказывалось совсем не так строго: принудительными работами, или заключением на срок до 6 месяцев, или даже штрафом в 500 рублей (ст. 98 УК редакции 1926 г.), но советские законы и в жизни, и в литературе имели тенденцию к обратному действию. Для читателя второй половины 1930—1950-х гг. симпатичный Бендер — явный враг социалистического отечества.

Исправить романы Ильфа и Петрова, придать им черты правильной и дозволенной сатиры, расчищающей «путь к нашему святому и блестящему коммунистическому будущему», стало теперь, когда авторов не было на свете, совсем уж невозможно. В послевоенном издании «Золотого тельца» из рассказа о Сухаревской конвенции было исключено упоминание о Республике Немцев Поволжья, где мнимый сын лейтенанта Шмидта Паниковский не сумел добиться от недоверчивых колонистов денежного вспоможения, из-за чего он и сбежал на участок Балаганова. С осени 1941 г. АССР Немцев Поволжья перестала существовать, и редакторы 1948 г. выбросили упоминание о ней, нисколько не смущаясь тем, что весь рассказ о нарушении конвенции потерял от этого смысл. Выброшен был и эпитет «эти бандиты» при упоминании о Марксе и Энгельсе: хотя эти слова принадлежали в романе персонажам, явно не вызывавшим сочувствия читателей, все равно допустить такое кощунство было нельзя. Но подобно тому, как в черноморском «Геркулесе» неподобающие надписи, оставшиеся от прежних владельцев помещения, несмотря на старания завхозов, то и дело появлялись в самых неподходящих местах, так и у Ильфа и Петрова из-под дозволенной сатиры постоянно выглядывала недозволенная. На вопрос Шуры Балаганова, встретившего Остапа-миллионера, едет ли он в Рио-де-Жанейро,

² Постановление ЦИК СССР от 8 июня 1934 г. См.: Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства СССР. Вып. № 33. Ст. № 255. После 1934 г. соответствующая формулировка была введена и в Уголовный Кодекс (ст. 58-1а).

Бендер неожиданно отвечал: «... за граница — это миф о загробной жизни. Кто туда попадет, тот не возвращается» (Т. 2. С. 350). В отличие от слов о Марксе и Энгельсе этот текст не привлек внимания бдительных редакторов — и напрасно! Ужасающая актуальность слов «Кто туда попадет, тот не возвращается» оказалась еще более острой полвека спустя после выхода книги. В том же романе в споре с ксендзами за душу шофера Козлевича Остап нагло заявляет:

Я сам творил чудеса. Не далее как четыре года назад мне пришлось в одном городишке несколько дней пробыть Иисусом Христом... Я даже накормил пятью хлебами несколько тысяч верующих. Накормить-то я их накормил, но какая была давка! (Там же. С. 200).

Близорукие редакторы, увидевшие в разговоре Остапа с ксендзами здоровую антирелигиозную пропаганду, не ощутили опасных ассоциаций, которые вызывают слова о хлебах: давить друг друга из-за минимального количества хлеба читателям «Золотого тельца» приходилось не раз и в 1931—1932 гг., когда впервые был напечатан роман, и в 1948 г., когда он был переиздан. И даже текст отчета из рассказа «Для полноты счастья»:

Охвачено плакатами — 264 000. Принято резолюций — 143. Поднято ярости масс — 3 (Т. 3. С. 270)

отражает идеологическую работу отнюдь не одного только «грязного очковтирателя» — заведующего клубом. Подобные опасные высказывания, как мы уже не раз убеждались, встречаются у Ильфа и Петрова постоянно, и мудрый вождь со своими сподвижниками знал, что он делал, изгнав их в 1949 г. из советской литературы.

Но, как и многие мероприятия тех лет, это решение было отменено во времена, которые М. А. Шолохов позднее заклеил как «слякотную погоду, именуемую оттепелью».³ Воскрешение Ильфа и Петрова совершилось не сразу. В 1955 г., когда Г. Н. Мунблит, соавтор Е. Петрова по сценарию «Беспокойный человек», опубликовал его в «Новом мире» со ссылкой на то, что «экранизации

„Беспокойного человека" помешала война», критик А. Грошев сурово осудил эту публикацию. Он заявил, что сценарий 15 лет назад «не был принят к постановке», ибо в нем «наша жизнь принижена, искажена», что «необходимость заострения характера человека и отрицательных явлений жизни» понималась в «Беспокойном человеке» «как своего

³ Второй Всесоюзный съезд советских писателей: Стенограф, отч. М., 1956. С. 376.

рода право на искажение советской действительности, на оглупление людей». В качестве идеального образца советской сатиры автор приводил фильм Г.Александрова «Волга-Волга».⁴ Но предостережения Л. Грошева не были услышаны. Вставал вопрос уже не о публикации скромного сценария, а о переиздании обоих романов. И хотя против этого протестовал сам секретарь Союза писателей А.Сурков, называвший эти романы «путешествием Остапа Бендера в страну дураков» и причислявший их авторов к числу тех, кто «пришел к сатирическому жанру, не имея ничего за душой», и потому «пишет пасквили»,⁵ он также оказался бессилён. В 1956 г. вышли в свет — сразу пятью изданиями — «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Были снова изданы и «Записные книжки» Ильфа. Хотя и отредактированные, с купюрами 1948 г. и еще с новыми дополнительными, романы о «великом комбинаторе» стали выходить в свет ежегодно и повсеместно, и поколение конца 1950-х и 1960-х гг. восприняло их как свою книгу. «Как в каждой долгосрочной империи при многих периферийных языках есть один универсальный язык метрополии, так у нас языком универсальным, "всехним" были — "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок"... Есть в этом тайна, странность, загадка...» — писала М. Каганская в статье, упомянутой нами во Вступлении.⁶ Публицистка напрасно только приписывала эту всеобщую популярность исключительно 1960-м гг.: если бы ее знакомство с людьми 1930-х гг. было более обширным, она бы убедилась, что слава Ильфа и Петрова в те годы была едва ли меньшей, чем тридцать лет спустя, что и тогда их фразы и образы были своеобразным общим языком, «койне» молодого поколения.⁷

Но была у этой популярности — и в 1930-х и в 1960-х гг. — одна слабая, уязвимая сторона. Ильф и Петров были юмористами, а между тем восприятие юмора вовсе не такая простая способность, как кажется на первый взгляд. Прежде всего, количество людей, способных воспринимать юмор, вовсе не безгранично. И ребенок, и взрослый

⁴ Грошев А. За дальнейшее развитие советского киноискусства // Коммунист. 1955. № 10. С. 54-55.

⁵ Лит. газ. 1954. 15 апр.

⁶ Каганская М. Наследники Толстовского, или Шестидесятые годы // Время и мы. 1977. № 16. С. 133-134.

⁷ Это относится, видимо, и к 1940-м гг. — именно в 1949 г., когда переиздание Ильфа и Петрова было осуждено, происходит действие в романе А. Солженицына «В круге первом», где на шарашке Маврино заключенный «Валентуля» (даже прозвище его взято у «людоедки Эллочки») Прянчиков говорит цитатами из Ильфа и Петрова.

человек рассмеется, прочитав, как «рассеянный с улицы Бассейной» надел вместо шапки сковороду, а вместо валенок — перчатки. Но уже в рассказе о бедной «Мухе-цокотухе», умоляющей друзей спасти ее от злодея-паука, слова:

*А кузнечик, а кузнечик,
Ну совсем как человечек,
Скок-скок
Под кусток
И молчок...*

будут восприняты не всеми детьми, да и не всеми родителями, читающими сказку. У множества людей юмор застывает на стадии насмешки над «рассеянным с улицы Бассейной». Отсюда — восприятие юмориста как клоуна, характерное для многих зрителей чаплинских фильмов, или отношение к Зощенко, не раз приводившее в отчаяние писателя: «...неужели на мой вечер приходят только как на вечер "юмориста"? В самом деле! Может, думают: если актеры так смешно читают, то что же отколет сейчас сам автор... Ах, если бы мне сейчас пройти на руках по сцене или прокатиться на одном колесе, вечер был бы в порядке...»⁸

Человек, читающий Флобера, Томаса Манна и тем более Джойса, испытывает несравненно больше уважения к себе, чем читатель Марка Твена, Гашека или Ильфа и Петрова.⁹ «Хочется иногда развлечься», — почти извиняются люди. Ильф и Петров при жизни не раз встречались с таким

отношением к юмору. Это же отношение преследовало их десятилетия спустя после смерти. Что именно воспринимают и запоминают читатели в романах о «великом комбинаторе» (чаще всего романы эти читаются еще в детстве — вместе с Марком Твенем и Диккенсом)? Большинство помнит сцену с голым инженером на лестнице, шахматный турнир в Васюках, выбрасывание Паниковского из кабинета председателя исполкома. Более зрелые читатели вспоминают и воспроизводят словечки Элочки Щукиной — «хамите, парниша», «не учите меня жить», отдельные обороты-«схохмы»:

⁸ Зощенко М.М. Перед восходом солнца // Октябрь. 1943. №6—7. С. 89.

⁹ Характерно в связи с этим заявление физика Л.Д.Ландау о его отвращении к юмору, не «вытекающему из ситуации», и связанной с этим нелюбви к Ильфу и Петрову, которое О. Н. Михайлов приводит как убийственный аргумент против обоих одесситов: их отвергал даже «свой» Ландау (*Михайлов О.* Верность. Родина и литература. М., / 974. С. 172). Нам, однако, представляется, что отношение Л.Д.Ландау к Ильфу и Петрову — лишь факт биографии Ландау, едва ли более интересный, чем отношение О. Михайлова и его собратьев к теории относительности.

«пиво отпускается только членам профсоюза», «на блюдечке с голубой каемкой» (нередко путают — «с золотой каемочкой»), «в лучших домах Филадельфии», «командовать парадом буду я», «гигант мысли», «сбылась мечта идиота», «согласно законов гостеприимства»... Ежедневно можно увидеть в печати или услышать по радио и телевизору: «С деньгами нужно расставаться легко», «статистика знает все». «Спасение утопающих — дело самих утопающих» кажется уже народной пословицей, а не ильфовской пародией на анархистский лозунг. Формула «Заграница нам поможет», обретшая неожиданную популярность, цитируется как «любимая фраза Остапа Бендера», хотя он произносил ее лишь перед членами «Союза меча и орала». Конечно, и такая известность писательских текстов на протяжении десятилетий — не пустяк: когда Пушкин предрекал, что половина стихов «Горя от ума» должна войти в пословицы, он предсказывал будущую славу Грибоедова. Очень немногие достигают такой популярности: кто теперь вспоминает хотя бы одну строчку из сочинений современников Ильфа и Петрова, входивших в самые почетные обоймы?

Но популярность цитат — далеко не достаточное доказательство настоящей любви к писателю. Помнит ли большинство людей, с важностью изрекающих «дистанция огромного размера», что это не просто определение большого расстояния, а отражение военной терминологии солдафона Скалозуба? Был бы доволен Ломоносов, если бы узнал, что его слова «Науки юношей питают» превратятся в устах кокетливых дамочек в двусмысленно-ободряющее: «Надежды юношей питают...»? Заимствованные часто не непосредственно из книги, а из обиходного словоупотребления, такие ходячие выражения легко деформируются и лишаются авторской атрибуции: Ильфа и Петрова путают с Зощенко, Чеховым, даже с Козьмой Прутковым. Прочитав цитату «И терпентин на что-нибудь полезен» на посвящении к подарочной книге, один выученик филфака и доктор филологических наук спросил: «Это из Ильфа и Петрова?»

Молодые люди, сделавшие в 1960-х гг. текст Ильфа и Петрова своим обиходным языком, далеко не всегда по-настоящему читали этих писателей. В повести В.Аксенова «Пора, мой друг, пора» фразами Ильфа и Петрова говорят мерзкие «штурмовики» — сынки начальников, избивающие героя повести. И это не единственный пример. Мода на то она и мода, чтобы ее воспринимали разные люди — и чистые, и нечистые.

Снятие запрета с сочинений Ильфа и Петрова еще не сделало их официальными писателями, — напротив, неприятное сознание того, что «рядовые советские люди» не противопоставлены в их романе Остапу Бендеру и прочим сомнительным персонажам, продолжало точить душу официальных критиков и историков литературы. Но существовала формула, придуманная еще при жизни Петрова благожелательным критиком Е.Добиным, — «охотники за микробами».¹⁰ Понимать эту формулу надо в том смысле, что мир Ильфа и Петрова — вовсе не наш прекрасный социалистический мир с Павлом Корчагиным и Павликом Морозовым, а лишь ряд искусственно созданных колоний ядовитых бактерий, которых мы вместе с авторами рассматриваем в микроскоп. Остап — крупная фигура только на фоне «микромира», «маленького мира»; Ильф и Петров вовсе ему не сочувствовали — напротив, они его разоблачили, и смех их, безусловно, «наш смех», «товарищ смех», — таков был основной смысл статей Д.Молдавского, одного из зачинателей ильфопетровского «позднего реабилитанса»; та же мысль в послесталинских работах Л. Ф. Ершова, в книгах других авторов. Та же тенденция господствует и в инсценировках «Двенадцати стульев» и «Золотого тельца» — в кино- и телефильмах, в кукольных и драматических театрах: это не про нас, это разоблачение событий давних лет, пресловутого, почти сказочного нэпа (хотя никакого нэпа в «Золотом тельце» уже нет).

И как ни натянуты такие утверждения, как ни противоречат они подлинным текстам Ильфа и Петрова, они оказали влияние на читателей. Именно вера в официальный характер творчества писателей облегчила их недолговременным поклонникам 1960-х гг. отречение от былых кумиров. Мы уже упоминали основные этапы этого посмертного низвержения Ильфа и Петрова: выступление Аркадия Белинкова (сперва в форме докладов, а затем в книге об Олеше), воспоминания Н. Я. Мандельштам, книга О. Михайлова и множество отдельных упоминаний — в разнообразных контекстах, между делом, с наиболее сильно действующими ссылками на «хрестоматийный», «общеизвестный» характер утверждаемого. Доказательств «антиинтеллигентства», «морального релятивизма» их обличители так никогда и не привели, но от этого их основной тезис оказался еще более неотразимым. Легенда нарастает с силой грибоедовской сплетни, и спорить с нею так же трудно, как с версией о безумии Чацкого:

— *Кто сомневается?*

— *Да вот не верит...*

— *Вы!*

Мсье Репетилов! Вы! Мсье Репетилов! что вы? Да как вы! Можно ль против всех! Да почему ж вы? стыд и смех.

— *Простите, я не знал, что это слишком гласно...*

¹⁰ Добин Е. Охотники за микробами — Ильф и Петров // Звезда. 1938. №12. С. 245-263.

Ильф и Петров вышли из моды. Однако имеет ли это обстоятельство какое-нибудь значение? Прежде всего, успех «в свете» — вовсе не мера писательской славы и значения: книги их, как мы уже упоминали, по-прежнему выходят ежегодно и расходятся громадными тиражами, вновь и вновь переводятся во всем мире, и разговоры об их устарении стоят столько же, сколько утверждение П. Павленко через 25 лет после смерти Чехова, что он слишком «старый» писатель. Людей, ощущающих юмор лишь как «побасенки», не убедишь никакими силлогизмами, а людей, видящих в нем путь к постижению мира, нет надобности убеждать.

Для кого же тогда написана эта книга? Она адресована тем читателям, которые любят или способны полюбить Ильфа и Петрова и которым поэтому интересно узнать о неизданных или малоизвестных произведениях писателей, об их месте среди интеллигенции 1920—1930-х гг. и об общественном смысле их творчества. Несомненно, что «ветренная мода» отвернулась от них в последнее десятилетие не так уж случайно. Смена одних общепринятых вкусов и замена их другими стоит в определенной связи с преобладающим мировоззрением общества, за вкусами — хотя этого часто не замечают их носители — стоят и некие идеи.

Почему же перелом в отношении к писателям произошел именно в конце 1960—начале 1970-х гг.? С какими идеологическими явлениями он связан? Мы упоминали уже наиболее суровых критиков Ильфа и Петрова: А. Белинкова, Н. Мандельштам, О. Михайлова. Что общего между ними? Казалось бы, ничего.

Однако в 1960-х гг. это было не совсем так и даже совсем не так. В 1962 г. начала выходить «Краткая литературная энциклопедия». Этой энциклопедии (как и выходявшей параллельно с нею «Советской исторической энциклопедии») было дано необычное право — упоминать о том, что некоторые из ее персонажей были репрессированы и посмертно реабилитированы. Либеральный дух «Краткой литературной энциклопедии» ощущался, в частности, в ее первом томе, где была помещена статья о Блоке. Под статьей две подписи: «А. В. Белинков, О. Н. Михайлов».¹¹ Столь неожиданное для нас соавторство довольно характерно для тех лет. Позади были XX и XXII съезды и возвращение выживших лагерников, но также венгерские события и травля Пастернака за «Доктора Живаго». В этой обстановке многие интеллигенты начинали думать уже не о «восстановлении ленинских норм», а о смысле и последствиях революции. В таких размышлениях бывший зэк Аркадий Белинков,

¹¹ КЛЭ. М., 1962. Т. 1. Стб. 642-645.

арестованный в 1940-х гг., подвергшийся пыткам и вернувшийся инвалидом, и вполне благополучный Олег Михайлов могли даже кое в чем сходиться. Белинков опубликовал книгу о Юрии Тынянове, включив в ее второе издание (1965 г.) такие рассуждения, которые уже с 1920-х гг. были невозможны в советской печати. Он начал работать над книгой об Олеше, прочел на разных

конференциях доклады, каждый из которых казался неслыханным по дерзости. Олег Михайлов играл видную роль в подготовке собрания сочинений Бунина и включил в него отрывки из ядовитейшей статьи нобелевского лауреата «Третий Толстой» — о цинике и жулике «Алешке» Толстом, сделавшем карьеру в советской стране и хваставшемся в 1936 г. перед Буниным своим поместьем в «Царском селе» и тремя автомобилями.¹²

Пути Белинкова и Михайлова разошлись в 1968 г. — во время «чехословацкой весны». Белинков к этому времени успел напечатать в «Байкале» две части книги об Олеше, подвергся разгрому в «Литературке» и вынужден был эмигрировать. Олег Михайлов осознал свои ошибки, покаялся и стал официально признанным и постоянно печатающимся критиком.¹³

Но до 1968 г. обоих соавторов статьи о Блоке привлекали, по-видимому, сходные темы: революция и литература, взаимоотношения между интеллигенцией и властью до революции и после нее. В чем сущность концепции Аркадия Белинкова, изложенной в его книге об Олеше? Концепция эта зародилась еще в книге о Ю. Тынянове и не без влияния этого писателя: речь шла о сходстве между самодержавием в России XIX в. и системой, установившейся в той же стране с 1920-х гг. XX в. «Россией управляли не самодержцы, повинующиеся закону, хоть какому-нибудь. Россией управляли деспоты... Деспотизм отвратителен всякий... Эпоха Николая Павловича, расстреливавшего декабристское восстание, требовала, чтобы литература строго выполняла возложенные на нее обязанности...» Российскому деспотизму всегда противостояла свободолюбивая интеллигенция: «...все надежды не продавшейся, не обманутой и не обманывающей, выстоявшей интеллигенции были связаны с революцией...» Эта часть интеллигенции «думала, что назначение революции в том, чтобы вернуть человеческим отношениям естественность, уничтожить условность и всегда связанные с нею лицемерие, ложь, бесправие...». Мерой оценки писателей, «истинной мерой человечности» в

¹² Бунин И. А. Собр. соч.: В 9 т. М., 1967. Т. 9. С. 433-445.

¹³ Рассказывали, что он пустил по рукам специальное покаянное письмо (существовала и такая форма самиздата), но нам текст этого письма остался неизвестен.

литературе служила в глазах критика «только любовь к свободе и ненависть к тирании».¹⁴ Именно этой строгой мерой он мерил и советскую литературу, обнаруживая иногда максимализм, воспитанный в нем той самой идеологией, которой он бросал вызов: либерал Боткин был в его глазах вреднее Муравьева-Вешателя, Евтушенко отвратительнее А. Маркова, Б. Слуцкий — В. Фирсова, В. Шкловский — даже В. Ермакова. «Я знаю, что Юрий Олеша — святой и чистый человек и художник в сравнении с другими представителями творческой интеллигенции», — признавал он и объяснял, что суровый суд над писателем продиктован своего рода «методологическими соображениями: для того чтобы все поняли, что уж если этот таков, то каковы же другие!».¹⁵ Те же «методологические соображения» побуждали его, по-видимому, осуждать Ильфа и Петрова, с той только разницей, что сочинения Олеша он серьезно изучал, а об Ильфе и Петрове судил сугубо поверхностно — по случайным воспоминаниям о прочитанных книгах.

Как ни парадоксальны, как ни пристрастны были суждения Белинкова о конкретных авторах, работа его была продиктована настоящим велением времени — стремлением пересмотреть взгляд на весь период русской истории после революции. Тем более заслуживает внимания судьба книги. В конце 1960-х гг. Белинков был весьма популярен в интеллигентской читательской аудитории. Второе издание исследования о Тынянове, номера «Байкала» с началом книги об Олеше переходили из рук в руки; письмо Белинкова, написанное им в 1968 г., когда он решил не возвращаться на родину, стало достоянием самиздата. Но после его отъезда за границу случилось непредвиденное: оказалось, что книга, печатание которой в СССР было прервано по независящим от автора и редакции обстоятельствам, не нашла издателя и за рубежом. Она была опубликована лишь в 1976 г. в Мадриде, через шесть лет после того, как Белинков, прожив в эмиграции лишь два года, умер.

Посмертно в 1972 г. был издан и сборник «Новый Колокол», который критик готовил в последние годы. Странное впечатление производит этот сборник. Здесь помещена статья самого Белинкова, повторяющая излюбленную мысль его предшествующих книг: «Интеллигенция всегда была и навсегда остается общественной группой, которая не может существовать без свободы духа». А рядом — статья другого автора, Тибора Самуэли, с прямо противоположной оценкой

¹⁴ Белинков А. Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша / Подг. к печ. Н. Белинкова. Мадрид, 1976. С. 50, 53, 112, 175, 334, 581.

¹⁵ Там же. С. 456-457.

русской интеллигенции: «В области интеллектуальной, социальной, художественной, литературной, научной деятельности русская интеллигенция ничего не дала. Она породила только одно детище: русскую революцию. Этого было достаточно, чтобы изменить ход русской истории».¹⁶ Перед нами — почти точное повторение той полемики, о которой шла речь в первой главе этой книги. Так же, как публицисты, писавшие после 1905 г., авторы, говоря об интеллигенции, подразумевают левую интеллигенцию XIX—начала XX в., но Белинков, подобно Мережковскому, сочувствует ее стремлению к «свободе духа», а его оппонент точно следует «Вехам» в осуждении интеллигентской революционности. Единственное отличие Самуэли от веховцев заключается в том, что он полагает, что стремление интеллигенции к революции изменило «ход русской истории», между тем как авторы «Вех», говоря о «русской революции», имели в виду, как мы знаем, революцию 1905 г. и считали, что «хода русской истории» интеллигенция и революция ничуть не изменили — в этом, в частности, они видели доказательство их ничтожества.

Само по себе изложение в одном сборнике двух диаметрально противоположных точек зрения как будто не должно вызывать возражений: оно могло бы даже служить доказательством широты взглядов и терпимости, достигнутой эмиграцией на Западе. Странно другое: защищая противостоящие друг другу взгляды, публицисты никак не спорят друг с другом, не приводят аргументов в защиту той или иной точки зрения. Может быть, автор второй статьи писал уже после смерти Белинкова? Но тогда ему тем более следовало объяснить, почему он так резко разошелся с ним в выводах. Вместо этого он писал так, как будто бы человека, задумавшего и начавшего это издание, не существовало на свете.

О судьбе А. Белинкова за границей и об издании «Нового Колокола» писала вдова писателя — к десятилетию со дня его смерти. Она сообщила, что Белинков хотел издавать журнал «Новый Колокол»: «Вместо журнала через два года под тем же названием вышел сборник. Составлен он был уже не А. Белинковым, а мною. Говорят, что он не прозвучал. Возможно. По мертвым колокола бьют негромко...» Также робко, почти извинительно пишет вдова и об идеях А. Белинкова: «Десятилетний срок — большой срок, если мерить его судьбой одного человека. Время меняется. Много из того, что было ново, теряет свою актуальность... Ты умный с того момента, как твой предшественник разбился о препятствие на общей дороге... Время

¹⁶ Новый Колокол. 1972. С. 360 и 415.

разделяет людей не хуже, чем растяженность территорий. Поэтому отчуждаются друг от друга отцы и дети... Так очерчиваются грани между разными поколениями эмиграции, так вырастают недоумения, которые порой перерастают во вражду...»¹⁷

Что же произошло? С Белинковым случилось то же, что и с писателями, которых он так сурово осудил. Выражаясь высоким стилем, мы можем сказать, что историческая Немезида отомстила ему за Ильфа и Петрова. В 1968 г. читатели Белинкова готовы были принять основную идею критика: «только любовь к свободе и ненависть к тирании» служит «мерой человечности». Но люди, думающие по моде, и убеждения свои меняют с модой. С 1970-х гг. «любовь к свободе и ненависть к тирании» перестали казаться главными добродетелями. Их сменили вера, духовность, соборность, почвенность, национальные корни и другие подобные идеалы. Имена декабристов, Белинского, Герцена, Петрашевского, близкие сердцу Белинкова, не только потеряли популярность, но стали даже вызывать раздражение. В популярных воззрениях их сменили совсем иные кумиры — Н. Бердяев, С. Булгаков и П. Струве в сочетании с П. Столыпиным, «великим преобразователем России».

Общественное внимание, как мы видим, обратилось ко времени, отраженному в главе «Прошлое регистратора загса» из «Двенадцати стульев» и в последней «Записной книжке» Ильфа. В публицистической литературе последних лет не раз вставал вопрос и о политической борьбе перед революцией, о том, какое из партийных направлений отстаивало тогда наиболее разумную политику. Обсуждение этой темы описано в «Двенадцати стульях». На заседании «Союза меча и орала», собравшемся уже после того, как Остап, создавший эту эфемерную организацию, покинул Старгород, члены союза решают, кто станет во главе города, когда «все переменится». Больших разногласий среди них не возникает, но одного из членов, владельца бубличной артели Кислярского, намеченного в председатели биржевого комитета, подозревают в левизне:

— *Вы всегда были левым! Знаем вас!*

— *Господа, какой же я левый?*

— *Знаем, знаем!..*

— *Левый!*

— *Все евреи левые...*

— *Ночью спит и видит во сне Милюкова!*

— *Кадет! Кадет!*

— *Кадеты Финляндию продали!*— замычал вдруг Ча-рушников,— у японцев деньги брали!

Армяшек разводили.

Кислярский не вынес потока неосновательных обвинений. Бледный, поблескивая глазками, председатель биржевого комитета ухватился за спинку стула и звенящим голосом сказал:

— *Я всегда был октябристом и останусь им...* (Т. 1. С. 188).

¹⁷ Белинкова Н. Аркадий Белинков — 1970 год// *Время и мы*. 1980. № 54.

Ильф и Петров, как и большинство их читателей-современников, относились к этому заявлению иронически — и не без оснований. Даже среди цензовой общественности 1905— 1917 гг. октябристы не считались образцом политической стойкости и принципиальности. Они именовали себя «Союзом 17 октября», созданным для защиты прав, дарованных манифестом 1905 г., но и на этой позиции, стояли далеко не твердо. Когда первая и вторая Государственные думы, созданные в полном соответствии с этим манифестом и официальным избирательным законом, дававшим большие преимущества привилегированным слоям общества, все-таки получили — два раза подряд — левое большинство, правительство пошло на прямой государственный переворот 3 июня 1907 г. Переворот этот вызвал протесты даже в умеренных, либеральных кругах. Но октябристы не протестовали: именно «третьеиюньский переворот», сделавший избирательную систему сугубо несправедливой, дал им значительное место в третьей и четвертой думах, впрочем, достаточно безвластных. Преданность еврея Кислярского октябристам смешна еще и потому, что партия эта, как и все течения правее кадетов, признавала введенные в России еще в конце XVIII в. еврейские ограничения, не позволявшие большинству единоплеменников Кислярского поступать на общих основаниях в университеты и даже в гимназии (процентная норма), жить вне пределов черты оседлости и не допускаявшие ни одного еврея на государственную службу.

Но многие ли из советских интеллигентов 1970— 1980-х гг. XX в. знают, кто такие были октябристы и как относились к ним русские интеллигенты (в частности, русские писатели) между двумя революциями? Симпатии их клонятся не к левому, а, напротив, к крайне правому крылу «Союза меча и орала». «Подобно интеллигентному слесарю Виктору Михайловичу Полесову, созданному развенчанными кумирами молодежи пятидесятых годов Ильфом и Петровым, вчерашний советский человек, как правило, бывает настолько правым, что даже не знает, к какой партии принадлежит»,¹⁸ — писал израильский публицист Н. Прат. Н. Прат, как

¹⁸ Прат Н. Правые, левые и социализм // *Время и мы*. 1980. № 52. С. 108.

мы видим, вовсе не склонен был вступаться за Ильфа и Петрова и признавал их «поверженными кумирами», но в данном случае он вспомнил, и вполне уместно, именно сцену заседания «Союза меча и орала» в «Двенадцати стульях». И сравнение с «гусаром-одиночкой с мотором» справедливо, конечно, не только по отношению к многим советским евреям в Израиле, но и к значительной части публицистов «третьей эмиграции» вообще. Мало того — сравнение это применимо не к одним лишь «вчерашним» советским людям. «Растяженность территорий», о которой писала Н. Белинкова,— не препятствие идеологической моде. «Модерный консерватизм» присущ не одним эмигрантам. Охваченный новыми веяниями советский интеллигент, пребывающий на родной почве и не склонный ее покидать, уже в начале 1980-х гг. часто превосходил по «правизне» своих зарубежных собратьев — разумеется, не тогда, когда он читал на идеологических семинарах какую-нибудь дребедень, переписанную из учебников, а в остальное время — в салонных и коридорных беседах и даже в журнальных статьях.

Мода, как и положено ей, не способна оставаться на месте. Приверженцев государственности 1907—1916 гг. сменили в сердцах современно мыслящих людей их предшественники, консерваторы

XIX в.— Победоносцев, Катков, Леонтьев, Данилевский, Погодин. И в родной печати, и в далеком тамиздате мы можем прочесть, например, что из-за излишнего внимания к декабристским стихам Пушкина «один из наиболее государственно мыслящих умов России, утверждавший положительную русскую культуру, автор железного стиха "Клеветникам России"... превращается в вечного лицеиста... отрицателя, всем показывающего кукиши в кармане...», что «Пушкина убили масоны», что Белинский травил Гоголя, а Радищев был в действительности не «враг рабства», а «эпигон свободомыслия» и «человек бессовестный».

Будь все эти смелые мысли следствием серьезного и самостоятельного исследования материала, неожиданность их не могла бы считаться недостатком. Даже парадоксальная идея интересна, если она оригинальна. Когда Михаил Булгаков в 1920-х гг. эпатировал коллег по «Гудку» своим консерватизмом, он заслуживал уважения уже за то, что это были его собственные, противостоящие общему мнению идеи. Совсем иначе обстоит дело с «модерным консерватизмом» 1970—1990 гг. Автор, утверждавший, что злой критик Белинский травил бедного писателя Гоголя, не знал или не хотел знать, что положение Белинского при Николае I было прямо противоположным положению его коллеги Ермилова при Сталине, что, отправив письмо Гоголю, Белинский шел на самоубийственный риск, что его не успели арестовать только из-за внезапной смерти, что, наконец, за прочтение этого письма своим знакомым был осужден на казнь Достоевский. Всего этого автор не опровергал и не объяснял и вообще ничего не доказывал, как не приводят никаких доказательств люди, заявляющие, что Ильф и Петров очернили и оклеветали русскую интеллигенцию. Зачем нужны аргументы, примеры, обсуждение? Ведь так говорят и думают все...

«Раньше десять лет хвалили, теперь десять лет будут ругать. Ругать будут за то, за что раньше хвалили. Тяжело и нудно среди непуганых идиотов...» В 1937 г., когда Ильф написал эти горькие слова, мнение, выражаемое всеми, было максимально приближено к господствующей идеологии; писатели, даже если их на мгновения и посещали сомнения, спешили уверить себя и других, что и в данный момент «партия, как всегда, права». Тогдашние «непуганые» были, как мы уже отмечали, в первую очередь все-таки напуганными, подавленными страхом, ожиданием ночного звонка и неизбежно следующей за ним гибели. Сейчас не то. Поборники сегодняшней моды могут высказывать свои воззрения, не опасаясь последствий, а в последнее время и совсем свободно. Они воистину «непуганые» — не боящиеся ни возражений, ни спора, ни смеха. Движет ими, по-видимому, стремление отойти как можно дальше от прежней постылой идеологии и всеобщность высказываемых мнений. И, подобно «первым ученикам», о которых Ильф и Петров писали в 1932 г. (Т. 3. С. 160), они твердо заучили стихи-шпаргалку, перечисляющие неправильные взгляды:

*Бойтесь, дети, плюрализма,
Бойтесь Запада, друзья,
Социал-демократизма
Опасайтесь как огня...*

Они признают, что будущее общество должно быть демократичным, но, как разъяснял старик Чарушников, «без кадетишек — они нам довольно нагадили в семнадцатом году». Хотя эта доктрина разделяется не всеми и допускает кое-какие отклонения влево и вправо, в общем она весьма популярна.

Как такая мода влияет на отношение к авторам «Двенадцати стульев» и «Золотого тельца»? Белингов отвергал Ильфа и Петрова вместе со всей подцензурной советской литературой. Критики, сменившие А. Белинкова, распределяют свет и тени иначе — им близка почвенная, «коренная» (она же «посконная, домотканная и кондовая») советская литература (Есенин, Леонов, Шолохов, современные «деревенщики»), но невыносима литература, как-либо связанная с интернационализмом и революцией, и заодно уже подозрительна и вся та литература до 1917 г., которая вела к революции, — даже декабристские стихи Пушкина. Однако конкретно об Ильфе

и Петрове критики писали за последнее время мало. В соответствии со своей общей системой взглядов, О. Михайлов отвергает Ильфа и Петрова прежде всего как представителей ненавистной ему «одесской школы»; остальные ограничиваются упоминаниями о «пасквилях на интеллигенцию».

А между тем вопрос о месте Ильфа и Петрова в истории русской культуры и литературы, конечно, заслуживает внимания. Подчеркнем еще раз: мы вовсе не стремимся здесь доказывать эстетическую ценность их сочинений. Исследование поэтики Ильфа и Петрова — особая задача: она уже поставлена и, можно надеяться, будет и далее разрабатываться. Настоящая же книга относится не к литературоведению, а к другой области — к истории русской общественной мысли и русской

интеллигенции XX в. Именно с этой точки зрения мы хотели бы поразмыслить о значении книг Ильфа и Петрова для грядущих поколений.

Прошлое и, в частности, литература прошлых десятилетий редко интересуют нас сами по себе — чаще всего мы связывали их с будущим. «Модерный консерватизм» не просто осуждает те элементы русской культуры, которые он связывает революцией, — он как бы вычер- ' кивает их из истории, признавая досадным отклонением от национальных идеалов, своего рода недоразумением. Такое отношение к революции позволяет вспомнить один эмигрантский рассказ А. Аверченко — писателя, которого мы уже однажды сопоставляли с Ильфом и Петровым (когда речь шла о «Мурке» и «Клоопе»). На этот раз мы имеем в виду рассказ «Фокус великого кино»:

— Помечтаем. Хотите?..

Однажды в кинематографе я видел удивительную картину... Это обыкновенная фильма, изображающая обыкновенные человеческие поступки, но пущенная в обратную сторону.

Ах, если бы наша жизнь была похожа на послушную кинематографическую ленту!

Повернул ручку назад — и пошло-поехало...

В Петербурге чудеса... Большевистские декреты, как шелуха, облетают со стен, и снова стены домов чисты и нарядны... Ленин и Троцкий вышли из особняка Кшесинской, поехали задом наперед на вокзал, сели в распломбированный вагон, тут же его запломбировали — и укатили задним ходом в Германию.

А вот совсем приятное зрелище: Керенский задом наперед вылетает из Зимнего дворца — давно пора!..

Быстро промелькнула Февральская революция...

— Крути, Митька, крути...

Вылетел из царского дворца Распутин и покатил себе в Тюмень... Жизнь все дешевле и дешевле... А вот и ужасная война тает, как кусок сала на раскаленной плите...

— Митька, крути, крути, голубчик!

Быстро мелькают поочередно четвертая дума, третья, вторая, первая...

А что это за ликующая толпа, что за тысячи шапок, летящих кверху, что за счастливые лица, по которым текут слезы умиления?!..

Почему незнакомые люди целуются, черт возьми!

Ах, это манифест 17 октября, данный Николаем свободной России...

Да ведь это, кажется, был самый счастливый момент всей нашей жизни!

— Митька, замри!! Останови, черт, ленту, не крути дольше! Руки поломаю!..

*Пусть замрет. Пусть застынет...*¹⁹

Это очень заразная, очень понятная мечта. Кто из размышлявших над историей не мечтал подобным образом исправить ее ход, остановить явное для него движение «не туда» и вернуться к лучшим временам. Аверченко, как мы видим, склонен был остановиться на манифесте 17 октября 1905 г., значительная часть нынешней интеллигенции, в отличие от Аверченко, выбрала бы столыпинские годы — время третьей думы; у Белинкова лента, вероятно, остановилась бы на Февральской революции — революции, «совершенной во имя свободы», отнюдь не обретенной в 1905 г. Могут быть предложены и другие варианты: мирная эпоха Александра III, время реформ Александра II, «прекрасное начало» дней Александра I, даже далекие времена Алексея Михайловича и Ивана III.

Все это не имеет никакого смысла, даже если понимать такое возвращение абстрактно и метафорически. Это еще более бесплодно, чем популярные рассуждения о роковых ошибках государственных деятелей — Бухарина, Керенского или Николая II. В истории нет эксперимента, она всегда пишется набело, окончательно и обжалованию не подлежит. И это понимал даже такой довольно легкомысленный и не склонный к философии человек, как Аркадий Аверченко: недаром рассказ «Фокус великого кино» заканчивается обращением к собеседнику, другому изгнаннику: «...почему так странно трясутся ваши плечи: смеетесь вы или плачете?»

Хороша или плоха русская революция, начавшаяся в 1917 г., — вся революция в целом, начиная с Февраля и включая гражданскую войну, — она совершалась в силу глубоких и веских причин: об этом свидетельствует опыт других стран, переживших подобные катаклизмы,

¹⁹ Аверченко А. Осколки разбитого вдребезги. М.; Л., 1926. С. 47—50.

и показания многочисленных современников, обладавших способностью наблюдать.

Здесь можно было бы упомянуть и предреволюционные рассказы Бунина и Сологуба, описавших глухую и непримиримую ненависть мужиков к «господам», и «Анну Снегину» Есенина, и воспоминания М. Зощенко о смоленских помещиках, живших в 1918 г. вблизи своих конфискованных имений и споривших о том, следует ли после победы над большевиками только «попороть» своих мужиков или также вешать их и отправлять на каторгу.²⁰ Подобным же образом проклинали «святого землепашца, сеятеля и хранителя» и мечтали о «вере православной, власти самодержавной» и офицеры из «Белой гвардии» и «Дней Турбиных» Булгакова.²¹ Когда читаешь все эти произведения, становится очевидным, что объяснять победу большевиков в гражданской войне действиями латышских стрелков, еврейских комиссаров, венгров, китайцев и других инородцев, мгновенными перебросками летучих интернациональных отрядов с одного фронта на другой — значит представлять себе историю в духе Дюма, Скриба или «мушкетерских» кинокартин. Исход войны решила лютая ненависть крестьян к «белой гвардии», превосходившая даже ненависть к Чека и продотрядам. Следует иметь в виду также, что революция, завершившаяся гражданской войной, была не только социальной, но и национально-освободительной (для многих народов России). Это отмечал даже М. Булгаков — при всей его ненависти к петлюровцам он не мог не заметить, что «богоносцы Достоевского», ненавидя «офицерню», бегали «до Петлюры». Поэтому, когда красные, одержав победу, предпочли не восстанавливать Российскую державу, а создать на ее месте государство с небывалым и непонятным наименованием (допускающим, однако, беспредельное расширение), они руководствовались не «мечтательным интернационализмом», а трезвым учетом реальной действительности. Любопытно в связи с этим, что сейчас, спустя восемьдесят лет, даже люди, чтущие не только Бердяева, но и куда более консервативных мыслителей дореволюционной России, не склонны считать, в отличие от автора «Русской идеи», национальное самоопределение Украины и Кавказа «просто нашей болезнью и нашим несчастьем», а готовы признать такое самоопределение.

Как писатели Ильф и Петров сложились десятилетие спустя после революции — в конце 1920-х и в 1930-х гг., чуть позже М. Булгакова и М. Зощенко. «Признавать» или «не признавать» революцию было уже в то время чисто формальным (хотя и желательным для властей)

²⁰ Зощенко М.М. Перед восходом солнца. С. 80-81.

²¹ Булгаков М. Собр. соч. Т. 1. С. 193,213.

актом, над которым неоднократно смеялись соавторы. Отличие их от М.Булгакова заключалось в ином: они не только понимали историческую неизбежность происшедших событий, но связывали с ними большие надежды, а впоследствии испытали и немалые разочарования. Им было с самого начала ясно, что мечта Аверченко в «Фокусе великого кино» бессмысленна — революция необратима. Постепенно они поняли также, что не будет и так, как мечталось Маяковскому в «Клопе» и «Бане». Будет — и долго будет — как в «Клоопе». Что же будет дальше?

Мы уже обращали внимание на сходство и различие двух важнейших образов у Гоголя и у Ильфа и Петрова — тройки в «Мертвых душах» и головной машины автопробега в «Золотом теленке». И там и здесь величественно мчащийся экипаж символичен, но у Гоголя в тройке едет заведомый мошенник и «подлец» Чичиков, и тем не менее тройка олицетворяет Россию, глядя на которую, косятся и «постораниваются» другие народы. Алогизм этого образа не смущал его поклонников: они готовы были согласиться, что родная страна «черна в судах неправдой черной», и все же считали ее Третьим Римом, Божьей страной, о судьбах которой печется сам Создатель.

Ильф и Петров явно не разделяли этого патристического алогизма. Свое отношение к национальным утопиям они образно выразили в другом рассказе и в другом контексте:

Несколько лет назад, когда у нас еще не строили автомобилей, когда еще только выбирали, какие машины строить, нашлись запоздалые ревнителю славянства, которые заявили, что стране нашей с ее живописными проселками, диво-дивными бескрайними просторами, поэтическими лучинками и душистыми портянками не нужен автомобиль. Ей нужно нечто более родимое, нужна автотелега. Крестьянину в такой штуке будет вольготнее. Скукожится он в ней, хрюкнет по мотору и захардыбачит себе по буеракам. Захрюндится машина, ахнет, пукнет и пойдет помаленьку, все равно спешить некуда.

Один экземпляр телеги внутреннего сгорания даже построили. Телега была как телега. Только внутри ее что-то тихо и печально хрюкало. Или хрюндило, кто его знает! Одним словом, как говорится в изящной литературе, хардыбачило. Скорость была диво-дивная, семь километров в час. Стоит ли вспоминать, что этот удивительный предмет был изобретен и построен в то самое время, когда мир уже располагал роллсройсами, паккардами и фордами? (Т. 3. С. 280).

Авторов этих строк можно с основанием обвинить в недооценке роли «национальной души» — в интернационализме, космополитизме (эти термины по существу синонимичны) и тем самым, как выражается О. Михайлов, в «денационализированности». Почвенной, но явно не годной для дела «автотелеге» они противопоставляли современными и быстроходный автомобиль. Но если этот метафорический автомобиль, в отличие от гоголевской тройки, не просто объект национальной гордости, «не роскошь, а средство передвижения», то тем более необходимо понять, куда же он несется. И кто им управляет?

Ответ на этот вопрос, как мы знаем, оставался нерешенным в «Золотом теленке». Но уже в «Клоопе», «Последней встрече» и других фельетонах образ подлинного командора машины (в отличие от мнимого — Остапа) стал вырисовываться — и образ этот оказался весьма малопривлекательным. «Человек, который в капиталистическом обществе был бы банкиром, делает карьеру в советских условиях» — эта основная тема так и не написанного романа «Подлец» имела глубочайший социальный смысл. К 1930-м гг. фигура карьериста, представителя бюрократической системы (а не просто канцеляриста — носителя «банального бюрократизма», столь охотно разоблачаемого всевозможными "Крокодилами") становится главным объектом сатиры Ильфа и Петрова. Тем самым они не только развивали мотивы Гоголя и Салтыкова-Щедрина, но и обнаруживали близость к крупнейшим сатирикам XX в. — Кафке и Гашеку.

Однако общество, складывавшееся при Ильфе и Петрове, существенно отличалось от того, которое существовало в России XIX в. и даже в Австро-Венгрии начала XX в. Во времена Гоголя, Щедрина, Кафки и Гашека бюрократия была могущественной, но единственной силой, противостоящей остальным гражданам страны. Ильф и Петров застали уже становление иной системы, где «подлец» не может стать ни банкиром, ни фабрикантом, ни помещиком. Осознавали это сами писатели, когда формулировали идею «Подлеца», или не осознавали, но вокруг них возникало чрезвычайно простое по своей структуре общество, и котором человек, способный и склонный к стяжанию, «делает карьеру» уже потому, что для него это единственный и универсальный «путь вверх».

Каково же место интеллигенции в таком обществе?

Решение этого вопроса затрудняется тем, что само понятие «интеллигенция» является в значительной степени абстракцией. Во все времена в России, как и в других странах, существовала не единая «интеллигенция», а различные по своим взглядам интеллигенты; как справедливо заметил А. Белинков, «рядом с декабристами, Герценом, петрашевцами, всегда были люди безразличные, готовые на многое, всякие...».²² Столь же разнообразными оставались интеллигенты и в XX в. «Вехи» и Мережковский, Белинков

²² Белинков А. Сдача и гибель советского интеллигента. С. 581.

и его посмертный оппонент в «Новом Колоколе», говоря о русской интеллигенции, имели в виду прежде всего революционных интеллигентов XIX-начала XX в. и судили интеллигенцию, исходя из своих, тоже разных, интеллигентских позиций. Вопреки критикам, Ильф и Петров, когда они писали о Васисуалии Лоханкине и интеллигентах 1930-х гг., имели в виду отнюдь не самостоятельно мыслящих, а, наоборот — сугубо пассивных людей, верных адептов идеологической моды. Это явление стадности, «непуганости», особенно резко отмеченной Ильфом в последней «Записной книжке», не было особенностью только 1935—1937 гг., когда книжка писалась. В какой-то степени такая склонность была присуща русской интеллигенции во все времена. Несомненно, этот феномен имеет свое объяснение. Затрудненность, а часто и прямая невозможность легальной политической борьбы в России приводили к тому, что ее наиболее образованный слой выражал нужды и чаяния целых классов: декабристы выступали с программой, которую естественно было бы высказывать русской буржуазии, народники выступали в качестве выразителей крестьянских интересов, социал-демократы — вместо рабочих. Но такое интеллигентское «заместительство» постоянно приводило к резким перепадам в успехах и неудачах интеллигентских групп: между 14 декабря, когда сто прапорщиков едва не совершили военную революцию, годами борьбы «Народной

воли» и триумфом петербургского Совета рабочих депутатов в октябре 1905 г. следовали иные годы, когда интеллигенты уходили в кружковые споры, самоанализ и самообличения. Смена декабристов «любомудрами», революционных демократов идеалистами конца XIX в., пламенных противников самодержавия «веховцами» — все это неизбежный результат исторических взлетов и падений; на всех таких «крутых поворотах» «люди безразличные, готовые на все, всякие» следовали очередному духу времени, очередной моде. Интеллигенция никогда (даже если бы она была едина) не могла сама по себе переменить ход истории в ту или иную сторону. Но каждый интеллигент может выбрать свой путь в обществе. Он может быть с «подлецами» или против них, он может быть порядочным человеком или же «помогать злодеям в их деле». «...Таких эпох, когда люди не могут хотя бы уйти от соучастия в смертельных преступлениях, нет»,²³ — писал Аркадий Белинков. Интеллигент может, наконец, думать самостоятельно, а не быть «непуганым идиотом» и не усматривать «великую сермяжную правду» во всем, что происходит вокруг него или что говорят и думают окружающие.

²³ Белинков А. Сдача и гибель советского интеллигента. С. 561.

Именно этому учат нас книги Ильфа и Петрова. Эти писатели не были протестантами, они не призывали к уничтожению создавшейся на их глазах социальной системы. Но они — пока они работали вместе и представляли собой единого автора — создали поразительную картину окружающего общества, которая нисколько не потеряла своей силы и яркости десятилетия спустя. Судьба писателей отличалась от той, которая выпала на долю их современника Михаила Булгакова. Кому повезло больше? Мы уже обращали внимание на сложность этого вопроса, говоря о братьях Катаевых. Ильфа и Петрова печатали при жизни, их книги недолго были мод запретом. Но зато много лет спустя эти книги не стали таким ошеломляющим открытием, как «Мастер и Маргарита». Однако и к ним применимы слова Воланда у Булгакова: "...наш роман вам принесет еще сюрпризы".²⁴

²⁴ Булгаков М. Собр. соч. Т. 5. С. 284.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Правда историка

От автора

Вступление

Глава I. Накануне

Глава II. «Двенадцать стульев»

Глава III. Интеллигенты и «Золотой теленок»

Глава IV Поражение и победа командора

Глава V. «Клооп» и «Подлец»

Глава VI. «Летит кирпич»

Глава VII. Петров без Ильфа

Заключение